



Генри КИССИНДЖЕР
Мировой порядок



Генри КИССИНДЖЕР
Мировой порядок



Генри Киссинджер
Мировой порядок

Посвящается Нэнси

Henry Kissinger
WORLD ORDER

Печатается с разрешения автора и литературного агентства The
Wylie Agency (UK) Ltd.

© Henry A. Kissinger, 2014

© Перевод. В. Желнинов, 2015

© Перевод. А. Милюков, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

Введение

Что такое «мировой порядок»?

В 1961 году, будучи молодым ученым, я во время выступления на конференции в Канзас-Сити вспомнил президента Гарри С. Трумэна. На вопрос о том, какими достижениями своего президентства он более всего гордится, Трумэн ответил: «Тем, что мы целиком и полностью разгромили наших врагов, а затем вернули их обратно в сообщество наций. Мне приятно думать, что только Америке удалось нечто подобное». Сознвая огромное могущество Америки, Трумэн гордился в первую очередь американским гуманизмом и приверженностью демократическим ценностям. Он хотел, чтобы его запомнили не столько как президента победоносной страны, сколько как главу государства, примирившего врагов.

Все преемники Трумэна в той или иной степени следовали его убеждениям, отраженным в этой истории, и аналогичным образом гордились вышеназванными составляющими американской идеи. Отмечу, что на протяжении многих лет сообщество наций, которое они всемерно поддерживали, существовало в рамках «американского консенсуса» – государства сотрудничали, неуклонно расширяя ряды данного мирового порядка, соблюдая общие правила и нормы, развивая либеральную экономику, отказываясь от территориальных завоеваний в пользу уважения национальных суверенитетов и принимая представительную демократическую систему управления. Американские президенты, причем их партийная принадлежность не имела значения, решительно призывали правительства других стран, нередко – весьма пылко и красноречиво – обеспечить соблюдение прав человека и поступательное развитие гражданского общества. Во многих случаях поддержка этих ценностей со стороны Соединенных Штатов и их союзников приводила к значительным преобразованиям в статусе населения конкретного государства.

Тем не менее сегодня у указанной системы, «основанной на правилах», возникли проблемы. Частые увещевания, обращенные к

прочим странам, призывы «внести посильный вклад», играть «по правилам двадцать первого столетия» и быть «ответственными участниками процесса» в рамках общей системы координат отчетливо показывают, что не существует общего для всех представления об этой системе, общего для всех понимания «посильного вклада» или «справедливости». За пределами западного мира те регионы, которые принимали минимальное участие в выработке нынешних правил, ставят под сомнение эффективность данных правил в их текущих формулировках и ясно демонстрируют готовность приложить все усилия, чтобы изменить упомянутые правила. Таким образом, «международное сообщество», к которому сегодня взывают, возможно, более настойчиво, чем в любую другую эпоху, не в состоянии согласовать – или хотя бы договориться – об однозначном и непротиворечивом комплексе целей, методов и ограничений.

Мы живем в исторический период, когда налицо упорная, временами почти отчаянная погоня за ускользающей от общего понимания концепцией мирового порядка. Хаос угрожает нам, а вместе с тем формируется беспрецедентная взаимозависимость: распространение оружия массового уничтожения, дезинтеграция бывших государств, последствия хищнического отношения к окружающей среде, сохранение, к великому сожалению, практики геноцида и стремительное внедрение новых технологий угрожают усугубить привычные конфликты, обострить их до степени, превосходящей человеческие возможности и границы разума. Новые способы обработки и передачи информации объединяют регионы как никогда прежде, проецируют местные события на глобальный уровень – но так, что препятствуют их полноценному осмыслению, в то же время требуя от государственных лидеров моментальной реакции, хотя бы в форме лозунгов. Неужели мы вступаем в новый период, когда будущее станут определять силы, не признающие ни ограничений, ни какого-либо порядка вообще?

Разновидности мирового порядка

Не будем лукавить: по-настоящему глобального «мирового порядка» никогда не существовало. То, что признается ныне за таковой, сложилось в Западной Европе почти четыре столетия назад, его основы были сформулированы на мирных переговорах в немецкой области Вестфалия, причем без участия – или даже внимания – большинства стран на других континентах и большинства иных цивилизаций. Столетие религиозных распрей и политических потрясений в Центральной Европе достигло кульминации в Тридцатилетнюю войну 1618–1648 годов; это был «мировой» пожар, в котором смешались политические и религиозные противоречия; в ходе войны сражающиеся прибегали к «тотальной войне»^[1] против ключевых населенных пунктов, и в результате Центральная Европа лишилась почти четверти населения – из-за боевых действий, болезней и голода. Истощенные противники встретились в Вестфалии, чтобы договориться о совокупности мер, призванных остановить кровопролитие. Религиозное единство дало трещину благодаря утверждению и распространению протестантизма; политическое многообразие явилось логичным следствием многочисленности независимых политических единиц, которые участвовали в войне. В итоге получилось так, что Европа первой восприняла привычные условия современного мира: разнообразие политических единиц, ни одна из которых не обладает мощностью, достаточной для того, чтобы победить всех остальных; приверженность противоречивым принципам, идеологическим воззрениям и внутренним практикам, и все стремятся обрести некие «нейтральные» правила, регулирующие поведение и смягчающие конфликты.

Вестфальский мир следует трактовать как практическое приближение к реальности, он вовсе не демонстрирует какого бы то ни было уникального нравственного осознания. Этот мир опирается на сосуществование независимых государств, которые воздерживаются от вмешательства во внутренние дела друг друга и сопоставляют собственные амбиции и амбиции прочих с принципом общего равновесия власти. Никакое единоличное притязание на обладание истиной, никакое универсальное правило не сумели воцариться в

Европе. Вместо этого каждое государство обзавелось суверенной властью над своей территорией. Каждое соглашалось признавать внутренние структуры и религиозные убеждения соседей как жизненные реалии и воздерживалось от оспаривания их статуса. Подобный баланс сил отныне рассматривался как естественный и желательный, а потому амбиции правителей выступали противовесом друг другу, по крайней мере, в теории ограничивая масштабы конфликтов. Разделенность и многообразие (во многом случайно сложившиеся в развитии европейской истории) стали отличительными признаками новой системы международного порядка – с собственным мировоззрением, собственной философией. В этом смысле усилия европейцев по тушению их «мирового» пожара способствовали формированию и послужили прототипом современного подхода, когда от вынесения абсолютных суждений отрекаются в пользу практичности и экуменизма^[2]; это попытка выстроить порядок на разнообразии и сдерживании.

Переговорщики семнадцатого века, составлявшие условия Вестфальского мира, не предполагали, разумеется, что закладывают основы глобальной системы, которая раскинется далеко за пределы Европы. Они даже не попытались привлечь к этому процессу соседнюю Россию, которая в ту пору устанавливала собственный новый порядок после невзгод Смутного времени, причем возводила в закон принципы, кардинально различавшиеся с вестфальским балансом сил: абсолютная монархия, единая государственная религия – православие и территориальная экспансия во всех направлениях. Впрочем, и другие крупные центры силы не воспринимали Вестфальские соглашения (насколько они были вообще осведомлены об этих соглашениях) как имеющие отношение к их территориям и владениям.

Идея мирового порядка была реализована на географическом пространстве, известном государственным деятелям того времени; подобный подход регулярно реализуется во многих регионах. Это в значительной мере объясняется тем, что тогдашние доминирующие технологии несколько не способствовали созданию единой глобальной системы – сама мысль о последней представлялась непозволительной. Не имея средств взаимодействовать друг с другом на постоянной основе, не располагая возможностями адекватно оценивать

«температуру могущества» европейских регионов, каждая суверенная единица трактовала собственный порядок как уникальный, а всех прочих расценивала как «варваров» – которыми управляют в манере, неприемлемой для существующего строя и потому рассматриваемой в качестве потенциальной угрозы. Каждая суверенная единица считала свой порядок идеальным лекалом для общественной организации человечества в целом, воображая, что своим способом управления упорядочивает мир.

На противоположном конце евразийского материка Китай сотворил собственную, иерархическую и теоретически универсальную, концепцию порядка – с собой в ее центре. Китайская система развивалась на протяжении тысячелетий, существовала уже тогда, когда Римская империя правила Европой как единым целым, опираясь не на равенство суверенных государств, а на предполагавшуюся беспредельность притязаний императора. В китайской концепции понятие суверенитета в европейском понимании отсутствовало, поскольку император властвовал над «всей Поднебесной». Он являлся вершиной политической и культурной иерархии, отлаженной и универсальной, которая распространялась от центра мира, каковым являлась китайская столица, вовне, на остальное человечество. Окружающие Китай народы классифицировались по степени варварства, в том числе на основании их зависимости от китайской письменности и культурных достижений (эта космография благополучно дожила до современной эпохи). Китай, с китайской точки зрения, должен повелевать миром, прежде всего вызывая благоговение других обществ своим культурным величием и экономическим изобилием, вовлекать эти другие общества в отношения, которые, при надлежащем управлении, способны привести к цели – достижению «поднебесной гармонии».

Если рассматривать пространство между Европой и Китаем, необходимо отметить главенство на этой территории универсальной концепции мирового порядка, которую предложил ислам – с мечтой о единоличном, санкционированном Богом правлении, объединяющем и примиряющем мир. В седьмом веке ислам утвердился на трех континентах благодаря беспрецедентной «волне» религиозной экзальтации и имперской экспансии. После объединения арабского мира, захвата остатков Римской империи и подчинения Персидской

империи^[3] ислам стал главенствующей религией на Ближнем Востоке, в Северной Африке, во многих областях Азии и части Европы. Исламская версия универсального порядка предусматривала распространение истинной веры на всю «территорию войны»^[4], как мусульмане именовали земли, населенные неверными; миру суждено стать единым и обрести гармонию, внемля слову пророка Мухаммада. Пока Европа выстраивала свой мультигосударственный порядок, Османская империя, с метрополией в Турции, возродила эту претензию на единоличное «боговдохновенное» правление и распространила свою власть на арабские земли, бассейн Средиземного моря, Балканы и Восточную Европу. Она, конечно, уделяла внимание зарождающейся межгосударственной Европе, но вовсе не считала, что наблюдает модель для подражания: в европейских договоренностях османам виделся стимул для дальнейшей османской экспансии на запад. Как выразился султан Мехмед II Завоеватель, увещевая итальянские города-государства, этот ранний образчик многополярности в пятнадцатом веке: «Вас двадцать городов... Вы вечно препираетесь между собою... Должна быть одна империя, одна вера, одна власть во всем мире».

Между тем на противоположном от Европы побережье Атлантического океана, в Новом Свете, закладывались основы иного представления о мироустройстве. Европу семнадцатого столетия охватили политические и религиозные конфликты, и пуритане-переселенцы изъявили решительное намерение «исполнить Божий план» и реализовать его в «отдаленной глуши», дабы освободиться от соблюдения установлений существующей (и, по их мнению, «негодной») структуры власти. Там они собирались строить, если цитировать губернатора Джона Уинтропа, который проповедовал в 1630 году на борту корабля, направляющегося в поселение Массачусетс, «град на холме», вдохновляя мир справедливостью своих принципов и силой своего примера. В американском видении мирового порядка мир и баланс сил достигаются естественным путем, древние распри и вражду надлежит оставить в прошлом – едва другие народы усвоят те же самые принципы правления, что и американцы. Задача внешней политики, таким образом, состоит не столько в отстаивании сугубо американских интересов, сколько в распространении общих принципов. Со временем Соединенные

Штаты превратились в главного защитника того порядка, который сформулировала Европа. Тем не менее, пусть США подкрепляют своим авторитетом европейские усилия, налицо некая двойственность восприятия – ведь американское видение опирается не на принятие европейской системы сбалансированной власти, а на достижение мира посредством распространения демократических принципов.

Среди всех вышеупомянутых концепций принципы Вестфальского мира рассматриваются – в рамках этой книги – в качестве единственной общепризнанной основы того, что можно определить как существующий мировой порядок. Вестфальская система распространилась по всему миру в качестве «каркаса» межгосударственного и международного порядка, охватывающего различные цивилизации и регионы, поскольку европейцы, расширяя границы своих владений, всюду навязывали собственные представления о международных отношениях. Они частенько «забывали» о понятии суверенитета по отношению к колониям и колонизируемым народам, но когда эти народы начали требовать независимости, их требования основывались именно на вестфальской концепции. Национальная независимость, суверенная государственность, национальные интересы и невмешательство в дела других – все эти принципы оказались эффективными доводами в спорах с колонизаторами, причем как в ходе борьбы за освобождение, так и при защите новообразованных государств.

Современная, ныне глобальная Вестфальская система – которую сегодня принято именовать мировым сообществом, – стремится «облагородить» анархическую сущность мира с помощью обширной сети международных правовых и организационных структур, призванных содействовать открытой торговле и функционированию стабильной международной финансовой системы, установить общие для всех принципы урегулирования международных споров и ограничить масштабы войн, когда те все-таки случаются. Эта межгосударственная система в настоящее время охватывает все культуры и регионы. Ее институты предоставляют нейтральные рамки взаимодействия различных обществ – в значительной степени независимо от исповедуемых в конкретных обществах ценностей.

При этом вестфальские принципы оспариваются со всех сторон, иногда, как ни удивительно, во имя мирового порядка. Европа

намеревается отойти от системы межгосударственных отношений, которую сама спроектировала, и придерживаться впредь концепции объединенного суверенитета^[5]. По иронии судьбы, Европа, которая придумала концепцию баланса власти, теперь сознательно и существенно ограничивает власть своих новых институтов. Сократив собственное военное могущество, она практически утратила способность адекватно реагировать на попираание этих универсалистских норм.

На Ближнем Востоке джихадисты обоего толка, как сунниты, так и шииты, продолжают разделять общества и демонтировать национальные государства в стремлении к глобальной революции на основе фундаменталистских версий мусульманской религии. Само понятие государства, наряду с основанной на нем региональной системой отношений, находится ныне в опасности, его атакуют идеологии, отвергающие налагаемые государством ограничения как незаконные, и террористические формирования, которые в ряде стран оказываются сильнее вооруженных сил правительства.

Азия, отчасти добившаяся наиболее удивительных успехов среди регионов, которые приняли концепцию суверенной государственности, до сих пор ностальгирует по альтернативным принципам и демонстрирует миру многочисленные примеры регионального соперничества и исторических притязаний наподобие тех, что подрывали европейский порядок сто лет назад. Почти каждая страна считает себя «молодым драконом», провоцируя разногласия на грани открытой конфронтации.

Соединенные Штаты то прилагают усилия по отстаиванию вестфальской системы, то критикуют ее основополагающие принципы баланса сил и невмешательства во внутренние дела как безнравственные и устаревшие – причем порой делают то и другое одновременно. США продолжают считать универсально востребованными свои ценности, которые следует заложить в основу мирового порядка, и оставляют за собой право на их поддержку в глобальном масштабе. Тем не менее после трех войн на протяжении жизни двух поколений – каждая война начиналась с идеалистических устремлений и широкого общественного одобрения и завершалась общенациональной травмой – Америка сегодня пытается составить

пропорцию между своим могуществом (по-прежнему очевидным) и принципами государственного строительства.

Все основные центры силы на планете используют в той или иной степени элементы вестфальского порядка, но ни один не считает себя «прирожденным» поборником этой системы. Все указанные центры претерпевают значительные внутренние изменения. Способны ли регионы со столь различными культурами, историей и традиционными для себя теориями мирового порядка принять в качестве закона какую-то глобальную систему?

Успех в достижении подобной цели требует подхода, который уважает как разнообразие традиций человечества, так и укорененное в человеческой природе стремление к свободе. Именно в данном смысле можно говорить о мировом порядке, но он не может быть навязан. В особенности это верно в эпоху мгновенной коммуникации и революционных политических перемен. Любой мировой порядок, чтобы оказаться жизнеспособным, должен восприниматься как справедливый – не только лидерами, но и простыми гражданами. Он должен отражать две истины: порядок без свободы, даже одобряемый поначалу, в порыве экзальтации, в конечном счете порождает собственную противоположность; однако свобода не может быть обеспечена и закреплена без «каркаса» порядка, призванного помочь сохранить мир. Порядок и свободу, порой трактуемые как противоположные полюса шкалы человеческого опыта, следует рассматривать как взаимозависимые сущности. Способны ли сегодняшние лидеры подняться над насущными текущими заботами ради обретения такого баланса?

Легитимность и власть

Ответ на эти вопросы должен учитывать три уровня концепции государственного порядка. Мировой порядок подразумевает состояние конкретного региона или цивилизации, в рамках которого действует комплекс справедливых договоренностей и существует распределение власти, которое считается приложимым к миру в целом. Международный порядок есть практическое применение указанной системы взглядов к значительной части земного шара, причем территория охвата должна быть достаточно большой, чтобы повлиять

на глобальный баланс сил. Наконец, региональный порядок основывается на тех же самых принципах, применяемых в определенной географической зоне.

Любой из перечисленных выше уровней порядка базируется на двух компонентах – совокупности общепринятых правил, определяющих пределы допустимых действий, и на балансе сил, необходимого для сдерживания в условиях нарушения правил, что не позволяет одной политической единице подчинить себе все прочие. Консенсус в отношении легитимности существующих механизмов – сейчас, равно как и в прошлом – не исключает полностью соперничества или конфронтации, но помогает гарантировать, что конкуренция будет принимать лишь форму корректировки существующего порядка, не обернется фундаментальным вызовом этому порядку. Баланс сил сам по себе не может обеспечить мир, однако, если он тщательно проработан и неукоснительно соблюдается, этот баланс может ограничивать масштабы и частоту фундаментальных противостояний и не допустить их превращения в глобальную катастрофу.

Никакая книга не способна вместить в себя все без исключения исторические традиции международного порядка даже в рамках одной страны, активно участвующей ныне в формировании политического ландшафта. В своей работе я уделяю основное внимание тем регионам, чьи концепции порядка оказали наибольшее влияние на современные представления.

Баланс между легитимностью и властью – чрезвычайно сложный и хрупкий; чем меньше территориально географическая зона, в которой он применяется, чем гармоничнее культурные принципы в его пределах, тем легче достичь жизнеспособного согласия. Но современному миру необходим глобальный миропорядок. Многообразие сущностей, политических единиц, никак не связанных друг с другом исторически или ценностно (за исключением тех, что расположены на расстоянии вытянутой руки), определяющих себя преимущественно по границам своих возможностей, скорее всего, генерирует конфликт, а не порядок.

В ходе моего первого визита в Пекин, состоявшегося в 1971 году и призванного восстановить контакты с Китаем после двух десятилетий вражды, я упомянул, что для американской делегации Китай является

«страной загадок и тайн». Премьер-министр Чжоу Эньлай ответил: «Вы сами увидите, что в Китае нет ничего таинственного. Когда вы познакомитесь с нами поближе, мы перестанем казаться вам столь таинственными». В Китае, добавил он, живут 900 миллионов человек, и в своей стране они не видят ничего необычного. В наше время стремление к установлению мирового порядка требует учитывать мнение обществ, чьи взгляды вплоть до недавних дней оставались в значительной степени самодостаточными. Тайна, которую следует раскрыть, едина для всех народов: как наилучшим образом совместить различные исторические опыты и традиции в общем мировом порядке.

Глава 1

Европа: плюралистический международный порядок

Уникальность европейского порядка

История большинства цивилизаций представляет собой рассказ о взлетах и падениях империй. Порядок устанавливался структурой внутреннего управления, а не через достижение равновесия между государствами: крепкий, когда центральная власть сильная и сплоченная, распадающийся при более слабых правителях. В имперской системе войны обычно велись на границах империй или принимали форму гражданских войн. Мир отождествлялся с масштабами власти императора.

В Китае и в исламской культуре политическая борьба велась за контроль над существующим порядком. Династии сменялись, но каждая новая правящая группа претендовала на статус восстановителя легитимной системы, пришедшей в упадок при предшественниках. В Европе же подобная эволюция не прижилась. С закатом римского владычества определяющей характеристикой европейского порядка стал плюрализм. Европейская идея сводилась к географическому единству, к олицетворению христианского мира или «цивилизованного» общества, к средоточию просвещения, образования, культуры, к современному обществу. Тем не менее, пусть в глазах иных народов она выглядела единой цивилизацией, Европа в целом никогда не знала единоличного правления, не обладала единой, строго определенной идентичностью. Принципы, во имя которых ее различные единицы самоорганизовывались, она изменяла достаточно часто, экспериментируя с новыми концепциями политической легитимности и международного порядка.

В других регионах мира период конкуренции между «удельными» правителями получил у потомков наименования «смутного времени», гражданской войны или «эпохи враждующих царств»; это своего рода панихида разобщенности, которую удалось преодолеть. Европа же фактически поощряла фрагментацию и где-то даже ее лелеяла. Конкурирующие династии и конкурирующие народы воспринимались не как проявление «хаоса», который необходимо упорядочить, но, в идеализированной перспективе европейских государственных деятелей – порой сознательно, порой и вовсе нет, – как сложный механизм, призванный обеспечить баланс, который сохраняет

интересы, целостность и независимость каждого народа. Более тысячи лет теории и практики европейского государственного управления выводили порядок из равновесия, а идентичность – из сопротивления универсальным правилам и нормам. Нельзя сказать, что европейские монархи не были подвержены соблазнам завоеваний, этому постоянному искушению их коллег в других цивилизациях, или оказались более привержены абстрактным идеалам многообразия. Скорее, им попросту не хватало сил, чтобы решительно навязывать свою волю соседям. Со временем этот плюрализм сделался отличительной характеристикой европейской модели мирового порядка. Сумела ли Европа в наше время побороть плюралистические тенденции или же внутренние неурядицы Европейского союза снова доказывают их жизнестойкость?

На протяжении пятисот лет имперское владычество Рима обеспечивало единый свод законов, гарантировало совместную оборону от внешнего врага и беспрецедентный уровень культуры. С окончательным падением Рима, обычно датируемым 476 годом нашей эры, империя распалась. В период, который историки называют Темными веками, пышным цветом расцвела ностальгия по утраченной универсальности. Видение гармонии и единства все больше отходило в ведение церкви. Согласно ее картине мироустройства, христианское население представляло единым обществом, управляемым двумя взаимодополняющими органами – гражданским правительством, «наследниками Цезаря», которые поддерживали порядок в мирской, преходящей сфере, и церковью, «преемницей Петра», которая проповедовала универсализм и абсолютные принципы спасения. Аврелий Августин, писавший свои теологические сочинения в Северной Африке в эпоху распада римских установлений, пришел к выводу, что временная политическая власть является легитимной в той мере, в какой она способствует богобоязненной жизни и посмертному спасению человеческой души. «Ибо есть две [власти], о, император и август, которыми по праву верховенства управляется этот мир: святой авторитет понтификов и царская власть. Из них тяжелее бремя священнослужителей, поскольку они и за самих царей будут давать Господу ответ на божественном суде»^[6]. Так писал папа римский Геласий I византийскому императору Анастасию в 494 году. Реальный

мировой порядок тем самым признавался недостижимым в посястороннем мире.

Этой всеобъемлющей концепции мирового порядка пришлось с самого ее возникновения бороться с некоей аномалией: в постримской Европе десятки светских правителей притязали на суверенитет, между ними отсутствовала сколько-нибудь четкая иерархия, при этом все они клялись в верности Христу, однако их отношение к церкви и авторитету последней было двойственным. Утверждение церковного авторитета сопровождалось ожесточенными дебатами, тогда как королевства, обладавшие собственными войсками и проводящие независимую политику, усиленно маневрировали, добиваясь преимуществ – в манере, которая никоим образом не соответствовала «Граду Божьему» Августина.

Стремление к единству на краткий срок воплотилось в жизнь на Рождество 800 года, когда папа Лев III короновал Карла Великого, правителя франков и покорителя территорий современных Франции и Германии, как Imperator Romanorum (императора римлян)^[7] и наделил его теоретическим правом притязать на бывшую восточную часть бывлой Римской империи, в ту пору звавшейся Византией. Император поклялся папе «защищать от всех врагов святуу церковь Христову, оберегать оную от языческого нечестия и нападений неверных, как вовне рубежей, так и внутри, и приумножать силу католической веры нашим приобщением к оной».

Но империя Карла Великого не смогла выполнить клятвы императора: на самом деле она начала распадаться едва ли не сразу после коронавания Карла. Император, которого одолевали хлопоты в «метрополии», ближе к дому, никогда не пытался править землями бывшей Восточной Римской империи, переданными ему папой. На западе он добился кое-каких успехов, отвоевав Испанию у завоевателей-мавров^[8]. После смерти Карла его преемники предпринимали усилия по сохранению достигнутого, обращались к традиции, именуя свои владения Священной Римской империей. Но, ослабленная гражданскими войнами, менее чем через столетие после своего основания империя Карла Великого сошла с исторической сцены как единое политическое образование (хотя название государства перемещалось на протяжении столетий по европейской территории вплоть до 1806 года).

В Китае властвовали свои императоры, в исламском мире правили халифы – признанные лидеры мусульман. В Европе был император Священной Римской империи. Однако последнему приходилось опираться на куда более слабую базу, нежели его собратьям в других цивилизациях. Он не имел имперской бюрократии. Его власть зависела от могущества в регионах, которыми он правил по династическому праву; в некотором роде это были, так сказать, семейные владения. Статус императора не подразумевал официального наследования: правителя выбирали семь (позже – девять) князей; эти выборы, как правило, представляли собой гремучую смесь политического маневрирования, апеллирования к религиозному благочестию и огромных финансовых расходов. Теоретически император располагал поддержкой папы римского, но политические и географические соображения (удаленность от Рима) нередко лишали его этой поддержки, и потому на протяжении многих лет он правил как «избранный император». Религия и политика никогда не образовывали единой конструкции, что впоследствии сподвигло Вольтера на известное язвительное замечание: мол, на самом деле Священная Римская империя не была «ни священной, ни римской, ни империей». Бытовавшая в средневековой Европе концепция международного порядка отражала текущие договоренности папы с императором – и множеством других феодальных сюзеренов. Универсальный порядок, основанный на возможности единого правления и единого свода законов, неуклонно лишался какой-либо практической ценности.

Подлинное воплощение средневековой концепции мирового порядка случилось на краткий миг с возвышением в шестнадцатом столетии принца Карла Габсбурга (1500–1558); его правление также обернулось окончательной гибелью этой идеи. Суровый и благочестивый, родившийся во Фландрии, принц сызмальства тяготел к власти; за исключением широко известного пристрастия к пряностям, у него не найти никаких пороков, и общественное мнение признавало его неподверженным обычным человеческим слабостям. Еще в детстве он унаследовал корону Нидерландов, а в шестнадцать лет стал королем Испании – со всеми обширными и прирастающими колониями в Азии и Америке. Вскоре после этого, в 1519 году, он победил на выборах императора Священной Римской империи и стал, таким образом, формальным преемником Карла Великого. Совпадение

титулов показывает, что средневековое видение императорского предназначения, казалось, готово исполниться. Благодетельный правитель отныне единолично управлял территориями, примерно соответствовавшими современным Австрии, Германии, Северной Италии, Чехии, Словакии, Венгрии, Восточной Франции, Бельгии, Нидерландам, Испании и большей части Северной и Южной Америки. (Это сосредоточение политической власти в одних руках было обеспечено почти исключительно за счет стратегических браков и привело к появлению девиза Габсбургов: «*Bella gerant alii; tu, felix Austria, nube!*» – «Оставьте войны другим; ты, счастливая Австрия, брачуйся!») Испанские путешественники и конкистадоры – Магеллан и Кортес отправлялись в свои походы с одобрения Карла – уничтожали древние империи на американском континенте и несли в Новый Свет христианскую веру и европейскую политическую систему. Армия и флот Карла V обороняли христианскую веру от новой волны иноземных нашествий – от турок-османов и их сателлитов в Юго-Восточной Европе и Северной Африке. Карл лично возглавил нападение на Тунис, эту экспедицию финансировали золотом Нового Света. Принимавший непосредственное участие в бурных событиях эпохи, Карл V был провозглашен современниками «величайшим императором после разделения империи в 843 году», правителем, которому суждено вернуть мир в подчинение «единому пастырю».

В традиции Карла Великого на своей коронации Карл поклялся быть «защитником и ревнителем Святой Римской Церкви», и люди приносили ему обеты и выражали почтение как «*Caesare*» и «*Imperio*»; папа Климент VII утвердил Карла в роли мирского поборника «установления мира и воссоздания порядка» среди христиан.

Китайский или турецкий гость Европы того времени, возможно, углядел бы видимость хорошо ему знакомой политической системы: континентом правит одна династия, власть которой, как считается, исходит от божества. Если бы Карлу удалось полностью консолидировать свою власть и установить упорядоченное наследование в грандиозном территориальном конгломерате Габсбургов, Европа вполне могла бы подчиниться доминирующей центральной власти, наподобие Китая или исламского халифата.

Но этого не произошло; да Карл, в общем-то, и не пытался. Его, по большому счету, устраивало установление порядка с опорой на

равновесие. Гегемония могла стать его наследием, но явно не была целью, что он доказал, когда после пленения своего политического соперника, французского короля Франциска I, в битве при Павии в 1525 году отпустил того – и позволил Франции и далее проводить независимую, состязательную внешнюю политику в самом сердце Европы. Французский король оплатил Карлу за этот широкий жест, пойдя на примечательный шаг, столь нетипичный для средневековой концепции христианской государственности: предложил военное сотрудничество османскому султану Сулейману, который в ту пору вторгся в Восточную Европу и оспаривал власть Габсбургов.

Универсальность церкви, которой грезил Карл V, тоже не состоялась^[9]. Император не сумел предотвратить появления и распространения доктрины протестантизма в землях, которые являлись опорой его могущества. В итоге пострадали и религиозное, и политическое единство империи. Попытка реализовать устремления, подобающие такому императору, оказалась превыше возможностей и способностей одного человека. Портрет Карла V кисти Тициана (1548), ныне находящийся в мюнхенской Старой Пинакотеке, показывает нам страдания аристократа, который не в состоянии обрести духовное удовлетворение или адекватно манипулировать вторичными (для него, конечно) рычагами гегемонии. Карл решил отречься от династической титулатуры и поделить обширную империю, причем сделал это таким образом, что лишний раз подчеркнул: плюрализм однозначно взял верх над былым стремлением к единству. Своему сыну Филиппу он завещал королевство Неаполя и Сицилии^[10], затем передал ему корону Испании вместе с глобальной империей. На эмоциональной церемонии 1555 года в Брюсселе Карл V выслушал историю своего правления, засвидетельствовавшую усердие, с каким он исполнял свои обязанности, а также передал во владение Филиппу II Нидерланды. В том же году Карл заключил важный договор, Аугсбургский мир, который формально допустил исповедание протестантизма в границах Священной Римской империи. Уничтожив духовный фундамент своего государства, Карл V предоставил принцам право самим выбирать конфессиональную ориентацию подвластных территорий. Вскоре после этого он сложил с себя титул императора Священной Римской империи и передал заботу об империи, ее внутренних неурядицах и внешних вызовах своему

брату Фердинанду. А сам укрылся в монастыре в сельской области Испании, намереваясь вести уединенную жизнь. Последние дни он провел в обществе своего духовника и итальянского часовщика, чьи труды украшали стены кельи и чье ремесло Карл пытался изучить. Когда в 1558 году он умер и было вскрыто завещание, там выражалось сожаление из-за нарушения императорской клятвы за время его правления, а сыну Карл советовал удвоить усилия инквизиции.

Три события завершили распад старого идеала единства. К тому времени, когда Карл V скончался, революционные перемены вынудили Европу отвлечься от региональных масштабов и озаботиться глобальными перспективами, одновременно фрагментируя средневековый политический и религиозный порядок: началась эпоха Великих географических открытий, было изобретено книгопечатание и произошел раскол церкви.

На карте мира, каким его представляли себе образованные европейцы Средневековья, Северное и Южное полушария будут изображены в несколько непривычном для нас виде: от Индии на востоке до Иберии и Британских островов на западе, с Иерусалимом в центре. Для средневекового восприятия это была не карта путешественников, а сцена, predeterminedенная Богом для исполнения драмы человеческого искупления. Мир, как тогда полагали, незыблемо веруя Библии, на шесть седьмых состоял из суши и на одну седьмую из воды. Поскольку принципы спасения были четко сформулированы и известны – насаждены, – в том числе в землях, известных как христианский мир, не существовало необходимости и не полагалось награды за проникновение на окраины цивилизации. В своем «Аде» Данте описал плавание Улисса через Геркулесовы столбы (Гибралтар и высоты на побережье Северной Африки, на западной окраине Средиземного моря) в поисках знаний; героя наказывают за преступления против Божьей воли – он обречен бороться с ураганом, который грозит потопить корабль и всю команду.

Современная эпоха объявила о своем наступлении, когда предприимчивые сообщества устремились за славой и богатством, исследуя океаны и территории, лежавшие за ними. В пятнадцатом веке Европа и Китай отважились пуститься в неизведанное почти одновременно. Китайские корабли, на тот момент крупнейшие в мире и технологически наиболее передовые, совершили исследовательские

походы в Юго-Восточную Азию, Индию и к восточному побережью Африки. Китайцы обменивались подарками с местными сановниками, включали чужеземных вельмож в китайскую «табель о рангах» и привозили домой культурные артефакты и зоологические курьезы. Тем не менее после смерти «главного евнуха»^[11] Чжэн Хэ в 1433 году китайский император повелел прекратить океанские походы, и флот остался догнивать в портах. Китай по-прежнему настаивал на универсальной значимости своих принципов мирового порядка, но отныне намеревался культивировать их исключительно дома, в лучшем случае – делиться с ближайшими соседями. И никогда больше не предпринимал сопоставимых морских экспедиций – быть может, вплоть до настоящего времени.

Шестьдесят лет спустя европейские державы также вышли в океан, покинув континент, где беспрестанно конкурировали суверенные государства; каждый монарх финансировал собственную морскую экспедицию – в надежде прежде всего на обретение коммерческого или стратегического преимущества над соперниками. Португальские, голландские и английские корабли дерзнули отправиться в Индию; испанцы и англичане вдобавок устремились в Западное полушарие. Постепенно они начали вытеснять сложившиеся торговые монополии и политические структуры. Стартовала трехвековая эпоха преобладающего европейского влияния на мировые дела. Международные отношения, некогда сугубо региональные, становились глобальными с географической точки зрения, центром их служила Европа, в которой сформулировали понятие мирового порядка и способы достижения последнего.

Затем случилась революция в рассуждениях о природе политической власти. Как донести свои мысли обитателям земель, о существовании которых прежде не подозревали? Как они вписываются в средневековую космологию империй и папства? Совет богословов, созванный Карлом V в 1550–1551 годах в испанском Вальядолиде, заключил, что люди, живущие в Западном полушарии, суть обладатели души – следовательно, они тоже имеют право на спасение. Такое богословское заключение было, безусловно, удобным оправданием для завоеваний и преобразований. Европейцы получили возможность приумножать свои богатства и успокоить совесть. Глобальное соперничество за контроль над территориями изменило характер

международного порядка. Европейская перспектива расширилась – и расширялась до тех пор, пока последовательные усилия различных европейских государств по колонизации не затронули большую часть земного шара, пока концепция мирового порядка не слилась с идеологией баланса сил в Европе.

Вторым знаковым событием стало изобретение в середине пятнадцатого века книгопечатания, позволившего распространять знания в доселе невообразимых масштабах. Средневековое общество хранило знания, попросту запоминая дословно – либо кропотливо, вручную копируя религиозные тексты – или анализируя историю сквозь призму эпической поэзии. В эпоху освоения мира все новооткрытые земли следовало изучить и описать, а печать позволила воспроизводить отчеты о путешествиях в нужном количестве. Исследование новых земель стимулировало также интерес к античности и ее открытиям, с особым вниманием к значимости человеческой личности. Усиление позиций разума как объективного источника понимания и просвещения потрясло существующие институты, в том числе – мнившуюся до сих пор незыблемой власть католической церкви.

Третий революционный переворот, протестантская Реформация, начался, когда Мартин Лютер прибил свои девять тезисов к дверям замковой церкви в Виттенберге в 1517 году. Он настаивал, что человек связан с Богом напрямую; следовательно, индивидуальный характер, индивидуальное сознание – а вовсе не посредничество клириков – может и должно считаться ключом к спасению. Целый ряд феодальных правителей усмотрел возможность укрепить свою власть, приняв протестантизм, навязав его подданным, и обогатиться, захватывая церковные владения. Каждая сторона противостояния именовала приверженцев другой еретиками, теологические разногласия быстро переросли в схватку не на жизнь, а на смерть, когда религиозные распри усугубились политическими. Барьер, разделяющий «домашние» и заграничные дела, рухнул, едва сюзерены принялись поддерживать соперничающие фракции на землях соседей, зачастую провоцируя кровопролитие – или принимая в нем участие. Протестантская Реформация разрушила концепцию мирового порядка, существующего за счет «двух мечей» – папства и императорской власти. Христианство раскололось, христиане воевали друг с другом.

Тридцатилетняя война: что легитимно?

Столетие непрерывных войн сопровождалось распространением протестантства и усилением критики католической церкви: Габсбургская империя и папство, разумеется, стремились уничтожить угрозу своей власти, а протестанты сопротивлялись и отчаянно защищали новую религию.

Период, получивший у потомков название «Тридцатилетняя война» (1618–1648), оказался кульминацией длинной череды неурядиц и распрей. Ввиду наметившейся имперской преемственности и того обстоятельства, что католический король Богемии, Фердинанд Габсбург, считался наиболее реальным кандидатом на трон, протестантское дворянство Богемии попыталось осуществить «смену режима», предложив корону своей страны – вкуче с решающим голосом при выборе императора – немецкому принцу-протестанту; в результате Священная Римская империя утратила бы католическое единство. Имперские войска подавили богемское восстание, а затем двинулись далее, преследуя протестантов повсеместно – и начав войну, которая опустошила Центральную Европу. (Протестантские князья в основном правили на севере Германии, к которому относилась и не слишком могущественная в ту пору Пруссия; сердце католических земель находилось на юге Германии и в Австрии.)

В теории, другим католическим монархам, поддерживавшим императора, полагалось объединить силы в противостоянии новой ереси. На деле же, столкнувшись с необходимостью выбирать между духовным единством и стратегическими преимуществами, многие из них выбрали последнее. И тон среди отступников задавала Франция.

В период общих потрясений страна, сумевшая сохранить в целостности внутреннюю структуру власти, оказывается в положении, когда может использовать хаос в соседних государствах для достижения серьезных целей на международной арене. Хитроумные и безжалостные французские министры усмотрели возможность – и приступили к решительным действиям. Первое, что сделало Французское королевство, – оно изменило систему управления. В феодальных обществах авторитет был сугубо персональным, правление отражало волю правителя, но также проистекало из традиции, которая ограничивала доступ к ресурсам, потребным для национальных и

международных предприятий. Главный министр Франции с 1624 по 1642 год, Арман Жан дю Плесси, кардинал де Ришелье, стал первым государственным деятелем, который преодолел эти ограничения.

Клирик, поднаторевший в дворцовых интригах, Ришелье отлично ориентировался в бурных водах эпохи религиозного переворота и краха прежних государственных структур. Будучи младшим из трех сыновей в семье мелкого дворянина^[12], он помышлял о военной карьере, но позднее переключился на теологию – после неожиданной отставки брата, епископа Люсона (эту епархию в дар семье Ришелье пожаловала французская корона). Легенда гласит, что Ришелье завершил религиозное обучение слишком быстро – и в итоге оказался моложе минимального возраста, установленного для тех, кто претендовал на церковный пост; он устранил это препятствие, лично отправившись в Рим и солгав папе на аудиенции о своем возрасте. Получив формальное подтверждение своего статуса, он смело ринулся в фракционную политику при французском королевском дворе, стал сначала доверенным лицом королевы-матери, Марии Медичи, а затем сделался ближайшим советником главного политического конкурента Марии, ее несовершеннолетнего сына короля Людовика XIII. И королева, и король опасались Ришелье и не доверяли ему, однако, в разгар противоборства с французскими протестантами-гугенотами не могли отказаться от его политического и административного гения. Ловкое лавирование молодого клирика между двумя враждующими фракциями двора позволило ему получить от Рима шляпу кардинала; тем самым, возведенный в кардинальский сан, Ришелье сделался наиболее высокопоставленным членом тайного королевского совета. Сохраняя свое положение при дворе на протяжении почти двух десятилетий, «красное преосвященство»^[13] (прозвище он получил за алый цвет кардинальских одежд) добился огромной власти: главный министр Франции, истинный правитель, пусть и не занимающий трон, прообраз нового поколения политиков, олицетворение централизованного государственного управления и внешней политики, основанной на балансе сил.

Когда Ришелье встал во главе французской политики, по Европе циркулировали трактаты Макиавелли о государственной мудрости. Неизвестно, был ли знаком Ришелье с этими текстами о политике власти. Однако он практиковал в своей деятельности основные

принципы Макиавелли. Ришелье разработал радикальный подход к реализации идеи международного порядка. Он выдвинул мысль о том, что государство представляет собой абстрактную и постоянную сущность в собственном праве. Притязания этой сущности диктуются не личностью правителя, не семейными интересами и не универсальными требованиями религии. Путеводной звездой государства являются национальные интересы, проистекающие из вычисляемых принципов; позднее эта мысль стала основой теории *raison d'état*^[14]. Поэтому именно государство должно стать базовой единицей международных отношений.

Зарождающееся государство Ришелье воспринимал как инструмент высокой политики. Он сосредоточил власть в Париже, учредил должности так называемых интендантов – профессиональных государственных служащих, с помощью которых авторитет правительства укреплялся во всех провинциях и областях королевства, обеспечил эффективный сбор налогов и решительно оспаривал традиционно сильное на местах влияние «старого дворянства». Королевскую власть по-прежнему олицетворял монарх – как символ суверенного государства и как олицетворение национальных интересов.

Ришелье рассматривал войны в Центральной Европе не как повод взяться за оружие во имя защиты церкви, но как средство обуздать имперские амбиции Габсбургов. Хотя короля Франции именовали *Rex Catholicissimus*, или «Всекаатолическим»^[15], еще с четырнадцатого столетия, сама Франция начала – постепенно, едва заметно, только позднее уже открыто – поддерживать протестантскую коалицию (Швеции, Пруссии и северогерманских княжеств), преследуя собственные, тщательно просчитанные национальные интересы.

В ответ на возмущенные возгласы – мол, как кардинал, он обязан исполнить свой долг перед универсальной и вечной католической церковью (то есть побудить Францию к выступлению против мятежных протестантских князей Северной и Центральной Европы), – Ришелье перечислял свои обязанности министра, стоящего во главе мирского, преходящего, пока уязвимого политического образования. Спасение души вполне может быть личной целью, но государственный деятель несет ответственность за политическую структуру, не имеющую вечной души, которую надлежит спасти. «Человек

бессмертен, его спасение в будущем, – говорил Ришелье. – А государство лишено бессмертия, оно спасается либо сейчас, либо никогда».

Фрагментацию Центральной Европы Ришелье трактовал как политическую и военную необходимость. Основная угроза для Франции была стратегической, а вовсе не метафизической или религиозной: ведь объединенная Центральная Европа окажется в состоянии доминировать над остальным континентом. Поэтому в национальных интересах Франции предотвратить консолидацию Центральной Европы: «Если [протестантская] партия будет полностью уничтожена, вся мощь Австрийского дома обрушится на Францию». Поддерживая многочисленные мелкие государства Центральной Европы и ослабляя Австрию, Франция, следовательно, достигает своей стратегической цели.

Схема Ришелье благополучно пережила множество потрясений. Два с половиной столетия – с занятия Ришелье поста министра в 1624 году до провозглашения Бисмарком Германской империи в 1871 году – сохранение Центральной Европы (более или менее это территория современных Германии, Австрии и Северной Италии) разделенной оставалось руководящим принципом внешней политики Франции. И пока эта концепция служила основой европейского порядка, Франция занимала лидирующие позиции на континенте. Когда же она ушла в прошлое, вместе с нею закончилось доминирование Франции.

Из государственной карьеры Ришелье можно сделать три вывода. Во-первых, неотъемлемым элементом успешной внешней политики является долгосрочная стратегическая концепция на основе тщательного анализа всех соответствующих факторов. Во-вторых, государственный деятель должен максимально приблизить это видение к реальности, базируясь на анализе фактов и формируя из массы неоднородных, зачастую противоречивых вызовов единое целое, вырабатывая целенаправленную политику. Он (или она) должен понимать, к чему ведет выбранная стратегия – и почему. В-третьих, действовать надлежит на переднем крае возможного, преодолевая разрыв между историческим опытом общества и его устремлениями. Повторение привычных шагов сулит застой, а значит, от политика требуются дерзость и смелость.

Вестфальский мир

В наше время Вестфальский мир принято считать первым шагом в осуществлении новой концепции международного порядка, которая впоследствии распространилась по всему миру. Однако те люди, что сошлись на переговорах по заключению мира, были куда более заинтересованы не в долгосрочных перспективах, а в протоколе и статусе.

К тому моменту, когда представители Священной Римской империи и двух ее основных противников, Франции и Швеции, согласовали в общих чертах созыв мирной конференции, конфликт длился уже двадцать третий год. И минуло еще два года, наполненных сражениями, прежде чем мирные делегации наконец-то встретились; причем каждая из сторон потратила время на укрепление связей с союзниками и улаживание спорных внутренних вопросов.

В отличие от прочих знаковых соглашений, наподобие Венского конгресса 1814–1815 годов или Версальского договора 1919 года, Вестфальский мир не был оформлен в рамках одной мирной конференции; да и сама обстановка переговоров не очень-то соответствовала типичному представлению о таких конференциях – собираются государственные деятели и обсуждают проблемы мирового порядка. Как бы отражая, будто в зеркале, многочисленность участников войны, охватившей всю Европу, от Испании до Швеции, мир был заключен на основе множества сепаратных соглашений, подписанных в двух крошечных вестфальских городках. Представители католических держав, включая 178 депутатов от государств, входящих в Священную Римскую империю, собрались в католическом городе Мюнстер. Протестантские делегаты съехались в город Оснабрюк, лютеранско-католический по вероисповеданию, примерно в тридцати милях от Мюнстера. 235 официальных посланников и их свиты заняли все свободные помещения, какие смогли отыскать, в обоих городах, ни один из которых никогда не рассматривался как подходящее место для масштабного мероприятия, не говоря уже о съезде представителей европейских держав. Швейцарский посланник «разместился над ткацкой мастерской, в комнате, что воняла колбасой и рыбьим жиром», а делегация Баварии с

боем отстояла восемнадцать кроватей для двадцати девяти человек, ее составлявших. В отсутствие уполномоченного председателя конференции или посредника, без всяких пленарных заседаний, делегаты встречались где и как придется и направлялись в нейтральную зону между двумя городами, чтобы договориться об условиях, а порой устраивали неформальные посиделки в кабачках. Некоторые крупные державы сочли возможным расквартировать своих представителей в обоих городах. Между тем боевые действия продолжались, несмотря на переговоры, и военная динамика, безусловно, оказывала влияние на ход конференции.

Большинство делегатов прибыли на конференцию с сугубо практическими инструкциями, основанными на стратегических интересах. Вслух они дружно произносили выпендрение, едва ли не идентичные фразы о достижении «мира ради блага христианства», однако было пролито слишком много крови, чтобы обеспечить реализацию этой высокой цели посредством доктринального или политического единства. Все прекрасно понимали, воспринимали как само собой разумеющееся, что мир будет заключен – если будет – на приемлемом для конкурентов балансе сил.

Текст Вестфальского мирного договора, выросший из этих чрезвычайно туманных дискуссий, является, пожалуй, наиболее часто цитируемым дипломатическим документом в истории Европы, хотя на самом деле общего текста этого договора не существует. И делегаты не встречались все вместе на общем пленарном заседании, чтобы его принять. Этот мир стал результатом трех комплементарных соглашений, подписанных по отдельности, в разное время и в разных городах. В январе 1648 года Испания по Мюнстерскому договору признала независимость Голландской республики, и так завершилось голландское восстание продолжительностью около восьми десятилетий, финал которого совпал с Тридцатилетней войной. В октябре 1648 года два собрания делегатов, снова по отдельности, подписали мирные договоры в Мюнстере и Оснабрюке, причем условия этих договоров пересекались, как и ключевые положения.

Оба основных многосторонних договора провозглашали намерение заключить «христианский, всеобщий, нерушимый, истинный и искренний мир и дружбу» во имя «вящей славы Божией и безопасности христианских земель». Ключевые условия соглашений

не сильно отличались от схожих статей других документов этого периода. Зато механизмы, при помощи которых предлагалось реализовывать согласованные меры, не имели прецедентов в европейской истории. Война уничтожила притязания на всеобщую или хотя бы конфессиональную солидарность. Начинаясь как столкновение католиков с протестантами, она, особенно после выступления Франции против католической Священной Римской империи, превратилась в череду хитроумных интриг и противоречивых союзов. Можно обнаружить немалое сходство с ближневосточным пожаром наших дней: религиозные лозунги и призывы к солидарности использовались для мотивирования, но конфессиональные интересы нередко игнорировались, поскольку учитывались прежде всего интересы геополитические – и даже просто амбиции отдельных выдающихся личностей. Каждая партия испытала, на том или ином этапе войны, предательство «естественных» союзников; никто не подписывал договоры в иллюзорном убеждении, будто он делает что-то еще, кроме как отстаивает собственные интересы и собственный престиж.

Как ни парадоксально, общее истощение и цинизм позволили делегатам превратить практические меры по окончанию конкретной войны в формулировки мирового порядка. После десятков встреч, на которых сходились закаленные в битвах бойцы, дабы закрепить завоеванные силой оружия успехи, бывшие формы иерархического порядка незаметно исчезали. Устанавливалось «коренное» равенство суверенных государств, независимо от их могущества или формы правления. Новые игроки на европейской арене, такие как Швеция и Голландская республика, по протоколу считались равными столь уважаемым великим державам, как Франция и Австрия. Всех монархов именовали «величествами», всех послов – «превосходительствами». Стремление к равенству зашло так далеко, что делегации, добиваясь абсолютного равенства, придумали входить на место переговоров каждая через отдельную дверь (что требовало прорубания дверей по числу участников), и шли к своим местам одинаковым шагом, чтобы ничья гордость не пострадала – ведь иначе тому, кто идет быстрее, пришлось бы ждать другого, который перемещается неспешнее.

Вестфальский мир стал поворотным пунктом в истории народов, поскольку его условия были одновременно чрезвычайно простыми – и всеохватными. Отныне именно национальное государство, а не империя, династия или религиозная конфессия, признавалось «кирпичиком» европейского миропорядка. Была выработана концепция государственного суверенитета. Право каждой страны, подписавшей договор, устанавливать собственную внутреннюю структуру и религиозную ориентацию, не опасаясь вмешательства соседей, было закреплено формально, а дополнительные условия^[16] подтверждали, что религиозные меньшинства вправе исповедовать свою веру и более не опасаться насильственного, принудительного обращения. Безусловно, договоры фиксировали непосредственные потребности заинтересованных сторон, но они же формировали принципы системы «международных отношений», вытекавшие из всеобщего желания избежать рецидивов тотальной войны на континенте. Практика дипломатического обмена, в том числе размещение посольств на постоянной основе в столицах других государств (до тех пор к подобной практике прибегали только венецианцы), стала одним из результатов Вестфальского мира; подразумевалось, что она позволит лучше улаживать межгосударственные противоречия и будет поощрять мирные способы разрешения конфликтов. Было предложено и впредь собирать конференции и организовывать консультации по вестфальскому образцу, чтобы регулировать споры, не допуская их перерастания в вооруженные столкновения. Международное право, разработанное во время войны европейскими светилами юриспруденции, такими как Гуго де Гроот (Гроций), трактовалось как подразумевающее расширение пространства согласованных доктрин, направленных на обретение гармонии, с Вестфальскими договорами в качестве фундамента.

Суть этой системы и причина ее повсеместного распространения состояли в том, что условия, в ней закрепленные, были процедурными, а не вида «здесь и сейчас». Если государство принимает эти основные требования, оно признается членом международного сообщества, сохраняющим собственную культуру, власть, религию и внутреннюю политику, но защищенным международной системой от внешнего вмешательства. Идеал имперского или религиозного единства – основа

миропорядка в Европе и в большинстве других регионов – предполагал, что лишь один центр власти может считаться полностью легитимным. Вестфальская концепция выдвинула в качестве отправной точки множество таких центров и вовлекла многообразие стран, принимая каждую как есть, в общие поиски порядка. К середине двадцатого века эта международная система успела утвердиться на всех континентах – и остается основой того международного порядка, который мы наблюдаем сегодня.

Вестфальский мир не зафиксировал расстановки противоборствующих союзов и не сформировал постоянную панъевропейскую политическую структуру. С утратой единой церковью положения основного источника легитимности и с ослаблением позиций императора Священной Римской империи в качестве концепции порядка в Европе был выбран баланс сил, который, по определению, предполагал идеологический нейтралитет и умение приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Британский государственный деятель девятнадцатого века лорд Пальмерстон выразил основной принцип этого мира следующим образом: «У нас нет вечных союзников и нет вечных врагов. Наши интересы – вот что вечно, постоянно, и наш долг – следовать этим интересам»^[17]. На просьбу сформулировать эти интересы более конкретно, в виде официальной «внешней политики», прославленный апологет британского могущества ответил: «Когда люди спрашивают меня... что такое политика, единственный ответ таков: мы намереваемся делать то, что кажется наилучшим, в каждом конкретном случае, когда тот возникает, полагая интересы нашей страны своим руководящим принципом». (Конечно, эта обманчиво простая установка оказалась эффективной для Британии отчасти потому, что ее правящий класс обладал общим, почти интуитивным пониманием того, каковы интересы страны.)

Сегодня Вестфальскую систему нередко обвиняют в циничном манипулировании: дескать, это происки власти, равнодушной к соображениям этики. Тем не менее структура, порожденная Вестфальским миром, представляла собой первую попытку институционализации международного порядка на основе согласованных правил и ограничений, обосновывала сосуществование

множества центров силы, а не доминирования одной страны. Понятия *raison d'état* и «национальных интересов» стали известны публике, и за ними скрывались не амбиции власть имущих, а стремление к рационализации, к ограничению абсолютизма. По всей Европе на протяжении жизни нескольких поколений велись войны во имя универсальных (и противоречивых) нравственных требований; наконец пророки и завоеватели развязали тотальную войну в погоне за удовлетворением личных, династических, имперских и религиозных претензий. Теоретически логичное и предсказуемое взаимодействие государственных интересов было призвано преодолеть хаос, царивший на континенте. Локальные войны по «вычисляемым» поводам шли на смену эпохе торжествующего универсализма, с его принудительными ссылками, обращениями и всеобщей войной, пожиравшей гражданское население.

При всех своих недостатках система баланса сил виделась шагом вперед по сравнению с ужасами религиозных войн. Но как установить этот баланс сил? В теории он основывался на реалиях; следовательно, все игроки на европейской арене должны воспринимать его одинаково. Но каждое общество имеет собственное устройство, культуру и историю и многократно убеждалось, что элементы власти, сколь угодно объективные, находятся в постоянном движении. Поэтому баланс сил следовало время от времени «калибровать». Так возникали войны, масштабы которых баланс сил сам и ограничивал.

Вестфальская система в действии

Благодаря Вестфальскому миру в ведении папства остались исключительно религиозные вопросы, а в межгосударственных отношениях закрепилась доктрина суверенного равенства. Какая же политическая теория могла объяснить происхождение и обосновать функционирование светского политического порядка? В своем «Левиафане»^[18], опубликованном в 1651 году, спустя три года после заключения Вестфальского мира, Томас Гоббс изложил такую теорию. По его мнению, в прошлом наличествовало некое «природное состояние», когда отсутствие власти вело к неизбежной «войне всех против всех». Чтобы впредь не возникло этой недопустимой всеобщей растерянности, теоретизировал он далее, люди передали свои права суверенной власти – в обмен на гарантированную сувереном безопасность для всех в границах государства. Монополия суверенного государства на власть сложилась как единственный способ преодоления вечного страха насильственной смерти и войны.

Общественный договор в анализе Гоббса не применим вне границ государств, поскольку не существует никакого наднационального сюзерена, налагающего свой порядок. Поэтому:

«Что касается обязательств одного суверена по отношению к другому, оные определяются тем законом, который обычно называют законом народов, и мне о нем не нужно что-либо говорить сейчас, ибо закон народов и закон природы суть то же самое. Каждый суверен обладает равным правом предоставления безопасности собственному народу, как и любой отдельный индивид наделен правом обеспечивать безопасность собственного тела»^[19].

Международная арена пребывает в «естественном состоянии» и представляет собой анархию, поскольку нет мирового суверена, который бы гарантировал безопасность всему миру, да и сотворить такового не имеется практической возможности. Следовательно, каждому государству необходимо ставить собственные национальные интересы превыше всего – в мире, где власть является первостепенным фактором. Кардинал Ришелье наверняка охотно согласился бы с этим тезисом.

Вестфальский мир на первых порах реализовывал гоббсовскую схему. Как можно было отрегулировать это новое соотношение сил? Следовало провести различие между балансом сил как фактом и как системой. Любой международный порядок – достойный этого названия – рано или поздно должен достичь равновесия, иначе мир окажется в состоянии постоянной войны. Поскольку средневековый мир объединял десятки княжеств, практический баланс сил нередко складывался де-факто. После Вестфальского договора баланс сил предстал уже в виде системы; достижение упомянутого баланса признавалось одной из ключевых целей внешней политики; его нарушение грозило образованием коалиции, стремящейся защитить равновесие.

Возвышение Британии в качестве главенствующей военно-морской державы в начале восемнадцатого века позволило преобразовать баланс сил из фактического результата в систему. Владычество над морями предоставило Британии возможность выбирать время и масштабы своего вмешательства в дела континента, выступать арбитром баланса сил, даже гарантом того, что в Европе будет сохраняться баланс сил. До тех пор, пока Британия верно оценивала свои стратегические притязания, она оставалась в состоянии поддерживать более слабую сторону конфликтов на континенте против более сильной, предотвращая тем самым возникновение чьей-либо гегемонии в Европе – и вынуждая континент мобилизовывать свои ресурсы ради вызова морскому могуществу Британии. До начала Первой мировой войны Англия действовала в роли «балансира» в европейском равновесии. Она принимала участие в европейских войнах, однако нередко меняла стороны – не в погоне за конкретными, сугубо национальными целями, но определяя собственные национальные интересы при сохранении баланса сил. Многие из британских принципов воспроизводит в современном мире Америка, о чем будет сказано позже.

После Вестфальского мира в Европе фактически сложились два баланса сил^[20]: общий порядок, гарантом которого выступала Англия, служил залогом всеевропейской стабильности, а центральноевропейский порядок, в основном контролируемый Францией, был призван не допустить появления объединенной Германии, способной стать наиболее могущественной страной на

континенте. На протяжении более двухсот лет эти два порядка удерживали Европу от распада на фрагменты, от возвращения к временам Тридцатилетней войны; войн как таковых они не предотвращали, но ограничивали их влияние, потому что целью обоих являлось равновесие, а не завоевание всего и вся.

Баланс сил можно оспорить по крайней мере двумя способами: если какая-либо крупная страна нарастит свое могущество до той степени, когда будет угрожать гегемонией, или если второстепенное до того государство предпримет попытку вступить в ряды великих держав и осуществит череду «компенсирующих корректировок» порядка ради установления нового равновесия – а то и ради всеобщего конфликта. С обоими вызовами Вестфальская система столкнулась в восемнадцатом столетии – сперва ей пришлось выдержать стремление к гегемонии французского короля Людовика XIV, а затем произвести «перенастройку» системы по настоянию прусского монарха Фридриха Великого, требовавшего себе равного с прочими статуса.

Людовик XIV стал полновластным монархом в 1661 году и сумел усовершенствовать концепцию управления Ришелье до поистине беспрецедентного уровня. Французская корона в прошлом управляла страной через феодалов, чьи собственные, автономные притязания на власть базировались на праве наследования. Людовик же стал править через королевскую бюрократию, целиком и полностью зависимую от монарха. Он отдалял от себя придворных благородной крови и возвышал бюрократов. Имела значение только служба королю, а ранг и благородство рождения в расчет не принимались. Блестящему министру финансов Жану Батисту Кольберу, сыну провинциального торговца тканями, поручили унифицировать налоговое администрирование и изыскать средства для ведения непрерывных войн. Мемуары Сен-Симона, герцога по праву наследования и литератора, содержат горькие наблюдения очевидца этой социальной трансформации:

«Он [Людовик] прекрасно понимал, что бремя его опалы может удручить сеньора, но не уничтожить вместе со всей его семьей, зато, смещая государственного секретаря или иного чиновника того же ранга, он вновь погружает его самого и его близких в бездну ничтожества, откуда сам извлек; даже богатства, которые, вполне

возможно, остались у отставленного, не способны извлечь из подобного небытия. Потому-то ему и доставляла такое удовольствие мысль, что министры благодаря своей власти господствовали над самыми высокородными его подданными, над принцами крови...»^[21]

В 1680 году Людовик, как бы подчеркивая всеохватывающий характер своей абсолютистской власти, принял титул «Великий», в дополнение к более раннему, лично монархом установленному, именованию «Король-Солнце». В 1682 году территории Франции в Северной Америке получили в честь короля название «Луизиана». В том же году королевский двор перебрался в Версаль, откуда Людовик и правил, уделяя максимум внимания «театрализованной монархии», каковая была призвана всячески прославлять его величие.

Объединение королевства позволило покончить с разрушительными последствиями внутренних распрей; наличие же квалифицированной бюрократии и армии, намного превосходящей силы любого соседнего государства, обеспечило Франции на некоторое время доминирующее положение в Европе. Правление Людовика представляло собой почти непрерывную вереницу войн. Разумеется – это верно и для последующих претендентов на европейскую гегемонию, – каждое новое завоевание провоцировало возникновение коалиции «обиженных» наций. Поначалу полководцы Людовика одерживали победы везде и всюду, но в итоге они были разгромлены или как минимум превзойдены; наиболее показательна «порка», устроенная им в первом десятилетии восемнадцатого века Джоном Черчиллем, позднее ставшим герцогом Мальборо, предком великого премьер-министра двадцатого столетия Уинстона Черчилля. Получилось, что легионы Людовика не смогли подорвать исходную устойчивость Вестфальской системы.

Спустя десятилетия после смерти Ришелье продемонстрированная эффективность консолидированного, централизованного государства, проводящего светскую внешнюю политику и централизующего управление, вдохновила подражателей, которые объединились, дабы уравновесить могущество Франции. Англия, Голландия и Австрия образовали Великий альянс, к которому позднее присоединились Испания, Пруссия, Дания и несколько немецких княжеств. Отмечу, что нельзя говорить об идеологической или религиозной оппозиции

Людовику: французский оставался языком дипломатии и высокой культуры на большей части Европы, а среди союзников продолжали усугубляться противоречия между католиками и протестантами. Скорее, следует указать на «врожденную» характеристику Вестфальской системы, ярко проявившую себя в данном случае, – стремление к сохранению плюрализма европейского порядка. Особенность последнего прекрасно передает имя, присвоенное современными историками, – Великое успокоение. Людовик добивался владычества, равного гегемонии, ради славы Франции. Он потерпел поражение от Европы, которая искала порядок в разнообразии.

В первой половине восемнадцатого века преобладали панъевропейские стремления сдержать Францию; вторая же половина столетия прошла под знаком усилий Пруссии обрести себе место среди великих держав. Где Людовик начинал войны, чтобы преобразить власть в гегемонию, там прусский король Фридрих II отправлялся в бой, чтобы трансформировать скрытую слабость в статус великой державы. Расположенная на суровой северогерманской равнине, простирающаяся от Вислы до западных границ Германии, Пруссия культивировала дисциплину и служение обществу, представляя их как равноценную замену более многочисленному населению и богатым ресурсам, которыми располагали более обеспеченные страны. Разделенная на две несмежные части^[22], она опасно балансировала между австрийской, шведской, российской и польской сферами влияния. Сама Пруссия была населена относительно скудно; ее преимущество состояло в дисциплине, с какой она управляла своими ограниченными ресурсами. Главными богатствами Пруссии были гражданская активность, эффективность государственной бюрократии и хорошо обученная армия.

Когда Фридрих II всходил на престол в 1740 году, казалось маловероятным, что он добьется того величия, которого в итоге достиг. Устав от прозябания в весьма неопределенном статусе наследного принца, он попытался бежать в Англию в сопровождении друга, Ганса Германа фон Катте. Беглецов задержали. Правящий монарх повелел обезглавить фон Катте на глазах у Фридриха, а самого принца судил военный трибунал во главе с королем. Отец задал сыну 178 вопросов,

и Фридрих умудрился ответить на них так ловко и изворотливо, что был оправдан и восстановлен в правах.

Пережить подобный трагический опыт можно было, только приняв строгое отцовское отношение к долгу – и обзаведясь мизантропическими взглядами на человеческую природу в целом. Фридрих воспринимал свою личную власть как абсолютную, но понимал, что политику жестко лимитируют принципы *raison d'état*, выдвинутые Ришелье столетием ранее. «Правители являются рабами своих ресурсов, – говаривал он, – а интересы государства выражаются в законе, и этот закон не может быть нарушен». Доблестный космополит (Фридрих говорил и писал по-французски и сочинял сентиментальные французские стишки даже в ходе военных кампаний – одному своему творению он дал подзаголовок «*Pas trop mal pour la veille d'une grande bataille*»^[23]), он воплощал собой новую эру «просвещенного правления»^[24], благожелательный деспотизм, легитимизованный эффективностью, а не идеологией.

Фридрих полагал, что статус великой державы требует территориального единства Пруссии – то есть расширения границ страны. В иных оправданиях, политических или моральных, попросту не было необходимости. «Превосходство наших войск, своевременность, с которыми мы способны привести их в движение, обеспечивают нам, если коротко, явное преимущество перед нашими соседями»; таково оказалось единственное оправдание, по которому Фридрих захватил в 1740 году богатую и традиционно проавстрийскую провинцию Силезия. Решая вопрос геополитически, а не юридически или морально, Фридрих заключил союз с Францией (которая рассматривала Пруссию как противовес Австрии) и сохранил Силезию по мирному договору 1742 года, фактически почти в два раза увеличив территорию и численность населения Пруссии.

Своими амбициями Фридрих вновь принес войну в Европу, которая находилась в состоянии мира с 1713 года, когда Утрехтский договор положил предел притязаниям Людовика XIV. Вызов, брошенный сформированному балансу сил, привел в действие механизмы Вестфальской системы. Цена за принятие в сообщество европейских государств, за вхождение в него в качестве нового члена европейского порядка составила семь лет опустошительной, почти катастрофической войны. Прежние союзы утратили силу, поскольку

былые союзники Фридриха теперь норовили его остановить, а былые соперники пытались использовать дисциплинированную прусскую армию ради собственных целей. Россия, далекая и загадочная, впервые приняла участие в состязании за европейское влияние. На грани поражения, когда русские войска стояли у ворот Берлина, Фридрих обрел спасение в результате внезапной смерти царицы Елизаветы. Новый царь, давний поклонник Фридриха, завершил войну. (В апреле 1945 года Гитлер, осажденный в окруженном Берлине, ожидал события, сравнимого с так называемым «Чудом Бранденбургского дома», – и услышал от Йозефа Геббельса, что чудо произошло: умер президент Франклин Д. Рузвельт.)

Священная Римская империя превратилась в название без сути, и никто из европейских держав более не претендовал на универсальную власть. Почти все правители утверждали, что правят по божественной воле – этого не ставила под сомнение ни одна крупная держава, – но вынужденно признавали, что Господь благоволит и многим другим монархам. Поэтому войны затевались ради ограниченных территориальных приобретений, не ради свержения существующих правительств и институтов, не ради принуждения к новой системе отношений между государствами. Традиция не позволяла правителям рекрутировать подданных и сильно уменьшала возможности повышать налоги. Что касается гражданского населения, его страдания ни в коей мере не сопоставимы с ужасами Тридцатилетней войны – или той катастрофой, которую технологии и идеология произведут два столетия спустя. В восемнадцатом веке баланс сил представлял собой театр, в котором «жизни и ценности выставлены на обозрение, среди великолепия, блеска, галантности и ярких спектаклей самоуверенности». Использование силы ограничивалось тем фактом, что система – это признавали все – не потерпит гегемонистских устремлений.

Наиболее стабильные международные порядки обладали преимуществом единого восприятия. Государственные деятели, которые сформировали европейский порядок восемнадцатого века, были аристократами, которые оперировали нематериальными активами (честь, долг и прочее) столь же умело, сколь умело договаривались о фундаментальных принципах. Они принадлежали к единой элите общества, которая говорила на общем языке

(французский), посещала одни и те же салоны и заводила романтические связи в столицах других государств. Национальные интересы, конечно, варьировались, но в мире, где министром иностранных дел мог служить подданный другого монарха^[25] (до 1820 года в России, например, министров иностранных дел приглашали из-за рубежа), а территория могла изменить национальную принадлежность вследствие брачного союза или удачного наследования, ощущение объединяющей общей цели было выражено наглядно. В восемнадцатом веке расчет сил делался, исходя из всеобщего вдохновляющего чувства легитимности и негласных правил международного поведения.

Согласие не следует сводить исключительно к этикету; оно отражало этические убеждения европейцев. Никогда в истории Европа не была более сплоченной или более «спонтанной», нежели в тот период, получивший позднее наименование эпохи Просвещения. Новые достижения в науке и философии постепенно устраняли прежние европейские разногласия из-за традиций и вер. Стремительное наступление рационализма по многим фронтам – в физике, химии, астрономии, истории, археологии, картографии – укрепляло новую, светскую веру в разум, предрекая, что раскрытие всех тайн природы ныне – только вопрос времени. «...Истинное мироздание было наконец открыто: оно стало развивающейся, все более совершенствующейся системой познания мира», – писал в 1759 году блестящий французский энциклопедист Жан Лерон Д’Аламбер, вторя общим умонастроениям:

«Начиная с представлений о Земле и кончая представлениями о Сатурне, от истории неба до истории насекомых, наука о природе совершенно изменила свой вид. А вслед за нею и все другие науки приобрели новую форму... Открытие и применение нового метода философствования возбуждают не только энтузиазм, сопровождающий все великие открытия, но также и всеобщий взлет идей. Все эти причины вызвали к жизни настоящее брожение умов. Брожение это, действующее во всех направлениях, неудержимо обратилось на все, что попадает на его пути, подобно вышедшему из берегов, сметающему дамбы потоку».

Это «брожение» основывалось на новом, аналитическом духе и на тщательном исследовании всех гипотез и утверждений. Изучение и систематизация знаний – предприятием, олицетворением которого стала двадцативосьмитомная «Энциклопедия», в чьем издании Д'Аламбер участвовал в 1751–1772 годах, – позволяла говорить о познаваемой, демистифицированной вселенной, о человеке как ее основном деятеле и раскрывателе тайн. Обширные знания будут объединены, писал коллега Д'Аламбера Дени Дидро, во имя «общей картины усилий человеческого ума». Разум противопоставит лжи «твердые принципы» и заполнит «пустоты, разделяющие... науки или искусства», благодаря чему этот труд «будет способствовать достоверности и прогрессу человеческих знаний и... умножая число истинных ученых, выдающихся мастеров и просвещенных любителей, он окажет на общество новое полезное действие»^[26].

Неизбежно новый образ мышления и анализа должны были применить к концепциям управления, политической легитимности и международного порядка. Политический философ Шарль-Луи де Секонда, барон де Монтескье, расширил принципы баланса сил на внутреннюю политику, описал систему сдержек и противовесов, позднее институционализированную в конституции США. Далее он обратился к философии истории и механизмам социальных изменений. Обозревая историю различных обществ, Монтескье пришел к выводу, что события никогда не происходят случайно. Всегда есть некая исходная причина, которую разум в состоянии обнаружить, а затем использовать для общего блага:

«Миром управляет не фортуна... Существуют общие причины как морального, так и физического порядка, которые действуют в каждой монархии, возвышают ее, поддерживают или низвергают; все случайности подчинены этим причинам. Если случайно проигранная битва, то есть частная причина, погубила государство, то это значит, что была общая причина, приведшая к тому, что данное государство должно было погибнуть вследствие одной проигранной битвы. Одним словом, все частные причины зависят от некоторого всеобщего начала»^[27].

Немецкий философ Иммануил Кант, возможно, величайший философ эпохи Просвещения, продолжил усилия Монтескье и выдвинул теорию перманентного и мирного мирового порядка. Размышляя о мире в бывшей прусской столице Кёнигсберге, основываясь на истории Семилетней войны, американской Войны за независимость и Великой французской революции, Кант осмелился увидеть в глобальных потрясениях первые намеки на новый, более мирный международный порядок.

Человечество, рассуждал Кант, характеризует отличительная черта – «недоброжелательная общительность», под которой он имеет в виду «склонность вступать в общение, связанную, однако, с всеобщим сопротивлением, которое постоянно угрожает обществу разьединением»^[28]. Проблема порядка, в особенности международного порядка, «самая трудная и позднее всех решается человеческим родом». Люди основывают государства, чтобы усмирять свои страсти, но, как индивид в естественном состоянии, каждое государство стремится сохранить абсолютную свободу, даже ценой «не знающего законов состояния диких». Но «опустошения, разрушения и даже полное внутреннее истощение сил», эти следствия межгосударственных столкновений, со временем понудят людей искать альтернативу. Роду человеческому суждено пребывать либо в покое «гигантского кладбища человечества»^[29], либо в мире, устроенном разумно.

Ответом, по мнению Канта, способна стать добровольная федерация республик, поклявшихся избегать вражды и здраво вести себя на внутренней и международной аренах^[30]. Их граждане станут придерживаться мира, потому что, в отличие от деспотических правителей, помышляя о военных действиях, они задумаются, стоит ли «навлекать на себя все тяготы войны»^[31]. С течением лет привлекательность этого соглашения станет очевидной, и так начнется постепенное преобразование в мирный международный порядок. Природа поставила себе целью, чтобы человечество в конце концов сумело отыскать дорогу к системе «объединенной власти... стало быть... всемирно-гражданскому состоянию публичной государственной безопасности» и к «совершенному гражданскому объединению человеческого рода».

Вера в силу разума, на грани иллюзии, отражена отчасти в том, что древние греки называли hubris, – в своего рода духовной гордыне, содержащей семена собственного разрушения. Философы Просвещения игнорировали ключевой вопрос: может ли государственный порядок быть изобретен с нуля кабинетными интеллектуалами или же диапазон выбора ограничен «подковерными» органическими и культурными реалиями (как полагал Берк)? Существуют ли единая концепция и механизм, логически объединяющие все на свете таким образом, что это можно обнаружить и изучить (как утверждали Д'Аламбер и Монтескье), – или наш мир слишком сложен, а человечество слишком многообразно, чтобы подступать к решению этих вопросов, вооружившись исключительно логикой, тогда как требуется известная интуиция и почти эзотерическое искусство государственного управления?

Философы эпохи Просвещения на континенте в целом выбрали рационалистический, а не органический взгляд на политическую эволюцию. И своими трудами способствовали – непреднамеренно, конечно, ведь они призывали к противоположному, – наступлению события, которое сотрясало Европу на протяжении десятилетий и последствия которого ощущаются по сей день.

Французская революция и ее последствия

Революции вызывают больше всего потрясений, когда происходят неожиданно. Так было и с Великой французской революцией, которая провозгласила внутренний и международный порядки, настолько отличавшиеся от Вестфальской системы, насколько это вообще было возможно. Отказавшись от различия внутренней и внешней политики, она возродила накал страстей времен Тридцатилетней войны – и в известной степени даже превзошла его, – подменив светским крестовым походом религиозные стимулы семнадцатого века. Революция продемонстрировала, каким образом внутренние изменения в обществе способны поколебать международное равновесие куда сильнее, нежели внешняя агрессия; этот урок впоследствии заставят выучить заново бурные события двадцатого столетия, многие из которых проистекают из концепций, впервые озвученных в период Французской революции.

Революции вспыхивают, когда многообразие обид, чаще всего не связанных между собой, сливается воедино – и оборачивается нападением на ничего не подозревающий правящий режим. Чем шире революционная коалиция, тем сильнее ее способность уничтожить существующие модели власти. Но чем радикальнее перемены, тем больше насилия требуется, чтобы «реконструировать» власть, без которой общество распадется. Царства террора – отнюдь не случайность: они являются неотъемлемым элементом революций.

Французская революция произошла в богатейшей стране Европы, пусть правительство этой страны оказалось временным банкротом. Первоначальный побудительный мотив революции исходил от ее лидеров – в основном аристократов и крупной буржуазии, стремившихся привести систему управления страной в соответствие с принципами Просвещения. Однако позднее революция усугубилась до степени, которой не предвидели ни творцы революции, ни правящая элита (последняя не могла вообразить подобного даже в страшных снах).

Суть революции состояла в изменении европейского порядка, причем в масштабах, каких Европа не знала после завершения религиозных войн. Для революционеров установленный людьми

порядок не был ни отражением божественного плана мироустройства (так думали в Средневековье), ни переплетением великих династических интересов восемнадцатого века. Как и потомки из тоталитарных движений двадцатого столетия, философы Французской революции видели в механизмах истории осуществление подспудной народной воли, которая по определению не способна подчиняться «врожденным» или конституционным ограничениям – и монополю на выявление которой они зарезервировали за собой. Народная воля, понимаемая таким образом, принципиально отличается от концепции правления большинства, господствовавшей в Англии, и от системы сдержек и противовесов, заложенной в тексте конституции (как в Соединенных Штатах). Требования французских революционеров намного превосходили концепцию государственной власти, сформулированную некогда Ришелье: революционеры сводили суверенитет к абстракции – не просто отдельные люди, а сами народы как неделимое целое должны обладать единством мышления и единством действия, – и назначали себя выразителями народных чаяний и воплощением народной воли.

«Крестный отец» революции, интеллектуал Жан Жак Руссо, сформулировал это универсальное притязание в своих трудах, эрудированность и обаяние которых затмевали их «подрывную» сущность^[32]. Проводя читателей шаг за шагом через «рациональное» препарирование человеческого общества, Руссо характеризовал все существующие институты – собственность, религию, социальные классы, власть правительства, гражданское общество – как иллюзии и мошенничество. Их следует заменить новым «правилом управления общественными делами»^[33]. Население обязано безоговорочно этому порядку подчиниться – с покорностью, какой не добивался ни один правитель по божественному праву, кроме, разве что, русского царя, чьи подданные, за исключением дворянства и общин на суровых границах за Уралом, имели статус крепостных. Подобные теории предвосхищали установки современных тоталитарных режимов, в идеологии которых народная воля санкционирует решения, уже объявленные на «постановочных» массовых демонстрациях.

В развитие этих идей все монархии трактовались по определению как враги, поскольку они не откажутся от власти без сопротивления, а значит, революции, чтобы победить, необходимо организовать

международный «крестовый поход» во имя мира во всем мире – через утверждение своих принципов. В стремлении построить новую Европу все взрослое мужское население Франции подлежит призыву на военную службу. Революция опиралась на мысли, сходные с теми, которые выдвигал ислам тысячелетием ранее, а в двадцатом столетии вновь озвучили коммунисты: страны с различными религиозными или политическими взглядами не могут сосуществовать длительное время, поэтому система международных отношений трансформируется в глобальное состязание идеологий, конкурирующих любыми доступными средствами и мобилизующих все элементы общества. При этом революция вновь объединила внутреннюю и внешнюю политику, легитимность и власть, то есть отвергла те условия Вестфальского мира, которые ограничили масштабы и интенсивность войн в Европе. Концепция международного порядка с оговоренными пределами государственной свободы была низвергнута, уступив место идее перманентной революции, признававшей только полную победу или поражение.

В ноябре 1792 года Национальный конвент революционной Франции бросил перчатку Европе, приняв несколько чрезвычайных декретов. Первый содержал не подразумевавшее пределов обязательство оказывать военную поддержку народной революции в любой стране. Франция, гласил декрет, освободилась сама и «окажет братскую помощь всем народам, которые захотят вернуть свою свободу». Национальный конвент позаботился придать дополнительный вес этому документу, постановив, что его необходимо «перевести и напечатать на всех языках». Конвент вдобавок окончательно уничтожил систему восемнадцатого века, одоблив несколько недель спустя казнь свергнутого короля Франции. Он также объявил войну Австрии и одобрил вторжение в Нидерланды.

В декабре 1792 года появился еще более радикальный декрет еще более универсального назначения. Опубликованной прокламацией любое революционное движение в любой стране приглашали «заполнить пробел» в заглавии этого документа: «Французский народ – народу ____»; в прокламации заблаговременно выражалась радость по поводу успеха грядущей «братской революции» и гарантировалась поддержка в «устранении всех гражданских и военных властей, которые донныне управляли вами». Причем масштабы поддержки

декретом не оговаривались, но подразумевалось, что процесс необратим: «Французский народ заявляет, что будет рассматривать как врагов всех людей, которые, отказываясь от свободы и равенства либо отрицая оные, возможно, пожелают сохранить власть государей и привилегированных слоев, возмечтают призвать их снова или будут вести с ними дела». Руссо писал, что «если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом... Его силою принудят быть свободным». Революция расширила это определение легитимности на все человечество.

Для достижения столь грандиозных универсальных целей лидеры Французской революции стремились очистить страну от малейших ростков внутренней оппозиции. «Великий Террор» истребил тысячи представителей бывших правящих классов и всех подозрительных лиц, включая даже тех, кто поддерживал цели революции, но осмеливался усомниться в правомерности методов. Два столетия спустя сопоставимыми мотивами руководствовались организаторы российских «чисток» 1930-х годов и китайской «культурной революции» 1960-х и 1970-х.

Постепенно порядок был восстановлен – это неизбежно, если государство не перешло «точку распада». Модель государственного устройства позаимствовали, опять-таки, у Руссо – из его идеи «великого Законодателя»^[34]. Людовик XIV подчинил государство абсолютной королевской власти; революция потребовала изменить основополагающие принципы государственного устройства. Наполеон, провозгласивший себя «пожизненным первым консулом», а впоследствии императором, представлял собой новый тип правителя: «великий человек», потрясающий мир силой своей воли, узаконенной благодаря харизматическому магнетизму и личным успехам в военном командовании. Суть «великого человека» выражают отказ признавать традиционные ограничения и желание переустроить мир по собственному усмотрению. В решающий момент, когда его короновали императором в 1804 году, Наполеон, в отличие от Карла Великого, отверг иную легитимность, кроме собственной, – забрал императорскую корону из рук папы и короновал себя сам.

Революция уже не рождала лидеров; теперь лидер повелевал революцией. Приручив Французскую революцию, Наполеон сделал себя гарантом ее свершений. Но он также воспринимал себя – и не без

оснований – как краеугольный камень Просвещения. Он рационализировал французскую систему управления, создал сеть префектур, с опорой на которые, даже сегодня, и работает французская система управления. Еще он ввел наполеоновский кодекс^[35], на котором основаны законы, поныне действующие во Франции и в других европейских странах. Он проявлял терпимость в отношении религиозного многообразия и поощрял рационалистические проекты правительства, тем самым улучшая жизнь французского народа.

Именно в синтезе идей революции и Просвещения Наполеон намеревался добиться военного господства и объединить Европу. К 1809 году под его блестящим военным руководством французская армия подавила все очаги сопротивления в Западной и Центральной Европе, что позволило ему перекроить геополитическую карту континента. Наполеон аннексировал ключевые территории в пользу Франции и учредил множество республик-сателлитов, причем во главе многих поставил своих родственников или французских маршалов. Во всей Европе отныне действовал единый свод законов. Выпускались тысячи инструкций по экономическим и социальным вопросам. Возникало ощущение, что Наполеону суждено стать объединителем континента, разделенного после падения Рима.

Оставались два препятствия – Англия и Россия. Англия, владычествовавшая над морями после сокрушительной победы Нельсона при Трафальгаре в 1805 году, виделась на текущий момент неуязвимой – но недостаточно сильной для того, чтобы предпринять сколько-нибудь значимое вторжение на континент через Ла-Манш. Как и полтора столетия спустя, Англия оказалась в Западной Европе в одиночестве и понимала, что мир с завоевателем сделает возможным подчинение ресурсов всего континента целям одной державы, следовательно, рано или поздно эта держава оспорит английское морское могущество. Отделенная Ла-Маншем, Англия выжидала, чтобы Наполеон (а полтора века спустя – Гитлер) допустил ошибку, которая позволит Англии вновь ступить на континент в качестве защитника баланса сил. (Во время Второй мировой войны Великобритания также ожидала, пока в войну вступят США.)

Наполеон вырос в эпоху господства династической системы восемнадцатого века и потому, как ни странно, признавал ее легитимность. Для этой системы он, корсиканец незначительного,

даже по меркам родного города, положения, был нелегитимен по определению; это означало, что, по крайней мере, в его собственном сознании, легитимность его правления зависела от закрепления успеха – а также от масштабов – завоеваний. Пока еще оставался правитель, независимый от его воли, Наполеон считал своим долгом этого правителя сокрушить. Не привыкший обуздывать себя (ни философской концепцией, ни темпераментом, ни опытом), он направил армии в Испанию и в Россию, хотя ни одна из этих стран не была необходимой для новой геополитической конструкции. Наполеон не мог выжить в международном порядке; его амбиции требовали империи, размерами по меньшей мере с Европу, и для удовлетворения этих амбиций недоставало совсем чуть-чуть.

Благодаря революции и Наполеоновским войнам наступила эпоха тотальной войны, когда на военные цели мобилизовывались все ресурсы нации. Масштабы кровопролития и разрушений заставляли вспомнить Тридцатилетнюю войну. Великая армия Наполеона – теперь комплектовавшаяся по призыву, в том числе на аннексированных территориях, – обеспечивала себя снаряжением и имуществом за счет покоренного населения, включая и гигантский финансовый «оброк». В результате численность армии невероятно возросла, а целые регионы отныне трудились на ее содержание. Лишь когда Наполеон поддался искушению вторгнуться на территорию, где местные ресурсы были недостаточны для обеспечения огромной армии, – в Испанию и Россию, – то оказался на грани поражения: сначала он переоценил свои возможности, прежде всего в России в 1812 году, а затем попросту не справился с ситуацией, стоило Европе объединиться против него в запоздалом стремлении спасти Вестфальскую систему. В «Битве народов»^[36] под Лейпцигом в 1813 году объединенные армии сохранившихся европейских государств нанесли Наполеону первое крупное – и, в конечном счете, решающее – поражение. (В России он потерпел поражение, истощив запасы.) После этой битвы Наполеон отказался от гарнизонов и поселений, которые позволили бы ему сохранить некоторые из завоеваний. Он опасался того, что даже малое согласие на какие-либо ограничения уничтожит его претензии на легитимность. В итоге он был свергнут – отчасти из-за собственного не слишком прочного положения, отчасти вследствие применения вестфальских принципов. Наиболее могучий покоритель Европы

после Карла Великого был побежден не только международным порядком, который выступил против него, но и самим собой.

Наполеоновский период является апофеозом эпохи Просвещения. Вдохновленные примерами Греции и Рима, мыслители Просвещения приравнивали просвещение к могуществу разума, что подразумевало передачу власти от церкви к светским элитам. Затем эти устремления подверглись новому пересмотру и сосредоточились в фигуре единого лидера, олицетворения глобальной власти. Иллюстрацией влияния Наполеона на мировой порядок могут служить события 13 октября 1806 года, за день до битвы при Йене, в которой прусская армия была наголову разгромлена. Пока Наполеон со своим штабом обзирал поле боя, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, в ту пору университетский преподаватель (позже он напишет работу «Философия истории», которая вдохновит Маркса), описывал эту сцену в хвалебных выражениях, слушая цокот копыт по мостовой:

«Самого императора – эту мировую душу – я увидел, когда он выезжал на коне на рекогносцировку. Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая такую личность, которая, находясь здесь, в этом месте, восседая на коне, охватывает весь мир и властвует над ним»^[37].

Но, в конце концов, этот мировой дух привлек в Европу грандиозную новую силу – формально относившуюся к Европе, однако три четверти ее огромной территории располагались в Азии; этой силой была имперская Россия, чьи войска преследовали побежденные полки Наполеона по всему континенту и на исходе войны заняли Париж. Россия заставила вновь задуматься над фундаментальными вопросами баланса сил в Европе, а ее намерения угрожали невозможностью возвращения к дореволюционному равновесию.

Глава 2

Европейская система баланса сил и ее крах

Русская загадка

Когда эпоха Французской революции и Наполеона завершилась, русские войска вошли в Париж, продемонстрировав, сколь причудливы бывают повороты истории. А полувеком ранее Россия впервые вмешалась в баланс сил в Западной Европе, приняв участие в Семилетней войне и явив миру крайности абсолютизма: никто не ожидал, что русский царь внезапно заявит о нейтралитете и отзовет армию – недавно коронованный Петр III открыто восхищался Фридрихом Великим. На исходе наполеоновского периода другой русский царь, Александр, уже формировал будущее Европы. Европейские свободы и сопутствующая им система порядка требовали внимания империи, превосходившей размерами всю остальную Европу, вместе взятую, причем автократия в этой империи достигала степени, не имевшей прецедента в истории прочих европейских стран.

С тех пор Россия стала играть уникальную роль в международных делах: будучи частью системы баланса сил в Европе и Азии, она вносила свой вклад в обеспечение равновесия и порядка только «урывками». Она начала больше войн, чем любая другая из современных крупных держав, но также сумела не допустить установления в Европе единоличного господства какой-то одной страны, выстояв против Карла XII Шведского, Наполеона и Гитлера, тогда как ключевые континентальные элементы баланса сил оказались поверженными. Российская политика всегда следовала собственному ритму, причем так продолжалось на протяжении столетий, и в итоге это государство раскинулось на территории, обнимающей едва ли не каждый климат и каждую культуру на планете; время от времени экспансия приостанавливалась из-за необходимости уладить внутренние конфликты и видоизменить структуры в соответствии с масштабами планов, – а затем возобновлялась, подобно морскому приливу, штурмующему берег. От Петра Великого до Владимира Путина обстоятельства менялись, однако политический ритм оставался категорически неизменным.

Западноевропейцы, оправляясь от потрясений Наполеоновской эпохи, с благоговением и опаской взирали на страну, чьи территория и численность армии затмевали остальной континент, – а изысканные

манеры российской элиты едва могли скрыть первобытную суть этой культуры, непонятной для западной цивилизации. Россия, как утверждал в 1843 году французский путешественник маркиз де Кюстин – имея в виду умиротворение Франции и новый, пророссийский порядок в Европе, – представляет собой гибрид; это жизнеспособная степь в сердце Европы:

«[Как бы там ни было, гордость московского боярина превосходно показывает разнородность источников], давших начало современному русскому обществу, представляющему собой чудовищную смесь византийской мелочности с татарской свирепостью, греческого этикета с азиатской дикой отвагой; из этого смешения и возникла громадная держава, чье влияние Европа, возможно, испытает завтра, так и не сумев постигнуть его причин»^[38].

Все в России – ее абсолютизм, размеры, глобальные амбиции и уязвимости – воспринималось как неявный вызов традиционной европейской концепции международного порядка, построенного на равновесии и сдерживании.

Позиции России в Европе и ее отношение к европейским делам издавна были неоднозначными. Когда в девятом столетии империя Карла Великого раскололась на территории, где позднее было суждено возникнуть современным Франции и Германии, славянские племена, на расстоянии более тысячи миль к востоку, объединились в конфедерацию, средоточием которой выступал город Киев (ныне столица и географический центр Украины, хотя россиянами он и воспринимается почти повсеместно как неотъемлемая часть их исторического наследия). Эта «земля русов» располагалась в точке пересечения цивилизаций и торговых путей. Викинги на севере, расширяющиеся владения арабов на юге, кочевые тюркские племена на востоке – Россия тем самым постоянно пребывала одновременно в искушении и страхе. Слишком далекая, чтобы ощутить влияние Римской империи (пусть русские монархи притязали на происхождение титула «царь» от титула «цезарь» и видели в римских правителях образец для подражания), христианская, но искавшая духовный свет в византийском православии Константинополя, а не в Риме, Россия тем не менее располагалась достаточно близко к Европе,

чтобы иметь общий культурный «лексикон», регулярно, однако, «выпадая из фазы» исторических тенденций континента. Итогом стало утверждение в России «евразийской» модели власти: могущество страны распространялось на оба континента, но на обоих ее положение не было особенно прочным.

Самый глубокий раскол произошел после монгольского нашествия в тринадцатом веке, когда политически разобщенная Русь пала, а Киев был разрушен. Два с половиной столетия монгольского ига (1237–1480) и последующая борьба за восстановление независимости и единства (уже во главе с Московским княжеством) вынудили Россию принять восточную ориентацию, тогда как Западная Европа открывала новые технологические и интеллектуальные горизонты, создавая современную эпоху. В период Великих географических открытий Россия занималась тем, что укрепляла статус независимого государства и защищала свои рубежи от угроз со всех сторон. Протестантская Реформация привела к утверждению политического и религиозного многообразия в Европе, а Россия восприняла падение религиозной «путеводной звезды», Константинополя, и уничтожение Восточной Римской империи мусульманскими завоевателями в 1453 году как своего рода мистическое откровение: мол, отныне русский царь (так писал монах Филофей Ивану III в начале шестнадцатого века) «единственный повелитель всех христиан в целом мире»^[39]; страна обрела мессианское призвание – метафорически возродить былую славу Византии на благо христианского мира^[40].

Европа постепенно приучалась расценивать собственную многополярность как залог достижения баланса сил, а Россия изучала практику геополитики в суровой «школе» Степи, где множество кочевых орд соперничало за ресурсы на обширной территории с редкими фиксированными границами. Набеги ради грабежа и порабощения мирных жителей были у степняков обычным делом, составляя для некоторых образ жизни; независимость воспринималась как синоним владения местностью, которую тот или иной народ был в состоянии защитить физически. Россия подтверждала свои связи с западной культурой, но – даже продолжая разрастаться экспоненциально – видела себя осажденным форпостом цивилизации, для которого безопасность заключается лишь в навязывании своей абсолютной воли соседям.

Согласно вестфальской концепции миропорядка, европейские государственные деятели отождествляли безопасность с балансом сил и ограничениями на применение насилия. Российский же исторический опыт показывал, что любое ограничение власти ведет к катастрофе: неспособность России доминировать над ближайшими окрестностями, с этой точки зрения, обернулась монгольским нашествием, а позднее – трагическим Смутным временем (пятнадцатилетним периодом династических смут до воцарения династии Романовых в 1613 году; за эти пятнадцать лет иностранные вторжения, гражданские войны и голод унесли жизни трети населения страны). Вестфальский мир трактовал международный порядок как сложный механизм сдержек и противовесов; русские же относились к нему как к вечному состязанию волей, причем России полагалось расширять пределы на каждом этапе до абсолютного максимума материальных ресурсов. Именно поэтому Нащокин, министр царя Алексея Михайловича, в ответ на просьбу сформулировать внешнюю политику России, дал в середине семнадцатого века простой ответ: «На государственные дела подобает мысленные очеса устремлять беспорочным и избранным людям к расширению государства со всех сторон, а это есть дело одного Посольского приказа»^[41].

Упомянутый процесс расширения превратился со временем в национальное мировоззрение и обеспечил распространение скромного княжества Московского по Евразии, результатом чего стала территориально крупнейшая в мире империя, а неторопливая и кажущаяся неодолимой экспансия продолжалась вплоть до 1917 года. Американский литератор Генри Адамс в таких выражениях описывал мировоззрение российского посланника в Вашингтоне в 1903 году (на эту дату границы России достигли Кореи):

«Политическая доктрина [посланника], как и всех русских, состояла из единственной идеи: Россия должна наступать и силой своей инерции крушить все, что окажется у нее на пути... Когда русский вал накатывался на соседний народ, он поглощал его энергию, вовлекая в развитие собственных нравов и собственной расы, которые ни царь, ни народ не могли, да и не хотели, перестраивать на западный образец»^[42].

При отсутствии естественных пределов, за исключением Северного Ледовитого и Тихого океанов, Россия могла на протяжении нескольких столетий удовлетворять свою потребность в расширении – овладевая Центральной Азией, Кавказом, проникая на Балканы и в Восточную Европу, укрепляясь в Скандинавии и на побережье Балтики, выйдя к Тихому океану и китайским и японским границам (плюс, на какое-то время, в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях, пересекла океан и основала поселения на Аляске и в Калифорнии). Каждый год она прирастала территориями, превосходящими по площади многие европейские государства (в среднем, по 100 000 квадратных километров в год с 1552 по 1917 год).

Будучи в силе, Россия вела себя с властной уверенностью сверхдержавы и настаивала на официальном уважении ее доминирующего статуса. Ослабевая, она маскировала свою уязвимость мистическими «призываниями» обширных внутренних запасов прочности. Оба варианта представляли собой вызов для западного мира, привычного к более изощренному и внешне мягкому стилю.

Вызывающие благоговение экспансионистские достижения России опирались на демографическую и экономическую базы, которые, по западным меркам, были не слишком крепкими – многие регионы страны оставались малонаселенными и выделялись не затронутыми современной культурой и технологией. Тем самым глобальный российский империализм парадоксальным образом сочетался с уязвимостью – как будто победный марш через полмира больше породил потенциальных врагов, чем обеспечил безопасность. С этой точки зрения царская империя, можно сказать, расширялась потому, что легче было продолжать, чем остановиться^[43].

В данном контексте возникла и получила развитие особая российская концепция политической легитимности. Ренессансная Европа заново открывала классический гуманизм прошлого и оттачивала новые идеологии индивидуализма и свободы, а Россия стремилась к возрождению через «незамутненную» веру и единоличное, божественно санкционированное самодержавное правление, способное преодолеть любые расколы, – царь виделся «земным воплощением Господа», и его повелениям следовало подчиняться беспрекословно, ибо они по определению справедливы. Общая христианская вера и общий язык элиты (французский),

казалось бы, гарантировали совпадение российской и западной перспектив. Тем не менее ранние европейские гости царской России обнаруживали себя в стране почти сюрреалистических крайностей и писали, что наблюдают скрытый под внешним лоском современной западной монархии деспотизм по образцу монголо-татар – «европейская дисциплина поддерживает азиатскую тиранию», как безжалостно высказался маркиз де Кюстин.

К современной европейской государственной системе Россия присоединилась при царе Петре Великом, причем по-своему, не так, как все прочие страны. С обеих сторон это было чрезвычайно осторожное сближение. Петр родился в 1672 году в преимущественно средневековой России. К тому времени Западная Европа миновала период Великих географических открытий, пережила Возрождение и Реформацию и стояла на пороге научной революции и эпохи Просвещения. Молодой гигант (около 2 метров ростом), энергичный и деятельный русский царь приступил к преобразению своей империи в государство, которое наглядно отразило крайности устремлений России.

Полный решимости изучить плоды европейской цивилизации и сопоставить с ними русские достижения^[44], Петр стал частым гостем в лавках и мануфактурах эмигрантской Немецкой слободы в Москве. Уже вступив на престол, он объездил столицы западных государств, где лично осматривал новейшие механизмы и изучал профессиональные дисциплины. Убедившись в отсталости России по сравнению с Западом, Петр объявил амбициозную цель – «оторвать людишек от былых азиатских обычаев и наставлять их в нравах, кои присущи всем христианским народам Европы».

Последовала череда царских указов: россиянам предписывалось носить западную одежду и прически, приглашать иноземных технических специалистов, создавать современную армию и флот, раздвигать и укреплять границы в войнах против едва ли не всех соседних государств, прорваться к Балтийскому морю и построить новую столицу – Санкт-Петербург. Последний, русское «окно в Европу», был возведен ручным трудом – стараниями насильно согнанной рабочей силы – на болотистой пустоши, выбранной лично Петром; по преданию, царь воткнул в землю свой клинок и заявил: «Здесь городу быть». Когда традиционалисты попытались восстать,

Петр быстро подавил этот бунт и – судя по сообщениям, которые доходили до Запада, – самолично участвовал в пытках и казни (через обезглавливание) лидеров восстания.

Усилия Петра трансформировали российское общество, позволили утвердиться империи в ряду ведущих западных держав. Однако внезапность преобразования привела к тому, что Россия ощутила необходимость справляться с «неуверенностью выскочки». Ни в какой другой империи абсолютный монарх не чувствовал потребность напоминать подданным в письменной форме, как пришлось поступить преемнице Петра Екатерине Великой полвека спустя, что «Россия есть Европейская держава. Доказательство сему следующее. Перемены, которые в России предпринял ПЕТР Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали со климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей. ПЕТР Первый, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобства, каких он и сам не ожидал»^[45].

Российские реформы неизменно осуществлялись по воле безжалостных диктаторов, которые тиранили население, послушно соглашавшееся отринуть «темное прошлое», но нисколько не уверенное в собственном будущем. Тем не менее Петра, как и его преемников – реформаторов и революционеров, – подданные и потомки благодарили и почитали за то, что он «разбудил» их, пусть беспощадно, заставил стремиться к тому, о чем и не мечталось. (Согласно последним социологическим опросам, Сталин отчасти удостоился аналогичного признания в современном российском обществе^[46].)

Екатерина Великая, самодержица и преобразовательница, правившая в России с 1762 по 1796 год, вошла в историю как монархиня, при которой состоялся расцвет русской культуры и были присоединены обширные территории (в том числе завоевано Крымское ханство и соседствующая с ним Запорожская сечь, бывшая автономная казацкая «республика» – ныне это Центральная Украина); предельное российское самодержавие она оправдывала как единственную систему правления, способную обеспечить целостность столь гигантского по размерам государства:

«Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным правит. Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из дальних стран присылаемых, награждала медление, отдаленностию мест причиняемое.

Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно»^[47].

Таким образом, форма правления, трактуемая на Западе как волюнтаристский абсолютизм, в России воспринималась как элементарная необходимость, как предпосылка функционирования государства.

Царь, подобно китайскому императору, был абсолютным правителем, наделяемым по традиции мистической силой и повелевающим континентальными просторами. Впрочем, важное отличие русского царя от его китайского коллеги состояло в том, что с китайской точки зрения император правит везде, где только можно, через благорасположение подданных; в Российской империи могущество царя опирается на его способность навязывать свою волю неоспоримым утверждением власти и производить соответствующее впечатление на сторонних наблюдателей демонстрацией подавляющей силы Российского государства. Китайский император воспринимался как воплощение превосходства китайской цивилизации, побуждающего прочие народы «прийти и преобразиться». Царь же рисовался олицетворением борьбы России против врагов, окружающих ее со всех сторон. Поэтому императоров восхваляли за их беспристрастное, «отчужденное» благоволение, однако государственный деятель девятнадцатого века Николай Карамзин видел в царской суровости признак того, что монарх исполняет свое истинное предназначение:

«В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретается страхом последних. Не боятся государя – не боятся и закона! В монархе российском соединяются все власти: наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает без протокола, – так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести»^[48].

Примерно как и Соединенные Штаты в их продвижении на запад, Россия находила своим завоеваниям моральное оправдание: мол, она несет порядок и свет христианской веры в языческие земли (прибыльная торговля мехами и минеральными ресурсами считалась побочной выгодой). Тем не менее американское видение пробуждало безграничный оптимизм, а опыт России в конечном счете подразумевал стоическое терпение. Оказавшись «на стыке двух обширных и непримиримых миров», Россия полагала, что ей выпала особая миссия – перекинуть мост между мирами, но, подвергаясь угрозам со всех сторон, она вынуждена сражаться с теми, кто не в состоянии оценить ее призвание. Великий русский писатель и страстный националист Федор Достоевский писал «про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово»^[49]. Восторги по поводу осуществляемого Россией синтеза цивилизаций спровоцировали отчаяние из-за собственного статуса России, этой страны, как выразился влиятельный критик девятнадцатого века^[50], «одиноким в мире... Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера»^[51].

В экспансивной, тоскующей «русской душе» (как стали формулировать русские мыслители) надолго поселилось убеждение, что когда-нибудь многочисленные противоречивые попытки России увенчаются успехом: за «неторный путь» воздастся сторицей, достижения будут превозносить, а западная снисходительность обернется страхом и восхищением; Россия соединит в себе мощь и необъятность Востока с утонченностью Запада и моральной силой истинной религии; Москва, «третий Рим», унаследовавший мантию Византии, и царь, «преемник Кесарей Восточного Рима, устроителей Церкви и ее Соборов, установивших сам символ христианской веры»^[52], станут играть решающую роль в побуждении к новой эре глобальной справедливости и братства.

Именно эта Россия, вроде бы в Европе, но не вполне, соблазнила Наполеона своими просторами и своей мистикой – и обрекла его на гибель (как и Гитлера полтора столетия спустя): народ России, закаленный в подвигах терпения и выносливости, превзошел великую армию Наполеона и полчища Гитлера в стойкости и мужестве. Когда русские сожгли четыре пятых Москвы, чтобы лишить Наполеона

припасов и крова, то Наполеон, осознавший провал своей грандиозной стратегии, как передают, воскликнул: «Что за люди! Это скифы! Какая решимость! Варвары!» После того как казаки пили шампанское в Париже, колоссальная самодержавная тень нависла над всей Европой, и последняя из всех сил пыталась понять, каковы русские амбиции и каков образ действия России.

К тому времени, когда состоялся Венский конгресс, Россия очутилась, возможно, в положении самой могущественной державы на континенте. Царь Александр, лично представлявший Россию на мирной конференции, был, несомненно, наиболее самодержавным правителем. Человек глубоких, пусть и меняющихся убеждений, он вновь обрел веру после многократного чтения Библии и разговоров с духовниками. Александр не сомневался, как следует из его письма 1812 года, что победа над Наполеоном принесет новый, гармоничный мир на основе религиозных заповедей – и обещал: «Делу скорейшего установления истинного царства Христова на земле посвящу я свою земную славу». Воспринимая себя как орудие божественной воли, царь прибыл в Вену в 1814 году с планом нового мирового порядка, в некоторых отношениях даже более радикального, нежели универсальный план Наполеона: предлагалось учредить «Священный союз» государей, жертвующих национальными интересами во имя совместных поисков мира и справедливости, отвергнуть концепцию баланса сил ради христианских принципов братства. Как Александр сказал Шатобриану, французскому роялисту, интеллектуалу и дипломату: «Больше нет английской политики, французской, русской, прусской или австрийской; теперь имеется всего одна, общая политика, которую, на всеобщее благо, следует принять всем государствам и народам». Налицо своеобразная предшественница доктрины Вильсона о сущности мирового порядка, пусть ее принципы радикально отличаются от вильсоновских.

Разумеется, подобный план, подкрепленный победоносным военным маршем по континенту, бросал вызов вестфальской концепции баланса сил суверенных государств. Имея в виду собственное новое видение легитимности, Россия кичилась избытком могущества. Царь Александр закончил войну с Наполеоном, войдя в Париж во главе русской армии, и в честь победы был устроен беспрецедентный парад: 160 000 русских солдат прошли в строю на

равнине вблизи французской столицы – более наглядной демонстрации силы, вселившей беспокойство даже в союзников, сложно и представить. После беседы со своим духовником Александр предложил проект совместной декларации, в которой победившие государи соглашались, что «намерения, ранее одобренные сюзеренами на основе взаимных отношений, должны быть коренным образом пересмотрены, и необходимо срочно создать такой порядок вещей, каковой будет соответствовать горним истинам вечной религии нашего Спасителя».

Задача переговорщиков в Вене заключалась в том, чтобы претворить мессианское видение Александра в нечто вещественное – и совместимое с продолжением независимого существования европейских государств. То есть принять Россию в международный порядок, избежав смерти от удушения в ее медвежьих объятиях.

Венский конгресс

Государственные деятели, которые собрались в Вене для обсуждения нового проекта мирового порядка, все имели опыт выживания в эпоху потрясений, затронувших едва ли не каждую организационную структуру власти. На протяжении двадцати пяти лет им довелось увидеть, как рациональность Просвещения сменяется накалом страстей Террора, как миссионерский дух Французской революции трансформируется под воздействием экспансионистской бонапартистской империи, как могущество Франции ослабевает и увядает, как оно выплескивается за древние пределы Франции и распространяется почти на весь европейский континент – только для того, чтобы угаснуть на просторах России.

Французский посланник на конгрессе олицетворял собой упомянутые выше и мнившиеся бесконечными потрясения той эпохи. Шарль Морис де Талейран-Перигор (или просто Талейран, как его часто называли) успел в своей жизни очень много. Карьеру он начал как епископ Отена, затем покинул церковь ради революции, затем отрекся от революции, чтобы служить Наполеону в качестве министра иностранных дел, затем предал Наполеона, дабы вести переговоры о восстановлении французской монархии, и в итоге прибыл в Вену в ранге министра короля Людовика XVIII. Талейрана было принято именовать оппортунистом. Сам Талейран наверняка бы сказал, что его цели заключались в стабилизации положения во Франции и в достижении мира в Европе, а потому он использовал любые возможности для реализации этих целей. Разумеется, он стремился занимать позиции, позволявшие непосредственно изучать различные элементы институтов власти и легитимности, без необходимости так или иначе себя ограничивать. Надо признать, лишь по-настоящему сильная личность смогла бы поместить себя в эпицентр стольких великих и противоречивых событий.

В Вене Талейран предпринимал усилия, чтобы принести Франции мир, который сохранил бы «древние пределы» страны, зафиксированные на момент начала ее зарубежных авантюр. Менее чем за три года – к 1818-му – он сумел обеспечить вступление Франции в Четверной союз^[53]. Победенный враг превратился в

союзника в деле сохранения европейского порядка^[54] – и стал членом союза, изначально составленного против него; этот прецедент был воспроизведен по окончании Второй мировой войны, когда Германию приняли в НАТО.

Порядок, предложенный Европе Венским конгрессом, пожалуй, был ближе всего к установлению единого правления после распада империи Карла Великого. Конгресс декларировал, что мирная эволюция в рамках существующего порядка предпочтительнее военной альтернативы; что сохранение системы важнее любых разногласий, которые могут возникнуть; что эти разногласия следует улаживать консультациями и переговорами, а не войнами.

После того как Первая мировая война уничтожила это видение, вошло в моду обвинять Венский конгресс в чрезмерном увлечении концепцией баланса сил, каковая, по своей «врожденной» динамике циничных маневров, и ввергла мир в войну. (Британская делегация на переговорах в Версале обратилась к историку дипломатии Ч. К. Уэбстеру, автору исследований по Венскому конгрессу, с просьбой подготовить трактат о том, как избежать ошибок этого конгресса.) Но если подобные обвинения и справедливы, то лишь применительно к десятилетию накануне Первой мировой войны. В целом же период с 1815 года и до рубежа столетий был самым мирным в истории современной Европы, а десятилетия после Венского конгресса характеризовались чрезвычайно устойчивым балансом между легитимностью и властью.

Политики и государственные деятели, собравшиеся в Вене в 1814 году, находились в радикально иной ситуации по сравнению со своими предшественниками, которые обсуждали Вестфальский мир. Полтора столетиями ранее череда мирных соглашений по итогам отдельных войн, «слившихся» в Тридцатилетнюю войну, была зафиксирована внедрением свода правил, предписывавших общие принципы внешней политики. Европейский порядок, возникший из этого свода, взял за отправную точку существующие политические институты, отделив их от религиозной составляющей. Ожидалось, что реализация вестфальских принципов позволит создать такой баланс сил, который предотвратит грядущие конфликты – или, по крайней мере, смягчит их последствия. Почти полтора века эта система сдерживала конкуренцию европейских держав благодаря более или менее

спонтанному образованию при необходимости «усмирительных» коалиций.

Участники Венского конгресса видели перед собой обломки этого международного порядка. Концепции баланса сил оказалось недостаточно, чтобы остудить воинственный пыл революции и амбиции Наполеона. Династическая легитимность власти пала под напором революционных порывов и полководческого гения корсиканца.

Новый баланс сил следовало построить на обломках государственной системы и Священной Римской империи – Наполеон официально низверг последнюю в 1806 году, подведя черту под тысячелетием институциональной преемственности, – и на фоне очередного всплеска национализма, вызванного оккупацией большей части континента французскими войсками. Этот баланс сил должен был не допустить возрождения французского экспансионизма, который едва не установил гегемонию Франции в Европе, пусть даже усиление России сулило континенту аналогичную опасность с востока.

Следовательно, и баланс сил в Центральной Европе также надлежало «реконструировать». Габсбурги, некогда доминирующая династия континента, в настоящее время правили из Вены только своими исконными территориями. Да, это были крупные и многоязычные территории (примерно – нынешние Австрия, Венгрия, Хорватия, Словения и Южная Польша), но лишившиеся былой политической сплоченности. Некоторые мелкие немецкие княжества, чей оппортунизм обеспечивал известную эластичность дипломатии Вестфальской системы в восемнадцатом веке, погибли в результате наполеоновских завоеваний. Их земли предстояло перераспределить способом, соответствующим восстановлению баланса сил.

Дипломатическая активность на Венском конгрессе принципиально отличалась от привычной нам практики двадцать первого столетия. Современные дипломаты обладают возможностью прямого контакта в режиме реального времени со своими столицами. Они поминутно получают подробные инструкции и комментарии к текстам заявлений; их советы относительно местных особенностей весьма ценятся, а вот по вопросам большой стратегии мнением этих людей интересуются значительно реже. Дипломаты в Вене находились вдалеке от своих столиц. Требовалось четверо суток, чтобы депеша из

Вены дошла до Берлина (и минимум восемь дней, чтобы получить ответ руководства на срочный запрос), три недели – чтобы достичь Парижа и еще дольше – Лондона. Инструкции дипломатам поэтому составлялись достаточно общие, дабы предусмотреть потенциальные изменения в ситуации; иными словами, дипломатов наставляли в первую очередь заниматься универсальными понятиями и долгосрочными интересами; повседневную тактику они разрабатывали преимущественно самостоятельно. Царь Александр I два месяца отсутствовал в российской столице; впрочем, ему инструкции не требовались; его капризы принимались к исполнению, и он продолжал занимать участников конгресса плодами своего бурного воображения. Министр иностранных дел Австрии Клеменс фон Меттерних, возможно, наиболее проницательный и опытный государственный деятель в Вене, говорил об Александре, что «в его характере не было достаточной силы для настоящего честолюбия и было довольно слабости, чтобы допустить тщеславие». Наполеон утверждал, что Александр наделен немалыми способностями, однако в его деяниях всегда чего-то не хватает. А поскольку никто не в состоянии предугадать, что именно выпадет в каждом конкретном случае, царь совершенно непредсказуем. Талейран выразился куда прямее: «Он не зря сын [безумного] императора Павла».

Остальные участники Венского конгресса быстро достигли согласия относительно общих принципов международного порядка и необходимости восстановить в Европе равновесие сил в той или иной форме. Но у них не было единого мнения по поводу того, что это будет означать на практике. Их задачей было осуществить, скажем так, «примирение перспектив», сформированных существенно различным историческим опытом.

Британия, укрывшаяся от вторжения за Ла-Маншем и обладающая уникальными национальными институтами, практически неуязвимыми от треволнений на континенте, определяла порядок с точки зрения угрозы возникновения чьей-либо гегемонии. Континентальные страны воспринимали угрозу порядку иначе; их безопасность зависела даже от незначительных территориальных «корректировок», далеких от притязаний на панъевропейскую гегемонию. Прежде всего, в отличие от Британии, они опасались институциональных преобразований в соседних странах.

Венский конгресс довольно легко договорился по условиям общего баланса сил. Еще во время войны – в 1804 году – британский премьер-министр Уильям Питт выдвинул план исправления «недостатков», обнажающих, по его мнению, слабости вестфальской системы. Вестфальские соглашения продолжали разделять Центральную Европу в качестве сохранения гарантии французского влияния. Чтобы побороть этот соблазн, рассуждал Питт, следует создать «крупные массивы» в Центральной Европе, которые объединят регион, посредством слияния некоторых малых государств. («Объединение», конечно, предусматривалось относительно, ибо по-прежнему на карте Европы оставалось тридцать семь княжеств на территории сегодняшней Германии.) Очевидным кандидатом для «поглощения» малых стран виделась Пруссия, которая первоначально ратовала за аннексию соседней Саксонии, но уступила просьбам Австрии и Британии и приняла взамен Рейнскую область. Подобное расширение границ Пруссии сулило появление мощной силы на рубежах Франции, и тем самым формировалась геостратегическая реальность, которой не было со времен Вестфальского мира.

Прочие тридцать семь немецких княжеств «сгруппировали» в политическое образование под названием «Германский союз»; это было решение многолетней «немецкой дилеммы» Европы: слабая Германия провоцировала соседние страны (главным образом Францию) на интервенции; единая же Германия моментально начинала проявлять агрессию против соседей, побуждая тех объединяться перед лицом опасности. В этом смысле Германия на протяжении большей части истории была то слишком слабой, то слишком сильной для мира в Европе.

Германский союз представлялся чрезмерно разобщенным из-за внутренних противоречий, чтобы приступить к завоеваниям, но все же выглядел достаточно сплоченным для того, чтобы противостоять иностранным вторжениям на свою территорию. Это политическое образование препятствовало агрессии в Центральной Европе, не создавая угрозы двум крупным державам на ее флангах – России на востоке и Франции на западе.

Для защиты нового территориального порядка был сформирован Четверной союз Англии, Пруссии, Австрии и России. Территориальной целостности – гарантировать которую было

основной задачей союза – каждый из участников соглашения придавал собственное значение. И так же по-разному воспринималась серьезность угроз этой целостности. Британия, опираясь на свое морское владычество, не испытывала желания связывать себя конкретными обязательствами применительно к возникновению чрезвычайных ситуаций; она предпочитала выжидать, пока та или иная угроза порядку в Европе не примет отчетливую форму. Континентальные страны располагали куда меньшим запасом прочности, ведь их выживание способны были поставить под вопрос события, гораздо менее драматичные, нежели те, которые могут вызвать опасения британцев.

В особенности это касалось революций, то есть угрозы существующей легитимности. Консервативные государства намеревались возвести барьер против новой волны революций, хотели создать механизмы сохранения законного порядка, под которым, естественно, понималось монархическое правление. Священный союз, идею которого озвучил царь Александр, обеспечивал механизм защиты внутреннего статус-кво по всей Европе. Участники этого проекта видели в Священном союзе – исподволь «подправленном» – способ обуздать российские аппетиты. Право на вмешательство ограничивалось тем, что, как следовало из согласованных принципов, последнее может быть осуществлено только единогласно; благодаря этому Австрия и Пруссия получили право вето, чтобы утихомиривать «возвышенные фантазии» русского царя.

Венскую систему подкрепляли три «яруса» институтов: Четверной союз, призванный преодолеть потенциальные вызовы территориальному порядку; Священный союз, созданный для устранения угроз внутренним институтам; и единогласие, институционализированное в регулярных дипломатических конференциях с участием глав правительств союзников – на этих конференциях вырабатывались общие цели и обсуждалась реакция на возникающие кризисы. Данный механизм единогласия во многом являлся предшественником функционала Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Конференции созывались в связи с чередой кризисов и в попытках определить общий курс – имеются в виду восстания в Неаполе в 1820 году и в Испании в 1820–1823 годах (подавлены Священным союзом и Францией соответственно) и

греческие революция и война за независимость 1821–1832 годов (поддержанные Британией, Францией и Россией). Единогласие, безусловно, не гарантировало единодушия, но в каждом случае потенциально взрывоопасный кризис удавалось урегулировать без войны между основными европейскими державами.

Хорошим примером эффективности венской системы может служить реакция на бельгийскую революцию 1830 года, которая ставила задачей отделение нынешней Бельгии от Объединенного королевства Нидерландов. На протяжении большей части восемнадцатого столетия многочисленные армии маршем проходили по этой провинции Нидерландов, добиваясь господства над Европой. Для Британии, чья глобальная стратегия заключалась во владычестве над океанами, течение Шельды, в устье которой, прямо за Ла-Маншем, располагался порт Антверпен, должно было находиться во владении дружественной страны – и ни в коем случае не какого-либо крупного европейского государства. Лондонская конференция европейских держав ознаменовалась демонстрацией нового подхода: дипломаты признали независимость Бельгии, но объявили новую страну «нейтральной» – это доселе неведомый термин в отношениях великих держав, за исключением односторонних заявлений о нейтралитете. Новое государство соглашалось не заключать военных союзов и не могло размещать иностранные войска на своей территории. Его безопасность гарантировалась великими державами, которые брали на себя обязательство не допускать нарушений бельгийского нейтралитета. Гарантированный на международном уровне статус сохранялся почти столетие; его нарушение и стало причиной вступления Англии в Первую мировую войну, когда германские войска вторглись во Францию через территорию Бельгии.

Жизнеспособность международного порядка отражается в равновесии, которое он предоставляет, – в равновесии между легитимностью и властью при достаточном внимании каждому элементу. Ни легитимность, ни власть не препятствуют переменам; вместе они создают условия, чтобы изменения происходили эволюционно, а не насильственным путем. Если равновесие власти и легитимности достигается должным образом, приобретается определенная степень спонтанности в действиях. Проявления власти становятся периферическими и в значительной мере символическими;

поскольку конфигурация сил складывается в результате общего понимания, ни одна из сторон не испытывает необходимости мобилизовывать резервы. Когда же равновесие нарушается, ограничения исчезают и появляются возможности для реализации агрессивных устремлений и выступлений непримиримых «актеров»; хаос длится, пока не установится новая система порядка.

Этот баланс сил стал основным достижением Венского конгресса. Четверной союз отражал вызовы территориальному порядку, а память о Наполеоне надолго уладила Францию, страдавшую к тому же от «революционного истощения». Одновременно, впрочем, разумная трактовка условий мира способствовала быстрому включению Франции в число великих держав, первоначально объединившихся для противостояния французским амбициям. Австрия, Пруссия и Россия, которые, если опираться на принцип баланса сил, выглядели соперниками, на самом деле проводили общую политику. Австрия и Россия эффективно отсрочили неизбежное столкновение своих геополитических интересов ради успешного подавления внутреннего недовольства. Только после того как легитимная составляющая этого международного порядка была уничтожена неудачными революциями 1848 года, баланс стал все реже интерпретироваться как соблюдение равновесия при условии общих «корректировок» – и все чаще как исходная позиция для соперничества за превосходство.

Когда равновесие стало все отчетливее смещаться в сторону власти, роль Британии как «уровнителя» сделалась по-настоящему важной. Отличительными чертами этой роли Британии являлись свобода действий и доказанная практикой решимость применять данную свободу. Британский министр иностранных дел (позже премьер) лорд Пальмерстон продемонстрировал классический образец британского поведения, когда в 1841 году узнал о послании русского царя, предлагавшего союз против «очевидного покушения Франции на европейские ценности». Британия, ответил Пальмерстон, рассматривает «попытку одного государства захватить и присвоить себе территорию, принадлежащую другому государству», как угрозу, поскольку «таковая попытка ведет к подрыву существующего баланса сил и, посредством изменения относительной силы государств, может привести в итоге к возникновению опасности для прочих стран». Тем не менее кабинет Пальмерстона отказался заключать официальный

союз против Франции, ибо «в Англии не принято вступать в союзы по поводу событий, которые фактически не произошли или которые не представляются важными в непосредственный момент. Иными словами, ни Россия, ни Франция не могут рассчитывать на британскую поддержку в своих взаимоотношениях; и ни одна из сторон не вправе игнорировать вероятность британского вооруженного вмешательства, если она доведет ситуацию до угрозы европейскому равновесию».

На пути к международному порядку

Хрупкое равновесие системы Венского конгресса начало распадаться в середине девятнадцатого столетия под воздействием трех тенденций – роста национализма, революций 1848 года и Крымской войны.

Вследствие Наполеоновских войн многие нации, жившие бок о бок на протяжении веков, стали относиться к своим правителям как к «иностранцам». Немецкий философ Иоганн Готфрид фон Гердер, апологет подобных взглядов, утверждал, что каждый народ, определяемый через язык, отечество и народную культуру, обладает «врожденным гением» и потому наделен исконным правом на самоуправление. Историк Жак Барзун формулирует так:

«В основе данной теории лежал следующий факт: революции и Наполеоновские войны перечертили духовную карту Европы. Вместо горизонтального мира восемнадцатого века, мира династий и космополитичного высшего класса, теперь Запад обрел вертикальное единство – нации, не то чтобы полностью разделенные, но непохожие».

Лингвистический национализм сделал традиционные империи, в особенности Австро-Венгерскую, уязвимыми от внутреннего давления, равно как и от обид соседей, притязающих на национальное «родство» с подданными империи.

Возникновение национализма как явления сказалось и на взаимоотношениях Пруссии с Австрией после учреждения «крупного массива» на территории Германии по итогам Венского конгресса. Состязание двух великих немецких держав в Центральной Европе за контроль над тридцатью пятью мелкими княжествами Германского

союза первоначально сдерживалось необходимостью защищать Центральную Европу от внешних угроз. Кроме того, традиция предполагала определенное уважение к стране, чьи правители занимали трон императора Священной Римской империи на протяжении половины тысячелетия. Ассамблея Германского союза (посланники всех тридцати семи немецких стран) заседала в посольстве Австрии во Франкфурте, и австрийский посол председательствовал на этом собрании.

В то же время Пруссия лелеяла собственные притязания на значимость. Твердо намеренная преодолеть свои ограничения (скудость населения и протяженность границ), Пруссия стала важным европейским игроком благодаря умению ее лидеров выжимать максимум возможного из страны на протяжении века с лишним; Отто фон Бисмарк (пруссский государственный деятель, который блестяще завершил этот процесс) упоминал ряд «могучих, решительных и мудрых правителей, которые тщательно сберегали военные и финансовые ресурсы страны и твердо держали их в своих руках, чтобы однажды бросить с беспощадной отвагой в горнило европейской политики, едва представилась благоприятная возможность.

Венские соглашения укрепили и без того надежную социальную и политическую структуру Пруссии за счет географического расширения. Протянувшись от Вислы до Рейна, Пруссия стала олицетворением надежд немцев на обретение единства – впервые в истории. По прошествии лет и десятилетий относительное подчинение Пруссии австрийской политике стало тяготить «северян», и в результате Пруссия сознательно взяла курс на конфронтацию.

Революции 1848 года были общеевропейским пожаром, охватившим буквально все крупнейшие города. Крепнувший средний класс требовал от консервативных правительств проведения либеральных реформ, а бывший аристократический порядок ощутил давление молодого национализма. Сначала восстания сметали все на своем пути, прокатившись от Польши на востоке до Колумбии и Бразилии (последняя недавно обрела независимость от Португалии, успев в ходе Наполеоновских войн приютить португальское правительство в изгнании) на западе. Во Франции история, казалось, повторялась: племянник Наполеона Бонапарта занял трон под именем

Наполеона III, сначала как президент, избранный на плебисците, а затем как император.

Священный союз создавался именно для противодействия подобным разрушительным явлениям. Но положение властей в Берлине и Вене сделалось слишком неустойчивым – а восстания ширились, плюс их последствия были чрезвычайно разнообразными, – чтобы допустить возможность совместных усилий, Россия сочла полезным для себя подавить революцию в Венгрии, сохранив там австрийское правление^[55]. В остальных случаях старый порядок оказался достаточно сильным, чтобы преодолеть революционный вызов. Однако этому порядку так и не удалось восстановить самоуверенность, свойственную предыдущему периоду.

Наконец, Крымская война 1853–1856 годов расколола единство консервативных государств – Австрии, Пруссии и России (а это единство было одним из двух ключевых элементов международного порядка венской системы). Эти государства защищали существующие институты от революций и изолировали Францию, недавнего возмутителя спокойствия на континенте. Теперь уже другой Наполеон зондировал возможности самоутвердиться сразу в нескольких направлениях. В Крымской войне Наполеон усмотрел способ покончить с изоляцией Франции – и потому примкнул к Великобритании, которая вознамерилась помешать России дотянуться до Константинополя и обеспечить себе доступ в Средиземное море. Союз англичан с французами и вправду некоторое время сдерживал русских, но ценой все более ожесточавшейся дипломатии.

Конфликт начался вовсе не из-за Крыма – полуострова, который Россия отвоевала у вассала Османской империи в восемнадцатом столетии, – а из-за одновременных притязаний Франции и России на право контролировать почитаемые христианские святыни в Иерусалиме, находившемся в ту пору под османской юрисдикцией. В ходе спора по поводу того, какая из конфессий – католическая или православная – получит прямой доступ к святым местам, царь Николай I потребовал признать за ним право выступать в качестве «защитника» всех православных подданных Османской империи (а это была значительная доля населения, занимавшего стратегически важные территории). Данное требование – подразумевавшее

вмешательство в дела иностранного государства – было составлено с апелляцией к универсальным моральным принципам, но било в самое сердце османского суверенитета. Отказ османов подчиниться спровоцировал Россию на наступление на Балканах и на боевые действия в Черном море. Спустя полгода Англия и Франция, опасаясь краха Османской империи и уничтожения европейского баланса сил, вступили в войну на стороне турок.

Все альянсы, зафиксированные в решениях Венского конгресса, были забыты. Война получила название Крымской потому, что франко-британские силы высадились в Крыму, чтобы захватить город Севастополь, базу российского Черноморского флота; русские войска держались в осаде одиннадцать месяцев, прежде чем затопить свои корабли^[56]. Пруссия сохраняла нейтралитет. Австрия совершила глупость, решив воспользоваться трудностями России, чтобы укрепить свои позиции на Балканах, и мобилизовала армию. «Мы удивим мир масштабами неблагодарности» – так прокомментировал действия Австрии министр-президент и министр иностранных дел князь Шварценберг, получив просьбу России о помощи. Австрия поддержала англо-французские военные усилия дипломатически, причем, что называется, на грани ультиматума.

Попытка изолировать Россию обернулась в итоге изоляцией Австрии. Уже спустя два года Наполеон вторгся в австрийские владения в Италии под предлогом поддержки объединения страны; Россия не вмешивалась. В Германии Пруссия получила свободу маневра. За десятилетие Отто фон Бисмарк привел Германию на путь объединения, лишив Австрию исторической роли борца за немецкую государственность – снова с молчаливого российского согласия. Австрия слишком поздно осознала, что в международных делах репутация надежного партнера намного важнее тактических уловок.

Меттерних и Бисмарк

Грандиозные перемены в Германии и в Европе в целом олицетворяли два человека – министр иностранных дел Австрии Клеменс фон Меттерних и прусский министр-президент, а позднее – канцлер объединенной Германии Отто фон Бисмарк. Контраст между наследием двух ведущих государственных деятелей Центральной

Европы девятнадцатого века иллюстрирует смещение европейского международного порядка от легитимности к власти во второй половине столетия. Оба этих политика воспринимались как архетипические консерваторы. Оба считались мастерами манипуляций в игре баланса сил. Но фундаментальные представления о международном порядке у них были принципиально различными, и каждый манипулировал балансом сил ради собственных целей, что имело весьма серьезные последствия для Европы и для всего мира.

Само назначение Меттерниха на министерский пост свидетельствует о космополитическом характере общества восемнадцатого века. Он родился в Рейнской области, недалеко от границы с Францией, получил образование в Страсбурге и Майнце. Меттерних не бывал в Австрии до тринадцати лет, а постоянно поселился там только в семнадцать лет. Министром иностранных дел его назначили в 1809-м, канцлером он стал в 1821 году и состоял на службе до 1848 года. Судьба вознесла его на вершину гражданской власти в ветхой империи, вступившей в период упадка. Некогда одна из самых могущественных и наилучшим образом управляемых держав Европы, Австрия сделалась уязвимой в силу своего центрального положения: любое европейское потрясение сказывалось на австрийском политическом климате. А многонациональность империи сулила неприятности на фоне роста национализма – явления, о котором и не подозревали всего поколением ранее. Для Меттерниха уравновешенность и надежность стали путеводной звездой политики:

«Когда все сотрясается, прежде всего необходимо, чтобы нечто, не имеет значения, что именно, оставалось незыблемым, и тогда заблудшие смогут найти выход, а обездоленные – убежище».

Человек эпохи Просвещения, Меттерних вырос на трудах философов, восхвалявших силу разума, и не слишком доверял силе оружия. Он отвергал суету и стремление немедленно решать текущие проблемы; поиск истины он полагал наиболее важной задачей государственного деятеля. По его мнению, убеждение, будто все, что можно себе представить, реализуемо, порождает иллюзия. Истина отражает лежащую в ее основе реальность человеческой природы и структуры общества. Более радикальные взгляды совершают насилие

над идеалами, которые якобы отстаивают. В этом смысле «изобретение есть враг истории, которая ведает лишь открытия, а открыть можно только то, что существует».

Для Меттерниха национальные интересы Австрии были синонимом общих интересов Европы – как удержать вместе многообразие народов и языков в структуре, одновременно уважающей разнообразие и предполагающей общее наследие, общую веру и обычаи. В такой перспективе историческая роль Австрии заключалась в отстаивании плюрализма и, следовательно, мира в Европе.

Бисмарк же был потомком провинциальной прусской аристократии, куда более бедной, нежели их «сотоварищи» на западе Германии, и значительно менее космополитичной. В то время как Меттерних пытался обосновать преемственность и восстановить универсальные идеи европейского сообщества, Бисмарк оспаривал все признанные авторитеты и установки своего периода. Прежде чем он пришел к власти, считалось само собой разумеющимся, что объединение Германии произойдет – если произойдет вообще – благодаря совместным усилиям национализма и либерализма. Бисмарк продемонстрировал, что эти тренды вполне можно разделить – что принципы Священного союза не нужны для сохранения порядка, что новый порядок можно построить через консервативное обращение к национализму, что концепция европейского порядка вполне способна опираться исключительно на оценку власти.

Расхождение во взглядах этих двоих на природу международного порядка отчетливо проявилось в формулировках национального интереса. Для Меттерниха порядок возникает не столько из соблюдения национальных интересов, сколько из возможности увязать эти интересы с действиями других государств:

«Великие аксиомы политической науки проистекают из признания истинных интересов всех государств; ведь в общих интересах обнаруживается гарантия существования, тогда как частные интересы – культивирование которых почитается политической мудростью среди беспокойных и недалёковидных людей, – суть только второстепенные. Современная история показывает нам применение принципов

солидарности и равновесия... и объединенных усилий разных государств... каковые вынуждают вернуться к общим законам».

Бисмарк отвергал саму мысль о том, что власть можно подчинить высшим принципам. Его знаменитые максимы проповедают, что безопасность может быть обеспечена лишь правильной оценкой элементов власти:

«Сентиментальная политика не знает взаимности... Каждое правительство ищет оценки своим действиям исключительно в собственных интересах, как бы оно ни прятало оные за юридическими сентенциями... Ради всего святого, не надо никаких сентиментальных альянсов, где осознание того, что ты сделал доброе дело, служит единственным воздаянием за наши жертвы... Единственная здоровая основа политики великой державы... это эгоизм, а не романтика... Благодарность и доверие не привлекут ни единого человека на нашу сторону; только страх сделает это, если мы будем использовать его осторожно и умело... Политика есть искусство возможного, наука об относительном».

Окончательные решения зависят сугубо от соображений полезности. Европейский порядок, привычный для восемнадцатого столетия, такие большие ньютоновские часы с множеством взаимосвязанных деталей, уступил место дарвиновскому миру, где выживают наиболее приспособленные.

Дилеммы баланса сил

После назначения в 1862 году министром-президентом Пруссии Бисмарк приступил к воплощению на практике своих идей – и к трансформации европейского порядка. Между консервативными монархиями Востока после Крымской войны обнаружился раскол, Франция пребывала на континенте в изоляции, поскольку все опасались возрождения ее имперских амбиций, а Австрия никак не могла определиться, что для нее важнее – сугубо национальная или европейская роль; в сложившейся ситуации Бисмарк усмотрел возможность впервые в истории создать национальное немецкое государство. Совершив между 1862 и 1870 годами несколько смелых ходов, он поставил Пруссию во главе объединенной Германии и поместил саму Германию в центр нового порядка.

Дизраэли назвал объединение Германии в 1871 году «более великим политическим событием, чем Французская революция», и отметил, что прежнее «равновесие сил разрушено целиком и полностью». Вестфальский и венский европейские порядки опирались на разделенную Центральную Европу, где конкурирующие притязания – будь то многочисленные германские княжества вестфальской системы или Австрия и Пруссия в системе венской, – уравнивали друг друга. После объединения Германии возникла новая доминанта, достаточно сильная, чтобы победить каждого соседа по отдельности, равно как, возможно, и все континентальные страны вместе. Узы легитимности исчезли. Отныне все зависело от расчета имеющихся сил.

Величайший триумф карьеры Бисмарка также затруднил – и даже сделал невозможным – реализацию принципа «гибкого баланса сил». Разгром Франции во Франко-прусской войне 1870–1871 годов – войне, в которую Бисмарк втянул Францию ловкими дипломатическими маневрами, – сопровождался аннексией Эльзаса и Лотарингии, немалыми репарациями и бестактным провозглашением Германской империи в Зеркальном зале Версаля в 1871 году. Новый европейский порядок теперь гарантировали всего пять великих держав, две из которых (Франция и Германия) стали заклятыми врагами.

Бисмарк понимал, что потенциально доминирующая сила в центре Европы способна заставить объединиться против себя все прочие государства, как это произошло с Людовиком XIV в восемнадцатом веке и с Наполеоном в начале девятнадцатого столетия. Лишь максимально скромное и сдержанное поведение поможет избежать коллективного антагонизма со стороны соседей. В дальнейшем все последующие усилия Бисмарка сводились к хитроумным маневрам ради недопущения *cauchemar des coalitions* («кошмара коалиций»), как он выражался, намеренно по-французски. В мире пяти великих держав, говорил Бисмарк, всегда надежнее быть в составе партии из трех игроков. Это означало головокружительную серию временных союзов, частично перекрывавших друг друга и нередко противоречивых (примеры – союз с Австрией и перестраховочного договора с Россией); цель этих действий заключалась в том, чтобы убедить другие великие державы – за исключением непримиримой Франции, – что с Германией выгоднее сотрудничать, нежели объединяться против нее.

Сущность вестфальской системы, адаптированной на Венском конгрессе, состояла в гибкости и прагматизме; эта экуменическая по идеологии система могла теоретически распространяться на любые регионы и подразумевала любые «комбинации состояний». После объединения Германии и «фиксации» Франции как ее вечного противника система утратила былую гибкость. Требовался гений уровня Бисмарка, чтобы сохранять множество обязательств, уравнивающих систему виртуозными ходами; это позволяло некоторое время успешно избегать общего конфликта. Однако страна, безопасность которой зависит от рождения гения в каждом поколении, ставит перед собой задачу, непосильную для любого общества.

После вынужденной отставки Бисмарка в 1890 году (после ссоры с новым кайзером Вильгельмом II из-за полномочий канцлера) систему перекрывающих альянсов удавалось поддерживать только на пределе сил. Следующий канцлер, Лео фон Каприви, жаловался: мол, у Бисмарка получалось жонглировать пятью мячами одновременно, а ему и с двумя-то справиться трудно. Договор о перестраховке с Россией не стали продлевать в 1891 году на том основании, что он отчасти несовместим с условиями германского союза с Австрией (последний, по мнению Бисмарка, был чисто утилитарным). Почти

неизбежно сразу же началось сближение России с Францией. Подобные «перегруппировки» в европейском «калейдоскопе» сил и противовесов случались и прежде. Новизна в данном случае заключалась в институционализации длительности соглашений. Дипломатия приобрела иной статус, сделалась «полем жизни и смерти», перестала быть дополнительным инструментом урегулирования. Поскольку смена союзников могла привести к национальной катастрофе тех, кого «бросали», каждый участник союза отныне вымогал у партнеров полноценную защиту, что неминуемо вело к эскалации кризисов и увязыванию их воедино. Дипломатия теперь сводилась к попыткам укрепить внутренние узы каждого лагеря, что сулило усугубление обид, от самых мелких до серьезных.

О гибкости пришлось забыть окончательно, когда Британия отказалась от политики «блестящей изоляции» и после 1904 года примкнула к «Сердечному согласию» Франции и России. Причем присоединилась она к этому союзу не формально, а полноценно, проведя соответствующие переговоры и приняв на себя моральные обязательства заступаться за союзников. Англия отказалась от прежней политики и прежнего статуса «балансира» в том числе и из-за германской дипломатии, которая спровоцировала череду кризисов (в Марокко и Боснии), стремясь разорвать франко-русский союз и унижить поочередно каждого из союзников (Францию – в Марокко в 1905 и 1911 годах, Россию – в Боснии в 1908 году^[57]) – в надежде убедить одного из участников договора в слабости партнера. Кроме того, немецкая военная программа предусматривала создание мощного флота, способного оспорить морское владычество Британии.

Военное планирование подкрепляло противостояние. После Венского конгресса в Европе произошла всего одна общая война – Крымская (Франко-прусская представляла собой конфликт двух противников). Эта война велась из-за конкретного повода и преследовала ограниченные цели. На рубеже двадцатого века военные теоретики – основываясь на достижениях механизации и новых методах мобилизации, – стали рассуждать о полной победе в тотальной войне. Железные дороги теперь обеспечивали быструю переброску войск. При наличии крупных резервов у всех сторон оперативность мобилизации стала вопросом критической важности. Стратегия Германии, знаменитый план Шлиффена, сводилась к

следующему: Германии необходимо разгромить кого-либо из своих соседей, прежде чем тот успеет объединиться с другими и нанести удар с востока или с запада^[58]. Тем самым в военное планирование вводилось понятие упреждающего удара. Соседи Германии оказались в ситуации постоянного напряжения, вынужденные ускорять собственную мобилизацию и договариваться о совместных действиях для предотвращения угрозы германского вторжения. Мобилизационные планы превратились в основу дипломатии; однако, если политические лидеры желают управлять устремлениями военных, все должно быть ровно наоборот.

Дипломатия, до сих пор придерживавшаяся традиционных, «неторопливых» способов ведения дел, отставала от новых технологий и войны, которой те были чреваты. Дипломаты Европы продолжали считать, что вовлечены в общее дело. Более того, поскольку ни один из множества дипломатических кризисов нового века не обернулся глобальной катастрофой, дипломаты считали это своей заслугой. В ходе кризисов в Марокко и Боснии мобилизационные планы не оказали на ход событий непосредственного воздействия, потому что, несмотря на громогласные заявления, конфликты попросту не успели обостриться до неизбежной военной конфронтации. Как ни парадоксально, именно мирное улаживание этих кризисов способствовало развитию «дипломатической близорукости», когда фактические интересы начали предавать забвению во имя сиюминутных успехов. Стали считать само собой разумеющимся, что тактические победы следует прославлять в националистической прессе, что это нормальный способ политической деятельности, что в ходе противостояний по мелким поводам великие державы могут бросать друг другу угрозы, не допуская перерастания споров в открытую войну.

Но история наказывает за стратегическое легкомыслие – рано или поздно. Первая мировая война началась из-за того, что политические лидеры утратили контроль над собственной тактикой. Почти месяц после убийства в июне 1914 года австрийского кронпринца сербским националистом дипломатия реализовывалась по «неторопливой» модели, доказавшей свою полезность в кризисах последних десятилетий. Четыре недели понадобилось Австрии, чтобы подготовить ультиматум. Начались консультации; поскольку был

разгар лета, многие государственные деятели находились в отпусках. Едва в июле 1914 года австрийский ультиматум был предъявлен, потребовалось принимать оперативные решения, и менее чем через две недели Европа ввязалась в войну, от которой впоследствии так и не оправилась.

Все решения принимались в ситуации, когда различия между великими державами были в обратной пропорции к манере действий этих стран. Сложилась новая концепция легитимности – комбинация национального государства и империи, – и ни одна из великих держав не видела в институтах противников главной угрозы своему существованию. Существующий баланс сил выглядел жестким, но не агрессивным. Отношения между коронованными особами были сердечными, можно сказать, по-настоящему семейными. За исключением стремления Франции вернуть Эльзас и Лотарингию, ни одна великая держава не притязала на территории соседей. Легитимность и власть пребывали в действительном равновесии. Но на Балканах, среди осколков владений Османской империи, имелись страны, Сербия в первую очередь, угрожавшие Австрии своими требованиями о национальном самоопределении. Поддержки любая великая держава эти требования, всеобщая война в Европе представлялась крайне вероятной: ведь Австрия состояла в союзе с Германией, а Россия – с Францией. Война, о возможности и последствиях которой не задумывались, обрушилась на западную цивилизацию вследствие локального, по сути, события – убийства австрийского эрцгерцога сербским националистом – и нанесла Европе удар, напрочь уничтоживший память о столетии мира и порядка.

За сорок лет после Венского конгресса европейский порядок научился предотвращать конфликты. За сорок лет после объединения Германии противоречия в системе только усугублялись. Никто из политиков не предвидел масштабов надвигающейся катастрофы, которую система «рутинизированной конфронтации» с опорой на современную военную технику исподволь превращала в неизбежность. И все политики способствовали подобному развитию событий, игнорируя тот факт, что своими действиями они демонтируют международный порядок: Франция постоянно твердила о необходимости вернуть Эльзас и Лотарингию, если понадобится, силой; Австрия разрывалась между внутренними и

центральноевропейскими обязательствами; Германия пыталась преодолеть собственные страхи перед враждебным окружением, задевая за живое то Францию, то Россию и одновременно наращивая морское могущество, очевидно пренебрегая тем, что, как учит история, Британия наверняка выступит против крупнейшей на континенте державы, вознамерившейся вдобавок бросить вызов английскому господству на море. Россия, неуклонно расширяясь сразу во всех направлениях, угрожала и Австрии, и тому, что оставалось от Османской империи. Британия, предпочитая до поры скрывать степень своей растущей приверженности Антанте, воспроизводила ущербность каждого курса. Ее поддержка заставляла Францию и Россию проявлять непреклонность; ее сдержанность убедила некоторых германских политиков, что Великобритания может сохранить нейтралитет в европейской войне.

Размышлять о том, как могли бы сложиться обстоятельства в альтернативных исторических сценариях, обычно бесполезное занятие. Но война, которая покончила с западной цивилизацией, не была неизбежной. Она родилась из череды просчетов, допущенных государственными лидерами, которые не понимали последствий собственных планов, а сама катастрофа была спровоцирована терактом в год, считавшийся невероятно мирным. В конце концов военное планирование категорически разошлось с дипломатией. Это урок, который последующие поколения не должны забывать.

Легитимность и власть между мировыми войнами

Первая мировая война была с восторгом встречена патриотической публикой и пребывавшими в эйфории государственными лидерами, которые предполагали, что это будет короткая победоносная война с ограниченными целями. В итоге Европа получила более двадцати пяти миллионов погибших и гибель существующего международного порядка. Гибкие конструкции европейского баланса изменяющихся интересов были отброшены во имя конфронтационной дипломатии двух несгибаемых альянсов, а затем сметены позиционной войной, приведшей к доселе немыслимому количеству жертв. В ходе войны Российская, Австро-Венгерская и Османская империи были уничтожены. В России народное восстание с требованиями

модернизации и либеральных реформ возглавила вооруженная элита, провозгласившая универсальную революционную доктрину. После голода и гражданской войны Россия и ее владения преобразовались в Советский Союз, а желание Достоевского обрести «единую вселенскую церковь на земле» трансформировалось в контролируемое из Москвы мировое коммунистическое движение, отвергающее все прежние концепции мирового порядка. «Горе политику, доводы которого за вступление в войну не столь убедительны по ее окончании по сравнению с началом», – предостерегал Бисмарк. Никто из государственных лидеров, приветствовавших войну в августе 1914 года, не стал бы так поступать, имей он возможность заглянуть в 1918 год.

Ошеломленные бойней, государственные мужи Европы пытались добиться, чтобы послевоенный период как можно сильнее отличался от кризисного предвоенного периода, по их мнению, приведшего к Великой войне. Они предпочли забыть едва ли не все уроки предыдущих попыток налаживания международного порядка, особенно уроки Венского конгресса. Это было ошибочное решение. Версальский договор 1919 года отказал Германии в праве быть частью европейского порядка (хотя Венский конгресс в свое время пощадил побежденную Францию). Новое революционное марксистско-ленинское правительство Советского Союза заявило, что не несет ответственности за поддержание международного порядка, чья гибель состоится в ближайшем будущем; пребывая на задворках европейской дипломатии, это правительство долгое время не признавалось западными державами. Из пяти государств, которые составляли довоенную систему европейского равновесия, Австро-Венгерская империя распалась, Россию и Германию исключили из системы, а Британия демонстрировала стремление вернуться к прежней исторической роли, ограничив свое участие в европейских делах только тем, чтобы противостоять реальным угрозам, а не чтобы предупредить возникновение потенциальных угроз.

Традиционная дипломатия принесла Европе почти столетие мирной жизни, обеспечив международный порядок на хрупком равновесии элементов власти и легитимности. В последней четверти этого столетия равновесие сместилось в сторону власти. Разработчики Версальского соглашения вновь усилили позиции легитимности,

предложив международный порядок, который можно поддерживать – если он вообще жизнеспособен – исключительно апеллируя к общим принципам; власть проигнорировали или оставили «как есть», в упадке. Пояс государств, возникших благодаря реализации права на самоопределение, протянулся от Германии до границ Советского Союза – и оказался слишком слабым, чтобы противостоять кому-либо из них; в итоге это привело к сговору между ними. Британия все более отстранялась. Соединенные Штаты, решительно вступившие в войну в 1917 году, несмотря на первоначальное нежелание, быстро утратили свои иллюзии и снова замкнулись в относительной изоляции. Ответственность за обеспечение власти тем самым легла преимущественно на Францию, истощенную войной, утратившую человеческий ресурс и психологическую выносливость и все отчетливее осознававшую, что диспаритет сил между нею и Германией угрожает стать непреодолимым.

Дипломатические документы редко бьют настолько мимо цели, как это случилось с Версальским договором. Слишком карательные для примирения, слишком мягкие для недопущения возрождения амбиций Германии, условия этого договора обрекли опустошенные европейские демократии на постоянную тревогу из-за непримиримой и реваншистски настроенной Германии, а также революционного Советского Союза.

При том, что Германия оказалась вне рамок послевоенного мироустройства, а Версальский договор не сформулировал четко мер по предотвращению возрождения ее амбиций, версальский порядок фактически стимулировал усиление германского ревизионизма. На деле помешать Германии воплотить на практике свое потенциальное стратегическое превосходство могли только дискриминационные условия, которые противоречили моральным убеждениям Соединенных Штатов и, в возрастающей степени, Британии. Едва Германия начала оспаривать условия договора, его соблюдение могли гарантировать лишь угроза безжалостного применения французского оружия и постоянное американское вмешательство в европейские дела. Ни того, ни другого не произошло.

Франция три столетия сохраняла Центральную Европу сперва разделенной, а затем единой – на первом этапе самостоятельно, потом в союзе с Россией. Но после Версаля она утратила такую возможность.

Франция была слишком истощена войной, чтобы играть роль полицейского Европы, а Центральную и Восточную Европу вдобавок охватили политические процессы, манипулировать которыми Франция не могла. Оставшись в одиночестве против объединенной Германии, она предпринимала жалкие усилия по насильственному сохранению порядка, но оказалась полностью деморализованной при новом нашествии «исторического кошмара» после прихода к власти Гитлера.

Великие державы пытались институализировать свое отвращение к войне в новой форме международного порядка. Был выдвинут невнятный лозунг международного разоружения, осуществление которого отложили до завершения последующих переговоров. Лиге Наций и ряду межгосударственных соглашений полагалось заменить соперничество с применением оружия в качестве правовых механизмов разрешения споров. Тем не менее пусть членство в новых структурах было почти всеобщим и любая форма нарушения мира официально запрещалась, ни одна страна не демонстрировала готовности выполнять условия договоров. Страны оскорбленные или экспансионистские – Германия, императорская Япония, Италия Муссолини – быстро выяснили, что не существует сколько-нибудь серьезного наказания для нарушителей устава Лиги Наций и для тех, кто из этой организации выходит. В результате в послевоенной Европе сложились два пересекающихся и противоречащих друг другу порядка – первый опирался на правила и нормы международного права (к нему относились в основном западные демократии, взаимодействовавшие между собой), а второй образовали страны, отколовшиеся от системы ради обретения большей свободы действий. Угрожая обоим и маневрируя между во имя собственных целей, особняком стоял Советский Союз – со своей «персональной» концепцией универсального революционного мирового порядка.

В конце концов Версальский договор не сумел обеспечить ни легитимности, ни равновесия сил. Его уязвимость, достойная жалости, была наглядно продемонстрирована на конференции в Локарно в 1925 году: согласно Локарнским договорам, Германия «принимала» текущие границы западных стран и демилитаризацию Рейнской области, на что согласилась в Версале, но отказывалась от соблюдения аналогичных условий в отношении территорий Польши и Чехословакии (явное свидетельство желания утолить аппетит и

отомстить за обиды). Как ни удивительно, Франция поддержала заключенные в Локарно договоренности, хотя по этим документам союзники Франции в Восточной Европе официально становились потенциальными жертвами возможного немецкого реванша; это можно считать своего рода намеком на действия Франции десять лет спустя, в новой кризисной ситуации.

В 1920-е годы Веймарская республика взывала к совести западного мира, противопоставляя суровость и противоречивость Версальского договора более идеалистическим принципам Лиги Наций и курируемого Лигой международного порядка. Гитлер, пришедший к власти в 1933 году, по итогам всенародного референдума оскорбленного немецкого народа отказался от всех ограничений. Он перевооружил страну в нарушение условий Версальского мира и отверг условия Локарнских соглашений, заново оккупировав Рейнскую область. Убедившись в отсутствии значимой реакции, Гитлер приступил к последовательному поглощению государств Центральной и Восточной Европы: сначала Австрия, затем – Чехословакия, потом – Польша.

Отметим, что ситуация 1930-х годов отнюдь не уникальна. В каждую эпоху человечество рождает демонические фигуры, одержимые идеями репрессий и мирового господства. Задача государственных деятелей состоит в том, чтобы предотвратить их приход к власти и сохранить международный порядок, способный их остановить, если они все-таки прорвутся наверх. Увы, ядовитая смесь мещанского пацифизма, геополитических перекосов и разобщенности союзников, характерная для межвоенных лет, лишила их такой возможности.

Европа строила международный порядок на протяжении трех столетий вооруженных конфликтов. И отвергла его, поскольку европейские лидеры не понимали последствий вступления в Первую мировую войну; позднее последствия нового пожара они уже признавали, но испугались необходимости решительных действий. История коллапса международного порядка есть рассказ об отречении и даже самоубийстве. Отказавшись от принципов Вестфальского мира и неохотно применяя силу для отстаивания провозглашенных моральных альтернатив, Европа оказалась ввергнутой в новую войну,

которая по своему завершению вновь поставила вопрос о пересмотре европейского порядка.

Послевоенный европейский порядок

В результате двух мировых войн вестфальская концепция суверенитета и принцип баланса сил в значительной степени утратили свою значимость в современном порядке на континенте, их породившем. Некие останки, впрочем, можно обнаружить до сих пор – в странах, в которые они проникли в эпоху открытий и территориальных расширений.

К окончанию Второй мировой войны материальные возможности и психологическая способность Европы по строительству мирового порядка были практически исчерпаны. Все континентальные европейские страны, за исключением Швейцарии и Швеции, пережили – или продолжали переживать – оккупацию иностранными войсками. Экономика всех стран лежала в руинах. Стало очевидным, что ни одна европейская страна (в том числе и Швейцария со Швецией) больше не в состоянии формировать свое будущее самостоятельно.

Западная Европа нашла в себе моральные силы, чтобы ступить на дорогу к новому мировому порядку, и в этом заслуга трех великих людей: Конрада Аденауэра в Германии, Робера Шумана во Франции и Альчиде де Гаспери в Италии. Они родились и получили образование до Первой мировой войны, а потому сохранили некоторые философские идеи былой Европы – надежду на лучшее будущее человечества; и это наделило их видением и присутствием духа, необходимыми для преодоления причин и следствий трагедии. Когда континент очутился на краю гибели, они обратились к концепциям порядка времен своей молодости. Важнейшим среди их убеждений было следующее: если они хотят принести утешение своим народам и не допустить повторения трагедии, следует оставить в прошлом исторические разногласия стран Европы и на этой основе создать новый европейский порядок.

Им пришлось справляться и с очередным разделением Европы. В 1949 году западные союзники объединили свои оккупационные зоны, создав Федеративную Республику Германия. СССР же превратил свою оккупационную зону в социалистическое государство, привязанное к

Советам Варшавским договором. Германия оказалась отброшенной на триста лет назад, к периоду после Вестфальского мира: ее разделение стало ключевым элементом формирующейся международной структуры.

Франция и Германия, две страны, чьи соперничество составляло основу всех европейских войн на протяжении трех столетий, первыми занялись трансформацией европейской истории через слияние ключевых элементов уцелевшей экономической системы. В 1952 году^[59] они учредили Европейское объединение угля и стали в качестве первого шага в направлении «постоянно крепнущего союза» народов Европы; таков был краеугольный камень нового европейского порядка.

Многие десятилетия Германия являлась главной угрозой стабильности в Европе. В первое послевоенное десятилетие именно курс германской политики приобретал решающее значение. Конрад Аденауэр стал канцлером новообразованной Федеративной Республики Германия в возрасте семидесяти трех лет – карьера Бисмарка в этом возрасте уже близилась к закату. Патриций по духу и облику, с подозрением относившийся к популизму, он создал политическую партию, Христианско-демократический союз, которая впервые в истории немецкого парламентаризма стала править как партия умеренных, обладающая большинством голосов. Имея такую поддержку, Аденауэр посвятил себя восстановлению страны после недавних потрясений. В 1955 году он привел Западную Германию в НАТО. Аденауэр был настолько привержен идее объединения Европы, что отверг в 1950-х годах намеки СССР: мол, Германия вполне может снова стать единой, если Федеративная Республика откажется от ориентации на Запад. Данное решение, безусловно, отражало доверие канцлера к советским инициативам – а также показывало, насколько он сомневается в способности своего общества в одиночку выстроить заново национальное государство в центре континента. Так или иначе, это был человек, наделенный величайшей силой духа; кто еще мог бы помышлять о новом международном порядке, когда твоя собственная страна разделена?

Вообще разделение Германии нельзя назвать уникальным событием в европейской истории; оно служило фундаментом как вестфальской, так венской систем. Новизна состояла в том, что одна из

Германий четко позиционировала себя как западную страну в соперничестве на арене международного порядка. Это было тем более важно, поскольку баланс сил в значительной мере формировался за пределами европейского континента. Тысячу лет народы Европы принимали как должное, что колебания в балансе сил могут быть какими угодно, однако сам баланс зависит от Европы. Складывающийся мир «холодной войны» опирался на дипломатию и оружие двух сверхдержав – США, расположенных через Атлантику от Европы, и Советского Союза, раскинувшегося на географической периферии континента. Америка помогла восстановить европейскую экономику через греко-турецкую программу помощи 1947 года и план Маршалла 1948 года. В 1949 году Соединенные Штаты Америки впервые в своей истории вступили в союз мирного времени – имеется в виду Североатлантический договор.

Европейское равновесие, исторически формировавшееся государствами Европы, превратилось в элемент стратегии внешних сил. Североатлантический альянс обеспечивал базу для регулярных консультаций США и Европы и служил опорой в проведении совместной внешней политики. Но, по сути, европейский баланс сил перестал определяться сугубо европейскими договоренностями; отныне он стал компонентом системы сдерживания СССР по всему миру, прежде всего за счет ядерного потенциала Соединенных Штатов. После шока двух разрушительных войн западноевропейские страны столкнулись со сменой геополитической перспективы, с вызовом своей исторической идентичности.

В первую фазу «холодной войны» международный порядок был фактически биполярным, и Америка направляла деятельность западного альянса, выступая гарантом и ведущим партнером. В понимании Соединенных Штатов этот союз представлял не собрание стран, действующих воедино для сохранения равновесия, но своего рода совместное предприятие с Америкой в качестве исполнительного директора.

Традиционный европейский баланс сил основывался на равенстве всех участников процесса; каждый жертвовал частицей своей власти ради общей и в целом ограниченной цели, то есть равновесия. Но Организация Североатлантического договора, объединяя вооруженные силы союзников в общую структуру, опиралась в основном на

американскую военную мощь, особенно с учетом ядерного потенциала Америки. Пока стратегическое ядерное оружие оставалось главным элементом обороны Европы, европейская политика сводилась в первую очередь к психологии: убедить Соединенные Штаты, что Европа – часть их самих, и действовать соответственно при возникновении чрезвычайной ситуации.

Международный порядок холодной войны характеризовался двумя комплексами сдержек и противовесов, которые впервые в истории являлись в немалой степени независимыми друг от друга: это ядерный баланс между Советским Союзом и Соединенными Штатами и внутренний баланс в рамках Североатлантического альянса, обеспечивавший прежде всего психологическое равновесие. Превосходство США признавалось в обмен на предоставление Европе американского ядерного «зонтика». Европейские страны создавали собственные вооруженные силы не столько для дополнительной защиты, сколько для того, чтобы получить статус военного союзника – этакий входной билет в компанию, где верховодят Штаты. Франция и Великобритания обзавелись своими ядерными арсеналами, не влиявшими на общий баланс сил, но позволявшими претендовать на место за столом переговоров великих держав.

Реалии ядерной эпохи и географическая близость Советского Союза поддерживали целостность альянса на протяжении жизни поколения. Но скрытые противоречия неминуемо должны были проявиться после падения Берлинской стены в 1989 году.

После четырех десятилетий холодной войны НАТО очутилось перед фактом: война, ради которой создавался блок, завершилась. Падение Берлинской стены в 1989 году быстро привело к объединению Германии, одновременно происходил распад советского «пояса сателлитов», то есть государств Восточной Европы, которым СССР навязал свою систему управления. Итог деятельности лидеров, которые учреждали Организацию Североатлантического договора, и тех, кто воочию наблюдал за развязкой, таков: третий панъевропейский конфликт века закончился мирно. Германия достигла объединения как либеральная демократия; она подтвердила свою приверженность европейскому единству, общим ценностям и совместному развитию. Народы Восточной Европы, подавляемые на протяжении сорока лет

(некоторые еще дольше), вернули себе независимость и национально-культурную идентичность.

Распад Советского Союза изменил акценты дипломатии. Геополитический характер европейского порядка видоизменился принципиально, ведь больше не существует сколько-нибудь серьезной военной угрозы Европе. В атмосфере всеобщего ликования от традиционных проблем равновесия отмахивались как от «устаревших», полагая, что дипломатия отныне займется распространением общих идеалов. Североатлантический альянс, как заявлялось, должен заботиться не столько о безопасности, сколько о политическом влиянии. Расширение НАТО до границ России – даже, возможно, включение последней в состав блока, – виделось реальной перспективой. Выдвижение военного блока на исторически спорные территории в нескольких сотнях миль от Москвы предлагалось не как мера предосторожности, а как разумный способ «фиксации» демократических завоеваний.

Перед лицом прямой угрозы международный порядок трактовался как противостояние двух военных блоков, где главенствовали Соединенные Штаты и Советский Союз соответственно. С упадком Советов мир сделался в некоторой степени многополярным, и Европа получила шанс обрести независимость.

Будущее Европы

Какой путь проделала Европа, чтобы достигнуть этой точки! Она приступила к глобальным исследованиям, распространила свои практики и ценности по всему миру. Она каждое столетие изменяла свое внутреннее устройство и изобретала все новые идеи международного порядка. Теперь, в период кульминации, Европе, чтобы не остаться в стороне, следует – и она это осознает – отказаться от политических инструментов, посредством которых она действовала в течение трех с половиной веков. Движимый также желанием смягчить последствия нового объединения Германии, Европейский союз учредил единую валюту (евро) в 2002 году и создал наднациональную политическую структуру в 2004-м. ЕС объявил Европу единой, цельной и свободной, улаживающей разногласия мирными путями.

Объединение Германии сместило равновесие в Европе, поскольку никакое конституционное устройство не в силах опровергнуть тот факт, что Германия является наиболее крепким и сильным европейским государством. Единая валюта обеспечила степень единства, какой в Европе не бывало со времен Священной Римской империи. Достигнет ли ЕС глобальной роли, задекларированной в его уставе, или же, подобно империи Карла V, окажется неспособным сохранить свою целостность?

Новая структура в известной мере представляет собой отречение от вестфальской системы. Тем не менее создание ЕС также можно толковать как возвращение Европы к вестфальской межгосударственной системе, которую Европа сотворила, распространила по всему миру, обороняла и улучшала на протяжении большей части современной истории – на сей раз в виде регионального, а не национального единства власти, как новый элемент новой, глобальной, версии вестфальской системы.

В результате сложилась комбинация национального и регионального подходов, причем пока не удалось гарантировать все преимущества каждого. Европейский союз умаляет суверенитет своих членов и традиционные государственные функции, такие как валютный и пограничный контроль. С другой стороны, европейская политика остается прежде всего национальной, и во многих странах возражения против политики ЕС становятся важнейшим поводом для внутренних дебатов. Иными словами, мы имеем гибрид, институционно нечто среднее между государством и конфедерацией, действующий через совещания министров и общую бюрократию; это больше похоже на Священную Римскую империю, чем на Европу девятнадцатого века. Но, в отличие от Священной Римской империи (такой, какой та была большую часть своей истории, по крайней мере), ЕС пытается улаживать внутренние противоречия, преследуя цели, сформулированные при образовании этой структуры. В частности, валютный союз существует при фискальном разнообразии, а бюрократия плохо сочетается с демократией. Во внешней политике ЕС следует универсальным идеалам, не имея возможности и сил оные навязывать, а космополитическая идентичность конкурирует с национальными лояльностями – европейское единство не отменяет разделений по линиям «восток – запад» и «север – юг»; экуменический

подход допускает наличие движений за автономию (Каталония, Бавария, Шотландия), подрывающих государственно-политическую целостность. Европейская «социальная модель» зависит от рыночной динамики и меняется вместе с последней. Политика ЕС поддерживает толерантность, демонстрирует нежелание отстаивать характерные западные ценности, пусть государства – члены Евросоюза и опасаются внеевропейской иммиграции.

Результирующим стал цикл «тестирования» легитимности самого ЕС. Европейские государства передали Евросоюзу существенную часть полномочий, некогда считавшихся суверенными правами. Поскольку европейских лидеров до сих пор выбирают (или не выбирают) в ходе национальных демократических процессов, эти лидеры склонны проводить политику утверждения национального достоинства; как следствие, все еще возникают споры между различными регионами Европы – обычно по экономическим вопросам. В кризисы, особенно подобные тому, который начался в 2009 году, европейская структура вынуждена прибегать к довольно решительным мерам – для того, чтобы просто выжить. Тем не менее когда общественность просят пожертвовать чем-либо во имя «европейского проекта», обращения такого рода совершенно не предполагают ясного понимания обязательств. И лидеры затем либо игнорируют волю своего народа, либо идут на конфронтацию с Брюсселем.

Европа вернулась к вопросу, с которого когда-то начинала, только теперь этот вопрос приобрел глобальные масштабы. Какой международный порядок можно построить на фоне соперничающих устремлений и противоречивых тенденций? Какие страны станут элементами этого порядка и каким образом они станут соотносить свою политику? Сколько единства требуется Европе и сколько разнообразия она способна выдержать? Впрочем, если переформулировать, этот вопрос в долгосрочной перспективе видится даже более фундаментальным: учитывая исторический опыт, сколько разнообразия необходимо сохранить Европе для обретения значимого единства?

Поддерживая глобальную систему, Европа представляла доминирующую концепцию мирового порядка. Ее государственные деятели формировали международные структуры и навязывали их остальному миру. Сегодня ставится под сомнение сама природа

возникающего миропорядка, и регионы за пределами Европы станут играть важную роль в определении характеристик этого порядка. В самом ли деле мир движется в сторону региональных блоков, которые выполняют роль государств в вестфальской системы? Если так, сложится ли новый баланс сил или произойдет сокращение числа ключевых игроков до минимума, при котором жесткость сделается неизбежной и вернутся угрозы начала двадцатого столетия, с его непримиримыми блоками, пытающимися перебороть друг друга? В мире, где континентальные структуры, наподобие Америки, Китая и, возможно, Индии и Бразилии, уже достигли критической массы, как Европа справится с переходом к статусу региональной единицы? Пока процесс интеграции преимущественно реализуется как бюрократическая проблема повышения компетентности различных европейских органов управления – другими словами, через оптимизацию привычных институтов. Когда появится внутренний стимул к осознанию приверженности единым целям? Европейская история показывает, что объединение никогда не достигается исключительно административными процедурами. Оно требует объединителя – Пруссии в Германии, Пьемонта в Италии, – без руководства которого (и без готовности создавать новую реальность) любое объединение будет мертворожденным. Какая страна или институт сыграют такую роль? Или следует ожидать появления некоего нового института, хотя бы социального движения, которое возьмет на себя определение дальнейшего пути?

Если Европе суждено обрести единство – не важно, каким способом, – как она охарактеризует свою глобальную роль? У нее есть три варианта на выбор: укрепление атлантического партнерства; декларирование и соблюдение нейтралитета; заключение тайного союза с внеевропейской силой или нахождение общих интересов с такой силой. Означает ли это новые сдвиги лояльностей – или Европа видит себя в качестве члена Североатлантического блока, обычно разделяющего ее позиции? С каким прошлым Европа себя ассоциирует: со своим недавним прошлым атлантического единства или с долгой историей маневрирования ради максимальной пользы для национальных интересов? Короче говоря, жизнеспособно ли атлантическое сообщество, и если да (на что я искренне надеюсь), как оно станет определять себя?

Этот вопрос следует задать себе политикам по обе стороны Атлантики. Атлантическое сообщество не может оставаться актуальным, просто воспроизводя привычные образцы. Сотрудничая в формировании стратегии по всему миру, европейские члены НАТО во многих случаях характеризуют свою политику как нейтральную: дескать, мы следим за соблюдением правил и распределением помощи. Но они часто не знают, что предпринять, когда эта модель отвергается или когда ее реализация сопровождается сложностями. Следует вложить конкретный смысл в многократно упоминаемое словосочетание «атлантическое партнерство» – для нового поколения, выросшего в неведении о советской угрозе времен холодной войны.

Политическая эволюция Европы, разумеется, определяется прежде всего самими европейцами. Но и атлантические партнеры не должны оставаться в стороне. Будет ли новая Европа активным участником в строительстве нового международного порядка или замкнется в решении внутренних проблем? Стратегия баланса сил, свойственная европейским великим державам, уже невозможна в современных геополитических и стратегических реалиях. Однако зарождающаяся структура «правил и норм» общеевропейской элиты вряд ли сможет оказывать достаточное влияние на выработку глобальной стратегии, если она не будет учитывать геополитические реалии.

У Соединенных Штатов есть все основания, исторические и геополитические, чтобы поддерживать Европейский союз и не допустить его «провала» в геополитический вакуум; США, лишенные контакта с Европой в политике, экономике и обороне, превратятся в «остров» у берегов Евразии, а сама Европа может сделаться придатком Азии и Ближнего Востока.

Европа, которая менее века назад была почти монополистом в формировании мирового порядка, находится в опасности – в опасности отрезать себя от текущих поисков мирового порядка через совмещение его внутренней конструкции с конечными геополитическими целями. Для многих исход процесса представляет собой кульминацию усилий нескольких поколений – континент, объединенный мирным путем и отринувший силовое соперничество. И все же, пусть ценности «мягкой силы» в Европе зачастую выглядят вдохновляюще, другие регионы лишь изредка выказывают столь непоколебимую преданность единой политике, повышая вероятность

дисбаланса. Европа обращается к себе, когда движение к мировому порядку, ею порожденное, сталкивается с чреватой проблемами ситуацией, которая грозит бедами любому региону, не пожелавшему принять участие в его формировании. И в итоге Европа находится ныне в подвешенном состоянии между прошлым, которое пытается преодолеть, и будущим, которое она для себя еще не определила.

Глава 3

Исламизм и Ближний Восток: мир хаоса

Ближний Восток – регион, где возникли сразу три великие мировые религии^[60]. Его суровый ландшафт порождает завоевателей и пророков, что выступали под знаменами универсальных устремлений. На его просторах, мнившихся бескрайними, создавались и гибли империи; его абсолютные монархи провозглашали себя воплощениями всей полноты власти – чтобы исчезнуть без следа, подобно миражам. Тут существовали все формы внутреннего и международного порядка – и все они отвергались в тот или иной момент истории.

Мир успел привыкнуть к «инициативам» Ближнего Востока по разрушению регионального и даже мирового порядка во имя некоей вселенской истины. Обилие «боговдохновенных» абсолютистских режимов является отличительной чертой этого региона, и все они застыли на полпути между грезами о былой славе и своей текущей неспособностью объединить людей общими основами внутренней и международной легитимности. Вызов международному порядку здесь сильнее, чем где бы то ни было; это касается и организации регионального порядка, и обеспечения совместимости данного порядка со стабильностью остальной части земного шара.

Сегодня представляется, что Ближнему Востоку словно суждено экспериментировать со всеми достижениями собственного исторического опыта одновременно – будь то империи, священные войны, иностранное господство или религиозные конфликты разряда «все против всех», – пока там не сложится (если сложится вообще) единая концепция международного порядка. А до тех пор регион будет пребывать в противоречиях – то двигаться в направлении присоединения к мировому сообществу, то бороться с последним.

Исламский мировой порядок

Ранняя структура власти на Ближнем Востоке и в Северной Африке оформилась благодаря череде сменявших друг друга империй. Каждая полагала себя центром цивилизации, каждая возникла в местности с теми или иными «объединительными» географическими особенностями, а затем расширилась на прилегающие территории. В третьем тысячелетии до нашей эры Египет распространил свое влияние на долину Нила и на земли, которые ныне принадлежат Судану. В тот же период империи Месопотамии, Шумера и Вавилона укрепляли свое владычество над народами, жившими на берегах Тигра и Евфрата. В шестом веке до нашей эры на Иранском нагорье возникла Персидская империя, в которой сложилась система управления, именуемая первой в истории сознательной попыткой объединить разнородные африканские, азиатские и европейские сообщества в единое, упорядоченное международное общество; персидский владыка носил титул шахиншаха – «царя царей».

К концу шестого века новой эры на значительной части Ближнего Востока доминировали две великие империи – Византийская (или Восточная Римская империя), со столицей в Константинополе и приверженная христианской религии (в форме греческого православия), и Персидская империя Сасанидов, со столицей в Ктесифоне, недалеко от современного Багдада, и приверженная зороастризму. Столкновения между ними происходили спорадически на протяжении веков. В 602 году, вскоре после эпидемии чумы, поразившей обе империи, набег персов на византийские земли привел к двадцатипятилетней войне, в ходе которой империи долго мерились остатками могущества. Победа в итоге осталась за Византией, и общее истощение обернулось миром, которого не удалось достичь государственной мудростью. Этот мир также открыл дорогу последующей окончательной победе ислама: в Западной Аравии, в выжженной солнцем пустыне, вдали от влияния обеих империй, пророк Мухаммад и его последователи набирали силу, вдохновляясь новым видением мирового порядка.

Немногие события мировой истории можно сопоставить с драмой первых десятилетий распространения ислама. Мусульманская

традиция гласит, что Мухаммад родился в Мекке в 570 году, в возрасте сорока лет впервые услышал откровение свыше и продолжал внимать Аллаху приблизительно двадцать три года; будучи записанными, эти божественные слова стали Кораном. Византийская и Персидская империи обескровливали друг друга, а Мухаммад и его община верующих создали новую государственную структуру, объединившую Аравийский полуостров, и выступили в поход, дабы заместить преобладающие религии Ближнего Востока – в первую очередь иудаизм, христианство и зороастризм – своей религией, почерпнутой из откровений.

Беспрецедентная экспансия превратила «восход» ислама в одно из наиболее значимых событий мировой истории. В столетия после смерти Мухаммада в 632 году арабские воины разнесли новую веру вплоть до Атлантического побережья Африки, установили свои законы на большей части Испании и в Центральной Франции, а на востоке дошли до Северной Индии. Далее ислам охватил некоторые земли Центральной Азии и России, отдельные районы Китая и большую часть Ост-Индии; стараниями купцов и завоевателей исламская религия постепенно сделалась доминирующей на всех перечисленных территориях.

Кажется невероятным, что малая группа арабов-единомышленников сумела породить движение, которое поглотило великие империи, господствовавшие в регионе на протяжении столетий. Просто невозможно представить, что столь явные имперские амбиции и столь всепоглощающий религиозный пыл оставались незамеченными, пока не стало слишком поздно. В хрониках соседних народов Аравийский полуостров вообще не фигурировал как потенциальная угроза. Многие века арабы жили племенными сообществами, пасли скот, вели полукочевой образ жизни в пустыне и на ее плодородных окраинах. Прежде, пусть они бросили несколько дерзких вызовов римскому владычеству, им не удавалось создать ни великой державы, ни империи. Их историческую память хранила устная традиция эпической поэзии. Они упоминались греками, римлянами и персами в основном как разбойники, грабящие караваны и донимающие оседлое население. Когда представители этих культур вообще принимали арабов во внимание, все сводилось к конкретным

договоренностям с каким-либо племенем, лояльность которого покупали взамен на обещание блюсти покой имперских границ.

Всего за сто лет грандиозных свершений этот миропорядок был разрушен. Экспансионистский и в некоторых отношениях радикально эгалитарный, ислам принципиально отличался от любых других движений. Обязанность правоверных часто молиться превратила веру в образ жизни; отождествление религиозной и политической власти преобразовало распространение веры из имперских притязаний в священный долг. Каждому народу, покоренному наступавшими мусульманами, предлагался выбор: принять ислам, признать протекторат – или исчезнуть. Арабский посланник-мусульманин, отправленный в седьмом веке нашей эры вести переговоры с дряхлеющей Персидской империей, заявил накануне решающего сражения: «Если вы примете ислам, мы оставим вас в покое; если вы согласитесь платить подушный налог, мы будем защищать вас, когда это потребуется; в противном случае мы вас завоюем». Арабская конница – воплощение религиозных убеждений, ратного искусства и презрения к роскоши покоренных земель – убедительно подкрепила угрозу своим присутствием. Наблюдая за наступлением мусульман и за их свершениями, общества, оказавшиеся на краю гибели, предпочитали, разумеется, принимать новую веру и новое видение.

Быстрое распространение ислама по трем континентам, можно сказать, предоставило правоверным доказательства правоты божественной миссии. Вдохновляемый целью объединить человечество и принести всеобщий мир, ислам был одновременно религией, многонациональной сверхдержавой и новым мировым порядком.

Области, которые мусульмане покорили или где они получали налоги с немусульман, считались единым политическим образованием – Дар аль-ислам, «территория ислама», царство мира. Этими областями правил халиф – законный преемник мирской политической власти, некогда обретенной Пророком. Земли за пределами халифата именовались Дар аль-харб, «территория войны»; миссия ислама состояла в том, чтобы включить эти земли в собственный мировой порядок и обеспечить тем самым всеобщий мир:

«В теории Дар аль-ислам пребывает в состоянии войны с Дар аль-харб, поскольку конечной целью ислама является весь мир. Если границы Дар аль-харб удастся сократить, общественный порядок Рах Islamica вытеснит все прочие, и немусульманские общества либо станут частью исламского сообщества, либо признают его власть и обретут статус религиозных общин, которым разрешено существовать, или автономных образований, поддерживающих с исламом договорные отношения».

Стратегия по достижению этой универсальной цели – джихад, то есть обязанность правоверных всемерно расширять территорию ислама. «Джихад» подразумевает в том числе войну, но ни в коем случае не сводится к насильственным методам; данная стратегия включает множество способов распространения учения Мухаммада, скажем, воодушевляющие духовные практики – или великие свершения, прославляющие принципы ислама. В зависимости от обстоятельств – а в различные эпохи в разных регионах обстоятельства, разумеется, отличались, – правоверным следует осуществлять джихад «своим сердцем, языком, руками или мечом».

Конечно, ситуация принципиально изменилась с тех пор, как молодое исламское государство двинулось в поход под знаменем веры, с тех пор, как оно управляло общиной верующих как единым политическим субъектом, бросая скрытый вызов остальной части мира. Взаимодействие между мусульманским и немусульманским обществами знавало периоды плодотворного, взаимовыгодного сосуществования – сменявшиеся нарастанием антагонизма. Торговые контакты тесно связали между собой мусульманский и немусульманский миры, дипломатические соглашения нередко вынуждали мусульман сотрудничать с немусульманами ради выполнения тех или иных общих задач. Тем не менее бинарная концепция мирового порядка здравствует по сей день, например, остается официальной государственной доктриной Ирана, зафиксированной в конституции страны; под этими лозунгами выступают и вооруженные меньшинства в Ливане, Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, Афганистане и Пакистане; кроме того, она служит основой идеологии нескольких террористических групп, действующих

по всему миру – прежде всего «Исламского государства в Ираке и Леванте» (ИГИЛ).

Другие религии, в особенности христианство, также демонстрировали миссионерский пыл и звали в Крестовые походы, ревностно отстаивая собственную вселенскую миссию и прибегая к аналогичным методам завоевания и насильственного обращения^[61]. (Испанские конкистадоры уничтожили древние цивилизации в Центральной и Южной Америке в шестнадцатом веке, прикрываясь рассуждениями о необходимости окончательной победы Христовой веры во всем мире.) Различие заключается в том, что в западном мире пыл Крестовых походов со временем угас, «переродился» в светские концепции, менее абсолютистские (или не столь долгосрочные), нежели религиозные императивы. Постепенно христианство превратилось в историко-философское понятие, перестало служить операциональным принципом стратегии и международного порядка. Данной трансформации способствовало то, что в христианстве сложилось представление о двух сферах бытия – «кесаревой» и «Божьей»; это и обеспечило формирование плюралистических, светских устоев внешней политики в рамках международной системы, как следует из содержания предыдущих глав. Дальнейшему укреплению светского характера миропорядка на Западе способствовали и более поздние факторы – к примеру, отталкивающий «облик» некоторых современных «крестовых походов» (в частности, советского коммунизма, который проповедовал мировую революцию, или расистского империализма).

Эволюция мусульманского мира была иной. Время от времени там возникали надежды на сближение мировоззрений. С другой стороны, еще совсем недавно, в 1920-х годах, прямая линия наследования политической власти от пророка Мухаммада признавалась практическим инструментом ближневосточного искусства управления Османской империей. Когда же эта империя рухнула, в ключевых мусульманских странах стали нарастать противоречия между теми, кто стремился полноценно вступить в экуменический международный порядок (сохраняя глубокие, искренние религиозные убеждения, но отделяя их от вопросов внешней политики), и теми, кто притязал на участие в борьбе за наследование универсальной власти в строгой

интерпретации традиционной исламской концепции мирового порядка.

За последние девяносто лет оба этих лагеря явили миру вереницу выдающихся государственных деятелей; среди них мы встречаем и наиболее дальновидных политиков, и наиболее непримиримых апологетов религиозного абсолютизма. Исход противостояния до сих пор неясен; в некоторых ближневосточных государствах приверженцы межгосударственного и конфессионально-универсалистского миропорядков уживаются вместе, пускай иногда и оказываются на грани конфликта. Но для многих правоверных, особенно в период возрождения исламизма – современной идеологии, утверждающей нормы шариата в качестве фундамента личной, политической и международной жизни, – исламский мир по-прежнему пребывает в неизбежной конфронтации с остальной частью планеты.

В раннем исламском государстве мирные договоры с немусульманскими обществами считались допустимыми. Согласно традиционной юриспруденции это сугубо прагматические меры, принимаемые на ограниченный срок и позволявшие исламу обезопасить себя от угроз, обрести силу и сплоченность. Опираясь на исторический прецедент (когда мусульманская община заключала перемирие с врагами, а затем их побеждала), данные договоры подразумевали ограниченный срок действия, до десяти лет, и возможность продления при необходимости; потому-то в первые столетия мусульманского мира «положения исламского права предусматривали, что договор не может действовать вечно, ибо он подлежит немедленному разрыву, едва мусульмане накопят достаточно сил для этого».

Указанные договоры ни в коей степени не предполагали создания постоянной системы, в которой исламское государство взаимодействовало бы на равных условиях с суверенными немусульманскими странами: «Сообщества Дар аль-харб рассматривались как пребывающие в диком состоянии, поскольку они не имели юридических полномочий для общения с исламом на основе равноправия и взаимной пользы, потому что не соответствовали исламским этическим и правовым стандартам». Внутренние принципы исламского государства возводились к божественным предписаниям, и с этой точки зрения немусульманские политические структуры

являлись нелегитимными; мусульманские общины никогда не примут их в качестве равноправных партнеров. Мировой порядок зависел от возможности укрепления и расширения единого исламского государства, а не от баланса конкурирующих сил.

В идеализированной версии этого мироустройства установление мира и справедливости по версии ислама представляет собой однонаправленный и необратимый процесс. Утрата земель, некогда включенных в Дар аль-ислам, категорически отвергается, ведь иначе правоверные фактически отказываются от распространения универсальной веры. И действительно, в истории человечества нет иного политического образования, которое расширилось бы и сражалось за свои завоевания столь неумолимо. Со временем часть земель, присвоенных в эпоху экспансии ислама, оказалась вне политического контроля мусульман – это, например, Испания, Португалия, Сицилия, Южная Италия, Балканы (ныне – лоскутное одеяло из мусульманских и преимущественно православных анклавов), Греция, Армения, Грузия, Израиль, Индия, юг России и часть Западного Китая. Но все же, если взглянуть на карту исламской экспансии, мы увидим, что очень многие из когда-то покоренных мусульманами территорий остаются мусульманскими по сей день.

Никакое общество никогда не обладало властью, ни один лидер не имел упорства и никакая вера не обладала динамизмом, достаточным для того, чтобы продолжительно навязывать свою волю всему миру. Универсальность, всеобщность ускользала от всех завоевателей, лелеявших вселенские планы, и в отношении ислама это тоже справедливо. По мере расширения ранней исламской империи на ее территории постепенно складывались сразу несколько «локусов силы». Кризис наследования после смерти Мухаммада обернулся расколом между суннитами и шиитами – данное разделение остается принципиально важным для современного ислама. В любом политическом предприятии вопрос преемственности сулит конфликты; в ситуации, когда основатель и лидер также рассматривается как «Печать пророков», последний из посланников Бога, дебаты ведутся одновременно в политической и теологической плоскостях. После кончины Мухаммада в 632 году совет племенных старейшин избрал его тестя Абу Бакра преемником, или халифом, как человека,

способного сохранить согласие и гармонию в молодой мусульманской общине. Некоторые, правда, считали, что не следует выбирать преемника простым голосованием, поскольку человеческое суждение подвержено ошибкам; власть автоматически должна перейти к ближайшему кровному родичу пророка, его двоюродному брату Али – рано обратившемуся в ислам доблестному воину, которого Мухаммад, как полагали, выбрал бы сам.

Эти партии, придерживавшиеся противоположных убеждений, в конечном счете и сформировали две основные ветви ислама. Для сторонников Абу Бакра и его ближайших преемников отношения Мухаммада с Богом были неповторимыми и единственными; свою задачу первые халифы видели в том, чтобы сохранить созданное Мухаммадом. Так возникла фракция суннитов, «людей традиции и согласия». Для сторонников Али – Шиитов, то есть шиитов, – управление исламским обществом рисовалось духовной задачей, подразумевающей эзотерический элемент. По их мнению, мусульмане могут верно осознать откровения Мухаммада, только если будут подчиняться духовно одаренным личностям из числа прямых потомков пророка и Али, «доверенных лиц» и носителей тайных смыслов молодой религии. Когда Али, все-таки добившийся власти и ставший четвертым халифом, столкнулся с восстанием и был убит возбужденной толпой, сунниты немедленно заговорили о восстановлении порядка и поддержали ту фракцию, которая ратовала за стабильность. Шииты же обвинили нового правителя в узурпации, отказались признавать его легитимность и восхваляли мучеников, погибших во имя «правого дела». Это противостояние растянулось на многие столетия.

Геополитическое соперничество усугублялось доктринальными различиями. Со временем в исламе сложились арабская, персидская, турецкая и могольская «сферы», причем каждая теоретически поддерживала исходный глобальный мусульманский порядок, но на практике все они вели себя как соперничающие монархии с различными интересами и различными интерпретациями канонов веры. В ряде случаев, в том числе на протяжении большей части правления Великих Моголов в Индии, эти «сферы» допускали относительно экуменические, даже синкретические подходы, терпимо относились к другим конфессиям и руководствовались во внешней

политике собственными интересами, а не религиозными императивами. Могольская Индия, которую суннитские территории звали присоединиться к джихаду против шиитского Ирана, отказалась, сославшись на традиционную дружбу и отсутствие поводов к войне.

В конце концов «всемирный импульс» исламского проекта стал затухать, и первая волна мусульманской экспансии покатила обратно в Европе. Битвы при Пуатье и Туре во Франции в 732 году положили предел безостановочному продвижению арабских и североафриканских мусульманских сил. Византийский «форпост» в Малой Азии и Восточной Европе четыре столетия держал границу, за которой Запад развивал собственные, постримские концепции мирового порядка. Более того, западные идеи мало-помалу проникали на территории под мусульманским управлением по мере того, как византийцы захватывали все новые и новые земли на Ближнем Востоке. Крестовые походы – вторжения христианских рыцарских орденов в историческую Святую Землю, оккупированную исламом в седьмом веке, – привели к взятию Иерусалима в 1099 году и созданию христианского королевства, которое продержалось приблизительно два столетия. Христианская реконкиста в Испании завершилась падением в 1492 году Гранады, последнего мусульманского плацдарма на полуострове; в итоге западная граница ислама вернулась в Северную Африку.

В тринадцатом веке мечтания о вселенском порядке возродились. Новая мусульманская империя во главе с турками-оттоманами, последователями завоевателя Османа, сумела существенно расширить исходный крохотный анатолийский «пятючок» и превратилась в грозную силу, которая бросила вызов и в итоге победила одряхлевшую Византию. Оттоманы начали создавать преемницу великих исламских халифатов предшествующих времен. Рисую себя лидерами единого исламского мира, они вели экспансию во всех направлениях сразу и всюду объявляли священные войны. Первыми пали Балканы; в 1453 году был взят Константинополь (Стамбул), столица Византии, геостратегический узел, обеспечивавший контроль над проливом Босфор; затем оттоманы двинулись на юг и на запад, на Аравийский полуостров, в Месопотамию, Северную Африку, в Восточную Европу и на Кавказ; постепенно Османская империя сделалась доминирующей в восточной части Средиземноморья. Подобно ранним исламским

правителям, турки трактовали свою политическую миссию как универсалистскую, как поддержание «порядка во всем мире»; султаны именовали себя «тенью Бога на земле» и «всеобщими правителями, каковые оберегают мир».

Как и предшественники полутысячелетием ранее, Османская империя при своем продвижении на запад вступила в контакт с государствами Западной Европы. Расхождение между тем, что позже институционализировалось в виде многополярной европейской системы, и османской концепцией единой универсальной империи определило сложный характер этого взаимодействия. Османы отказывались признавать европейские государства как легитимные и равные себе. Такое отношение проистекало из исламской доктрины и отражало вдобавок представление о реальности властных отношений – ведь Османская империя территориально превосходила все государства Западной Европы, вместе взятые, и в течение многих десятилетий была в военном плане сильнее любой коалиции европейцев.

Именно поэтому в официальных османских документах^[62] европейские монархи, в соответствии с протоколом, упоминаются после султана, правителя Османской империи; они рассматривались как своего рода «визири», первые министры. К тому же европейские послы, допущенные османами в Константинополь, пребывали в статусе просителей. Соглашения, заключаемые при участии этих посланников, трактовались не как двусторонние, а как односторонние договоры, этакие «подарки» с привилегиями, которые султан волен отозвать, когда ему заблагорассудится.

Когда османы достигли предела своего военного могущества, обе стороны порой заключали временные соглашения ради достижения того или иного тактического преимущества. Стратегические и коммерческие интересы время от времени отодвигали религиозное соперничество на задний план.

В 1526 году Франция, считавшая себя окруженной Габсбургами – Испания на юге и Священная Римская империя с Габсбургом во главе на востоке, – предложила военный союз султану Османской империи Сулейману Великолепному. Это было в духе той же стратегической концепции, которая побудила католическую Францию сто лет спустя объединиться с протестантами в Тридцатилетней войне. Сулейман,

воспринимавший власть Габсбургов как главное препятствие для удовлетворения османских амбиций в Восточной Европе, ответил согласием, пусть и обращался к королю Франции Франциску I как к младшему, по определению, партнеру. Он отказался от союза, который обеспечивал бы хотя бы моральное равенство, и вместо этого даровал свое соизволение нижестоящему:

«Я, великий султан, владыка владык, коронуемый королей, земная тень Аллаха... падишах и султан Белого моря и Черного моря, Анатолии, Румелии и Карамании...^[63] К тебе обращаюсь, зовомый Франциском, правителем земли Французской.

Ты посылаешь к моей Порте, убежищу государей, свое письмо... молишь о помощи и содействии в твоём освобождении... Мужайся и не отчаивайся. Наши доблестные предшественники и наши прославленные предки (да осветит Аллах их гробницы!) никогда не переставали воевать, дабы отразить врага и покорить его земли. Мы сами следуем по их стопам и во все времена завоевываем провинции и крепости великой силы и выгодно расположенные. Ночью и днем наши кони оседланы, а сабли под рукой»^[64].

Так или иначе, военное сотрудничество удалось обеспечить, и результатом стали совместные осmano-французские военно-морские операции против Испании и на Апеннинском полуострове. Играв по тем же правилам, Габсбурги назло османам заключили союз с шиитской династией Сефевидов в Персии. Геополитические соображения – по крайней мере, на время – победили идеологию.

Османская империя: «больной человек Европы»

Османские атаки на европейский порядок возобновились, и наиболее серьезной из них стал поход на Вену в 1683 году. Осада Вены, снятая в том же году европейскими войсками под началом принца Евгения Савойского^[65], подвела итог османской экспансии.

В конце восемнадцатого столетия и, по мере нарастания усилий, на всем протяжении девятнадцатого века европейские страны вели обратную экспансию. Османская империя медленно, но верно дряхла, а ортодоксальные религиозные группировки при дворе

сопротивлялись модернизации. Россия надвигалась с севера, стремясь к Черному морю и Кавказу, а также на Балканы, куда, в свою очередь, с запада наступала Австрия, а Франция и Великобритания соперничали за контроль над Египтом, этой жемчужиной османов; в девятнадцатом веке Египет стал в значительной степени автономным от метрополии.

Сотрясаемая внутренними волнениями, Османская империя воспринималась западными державами как «больной человек Европы»^[66], по выражению русского царя Николая I. Судьба ее огромных владений на Балканах и на Ближнем Востоке, в том числе крупных христианских общин, исторически связанных с Западом, превратилась в «Восточный вопрос», и на протяжении большей части девятнадцатого столетия ведущие европейские державы пытались поделить османские владения, не нарушая соотношения сил в Европе. Со своей стороны, османы норовили извлечь выгоды из позиции слабых – они лавировали между конкурирующими европейцами, норовя получить максимум свободы действий.

В конце девятнадцатого века Османская империя присоединилась к европейской системе баланса сил не в качестве «допущенного» участника вестфальского международного порядка, а, будучи ветшающим государством, которое не в состоянии управлять своей судьбой, в качестве «балласта» – его следовало учитывать при формировании нового равновесия, но статуса полноправного партнера данному «балласту» не полагалось. Великобритания использовала Османскую империю, чтобы блокировать движение России в направлении черноморских проливов; Австрия объединялась то с Россией, то с османами ради контроля над Балканами.

Первая мировая война покончила с этим неуклюжим маневрированием. В союзе с Германией османы вступили в войну, опираясь на принципы обеих международных систем – вестфальской и исламской. Султан обвинил Россию в нарушении «вооруженного нейтралитета» империи, в «неоправданной агрессии, попирающей нормы международного права», и поклялся «взяться за оружие во имя защиты наших законных интересов» (типично вестфальский повод к войне). Одновременно главный религиозный деятель империи объявил «джихад», обвинив Россию, Францию и Великобританию в «агрессии, направленной против халифата и ставящей целью уничтожение ислама» и призвал «правоверных всех стран» (в том числе тех, где

правили британские, французские или российские ставленники) исполнить свой долг – «устремитесь помыслами и делами к джихаду» под угрозой «гнева Аллаха».

Священная война иногда побуждает сильных на еще более великие свершения; однако это безнадежная затея, когда попираются стратегические и политические реалии. Тенденциями века были национальная идентичность и национальные интересы, а не глобальный джихад. Мусульмане Британской империи попросту проигнорировали призыв к джихаду; мусульманские лидеры Британской Индии сосредоточилась на борьбе за независимость, экуменической по сути, и в партнерстве с соотечественниками-индуистами. На Аравийском полуострове зрели национальные устремления, откровенно антиосманские. Надежды Германии на панисламскую поддержку в войне не сбылись. После окончания войны, в 1918 году, бывшие османские территории оказались включены в вестфальскую международную систему посредством различных политических инструментов.

Вестфальская система и исламский мир

Севрский договор 1920 года, подписанный с правительством того, что осталось от Османской империи после Первой мировой войны, создал на Ближнем Востоке «лоскутное одеяло» малых государств (подобного в политической истории этого региона еще не бывало). Некоторые страны, к примеру, Египет и Иран, он же древняя Персия, могли похвастаться историческим имперским опытом и достижениями культуры. Другие появились на свет как «подмандатные территории» Великобритании и Франции – налицо, очевидно, продолжение европейской колониальной политики или, как минимум, патерналистская попытка представить эти страны зарождающимися государствами, которые нуждаются в опеке. Англо-французское соглашение Сайкса – Пико 1916 года (по именам глав английской и французской делегаций соответственно) поделило Ближний Восток на сферы влияния. Мандатная система, ратифицированная Лигой Наций, фактически обеспечила этому разделению юридический статус: Сирия и Ливан отошли Франции; Месопотамия, а позднее Ирак достались Великобритании; Палестина и Трансиордания вошли в состав «подмандатной британской территории Палестина», что протянулась от Средиземноморского побережья до Ирака. В каждом из этих субъектов государственного права имелись несколько конфессиональных и этнических групп, причем исторически враждебных друг другу. Это позволяло обладателям мандата править, «манипулируя напряженностью», и тем самым закладывать фундамент для грядущих гражданских и региональных войн.

С учетом укрепления позиций сионизма (еврейского национализма, выступающего за создание собственного государства в «Земле Израилевой», оформившегося еще перед войной, но обретшего реальную силу по ее окончании) британское правительство в 1917 году в так называемой «декларации Бальфура» (в письме министра иностранных дел Великобритании лорду Ротшильду) объявило, что поддерживает «основание в Палестине национального дома для еврейского народа»; при этом оговаривалось, что кабинет «полностью отдает себе отчет в недопустимости действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих

нееврейских общин». Британия усугубила неоднозначность этой формулировки, пообещав те же земли шарифу Мекки^[67].

Эти бюрократические перераспределения власти привели к серьезным народным волнениям. В 1924 году светские националисты новопровозглашенной Республики Турция отменили основной институт панисламского единства, халифат, и заявили о создании светского государства. В итоге мусульманский мир оказался «подвешенным» между победоносным вестфальским международным порядком и отныне превратившейся в неосуществимую мечту концепцией Дар аль-ислам. Почти не обладая надлежащим опытом, страны Ближнего Востока стали формировать современные государства в границах, по большей части никак не обоснованных исторически.

Возникновение светского государства «а-ля европейское» не имело прецедентов в арабской истории. Перво-наперво арабы попробовали адаптировать концепции суверенитета и государственности для собственных целей. Сложившиеся коммерческие и политические элиты начали действовать в рамках вестфальского порядка и глобальной экономики; они требовали для своих народов права войти в эту систему в качестве равноправных членов. Их лозунгом стала подлинная независимость вновь созданных политических единиц, даже тех, которые родились совсем недавно, а не уничтожение вестфальского порядка. И основным инструментом виделась секуляризация, набравшая «ход». Но, в отличие от Европы, она не привела к формированию плюралистического порядка.

Со временем проявились две противоположные тенденции. «Панарабисты» приняли существование системы государств. Но под государством они понимали страну единого арабского народа, единицу, объединенную этнически, лингвистически и культурно. Напротив, «политизированные исламисты» отстаивали общую веру как главный фактор современной арабской идентичности. Исламисты – среди которых лучше всего известны сегодня «Братья-мусульмане» – зачастую принадлежали к хорошо образованным представителям нового среднего класса. Многие воспринимали исламизм как способ выжить в послевоенную эпоху без необходимости жертвовать «исконными ценностями», как способ осовремениться без необходимости становиться Западом.

До Второй мировой войны европейским державам в целом удавалось поддерживать в регионе порядок, «предписанный» ими же Ближнему Востоку по окончании Первой мировой. Впоследствии возможности европейцев контролировать по-прежнему беспокойный регион фактически исчезли, и ведущим игроком на этой арене сделались Соединенные Штаты. В 1950-х и 1960-х годах более или менее феодальные, монархические правительства в Египте, Ираке, Сирии, Йемене и Ливии были свергнуты местными военными, которые декларировали установление светского правления.

Новые правители, как правило, происходившие из слоев населения, ранее исключенных из политических процессов, стремились укрепить свою популярность – и потому обращались к национализму. Мало-помалу в регионе оформились популистские (а не демократические) политические культуры: так, Гамаль Абдель Насер, харизматичный популист и лидер Египта с 1954 по 1970 год, а также его преемник Анвар Садат, взлетели по служебной лестнице с самых низов. В Ираке Саддам Хусейн, человек сопоставимо скромного происхождения, практиковал более экстремальную версию милитаризованного светского правления: придя к власти запугиванием и жестокостью в начале 1970-х (сперва как узурпатор, затем, с 1979 года, как президент), он буквально норовил поразить весь регион своей воинственностью. И Хусейн, и его идеологический союзник, пронциательный и беспощадный Хафез Асад в Сирии, противопоставляли религиозные меньшинства в своих странах куда более многочисленному большинству (по иронии судьбы, с противоположной «ориентацией» – сунниты правили шиитским большинством в Ираке, а квазишиитские алавиты управляли суннитским большинством в Сирии), проповедуя панарабский национализм. Ощущение общей национальной судьбы пришло на смену видению исламской империи.

Впрочем, исламское наследие вскоре вновь заявило о себе. Исламистские партии, критикуя неудачи светских властей и цитируя аргументы Корана в пользу «боговдохновенного» правления, ратовали за создание панисламской теократии, которая заменит существующие государства. Они равно отрицали Запад и Советский Союз; многие подкрепляли свою мечту террористическими актами. Военные правители реагировали жестко, подавляя исламистские политические

движения, которым вменялось в вину стремление остановить модернизацию и разрушить национальное единство.

Эту эпоху сегодня отнюдь не идеализируют – и вполне обоснованно. Военные, монархические и прочие автократические режимы на Ближнем Востоке воспринимали любое инакомыслие как подстрекательство к мятежу, не оставляя надежд на формирование гражданского общества и политического плюрализма (подобное положение сохраняется в регионе и в двадцать первом столетии). Тем не менее в контексте автократического национализма на Ближнем Востоке происходило осторожное «заигрывание» с современным международным порядком. Некоторые из наиболее амбициозных правителей, вроде Насера и Саддама Хусейна, пытались расширить свои территориальные владения – либо силой, либо через демагогические призывы к арабскому единству. Краткосрочная конфедерация Египта и Сирии (1958–1961) – плод именно таких усилий. Но все попытки провалились, поскольку арабские государства слишком ревностно оберегали собственное наследие и не желали жертвовать суверенитетом ради масштабных политических проектов. В итоге общей основой политики военных лидеров стали государство и национализм, при условии соблюдения, по большей части, установленных границ.

Рассуждая так, арабы стремились использовать соперничество великих держав в холодной войне, чтобы укрепить свое влияние. С конца 1950-х до начала 1970-х годов Советский Союз использовался ими для оказания давления на Соединенные Штаты. СССР являлся основным поставщиком вооружения и дипломатическим защитником националистических арабских государств, которые, в свою очередь, поддерживали, как правило, советские международные инициативы. Военные диктаторы исповедовали приверженность «арабскому социализму» и восхищались советской экономической моделью, но на практике в большинстве случаев арабская экономика оставалась традиционно патриархальной, лишь отдельные отрасли передавались в ведение технократов. Главным стимулом были национальные интересы, как их понимал правящий режим, а не политическая или религиозная идеология.

Отношения времен холодной войны между исламским и неисламским мирами строились в целом на вестфальском по духу

принципе баланса сил. Египет, Сирия, Алжир и Ирак поддерживали советскую политику и советские инициативы. Иордания, Саудовская Аравия, Иран и Марокко дружили с США и полагались на защиту Соединенных Штатов. Все эти страны, за исключением Саудовской Аравии, управлялись как светские государства – пусть некоторые и опирались на традиции религиозной монархии для обеспечения политической легитимности – и упорно соблюдали в управлении национальные интересы. Основное различие состояло в том, как определялись эти интересы – в зависимости от сотрудничества с той или иной сверхдержавой.

В 1973–1974 годах этот порядок нарушился. Убежденный в том, что СССР поставляет оружие, но не готов помогать в дипломатическом процессе возвращения Синайского полуострова (Израиль оккупировал эту территорию в ходе Шестидневной войны 1967 года), президент Египта Анвар Садат сменил сторону. Отныне Египет превратился в американского союзника; его безопасность теперь опиралась на американское, а не на советское оружие. Сирия и Алжир тоже «сместились», постаравшись равноудалиться от главных противников в холодной войне. Региональная роль Советского Союза в результате резко уменьшилась.

Единственным идеологическим вопросом, объединявшим арабские страны, стало существование Израиля как суверенного государства и международное признание «очага еврейского народа». Арабское сопротивление привело к четырем крупным войнам – в 1948, 1956, 1967 и 1973 годах, причем каждый раз победа оставалась за Израилем.

Основанная на национальных интересах политика Садата трансформировалась, по сути, в антисоветскую; это стимулировало дипломатическую активность и обернулось двумя мирными соглашениями с Израилем и заключением мирного договора Египта и Израиля в 1979 году. Египет исключили за «предательство» из Лиги арабских государств. Садата много критиковали и в конечном счете убили. Тем не менее его смелые действия послужили примером для подражания, и другие арабские страны тоже предприняли соответствующие шаги. В 1974 году Сирия и Израиль заключили соглашение об определении и военной защите границы между этими странами. Данное соглашение действовало четыре десятилетия, невзирая на войны и разгул терроризма, и соблюдается даже во время

хаоса сирийской гражданской войны. С Иорданией Израиль придерживался принципа вооруженного нейтралитета, что в итоге способствовало заключению мирного договора. На международной арене авторитарные режимы Сирии и Ирака продолжали поддерживать СССР, но давали понять, что не прочь – при удобном случае – изучить другие предложения. К концу 1970-х годов ближневосточный кризис все больше напоминал балканский девятнадцатого столетия – малые государства манипулировали соперничеством доминирующих держав во имя собственных национальных интересов.

Дипломатическая ассоциация с США не могла все же окончательно разрешить проблемы, с которыми сталкивались националистические военные диктатуры. Сотрудничество с Советским Союзом не помогало в достижении политических целей; ассоциация с США не способствовала ликвидации социальных вызовов. Авторитарные режимы добились фактической независимости от колониального господства и воспользовались возможностью для маневрирования между основными лагерями холодной войны. Но их экономическое развитие было слишком медленным, а распределение благ прогресса – слишком неравным для того, чтобы оперативно удовлетворять потребности народа (и проблемы зачастую только усугублялись, когда обилие энергоресурсов сформировало «нефтезависимость» национальной казны, а экономическая среда оставалась неблагоприятной для инноваций и диверсификации). Внезапное окончание холодной войны ослабило позиции диктаторов на международной арене, они вдруг стали политическим балластом. И диктаторы не смогли понять, как, в отсутствие внешнего врага или международного кризиса, мобилизовать население, которое все больше воспринимало государство в качестве института, обязанного улучшать благосостояние народа, – а не как самоцель.

В результате арабские элиты оказались вынужденными подавлять нарастающее внутреннее недовольство, которое бросало вызов их легитимности. Радикальные группы призывали заменить существующую систему правления основанную на религии ближневосточным порядком, отражающим сразу два различных универсалистских взгляда на мировой порядок – суннитский (региональная организация «Братьев-мусульман» появилась в 1928 году, радикальное движение ХАМАС закрепилось в секторе Газа в

2007 году, а в глобальном масштабе их «прикрывают» террористы «Аль-Каиды») и шиитский (революция Хомейни и ее последствия в Иране, ливанское «государство в государстве» и пр.). В ожесточенной конкуренции друг с другом все эти группы и движения демонстрировали единство в стремлении ликвидировать установленный региональный порядок и построить его заново «по воле Аллаха».

Революционный исламизм – две философские интерпретации^[68]

Весной 1947 года Хасан аль-Банна, египетский часовщик, школьный учитель и начитанный религиозный деятель-самоучка, выступил с критикой существующих институтов Египта, поддерживаемых королем Фаруком, – в брошюре под названием «На пути к Свету». Он предложил исламскую альтернативу светскому национальному государству. Нарочито отстраненно – и все же вдохновляюще – аль-Банна изложил принципы и чаяния египетского общества «Мусульманское братство» (в обиходе – просто «Братья-мусульмане»), организации, которую он основал в 1928 году для борьбы с тем, что полагал «унизительными последствиями» чужеземного влияния и светского образа жизни.

С первых дней своего существования, в виде неформального объединения религиозных мусульман, недовольных британским владычеством над зоной Суэцкого канала в Египте, «Братство» аль-Банна разрослось до общенационального движения, участвующего в социальной и политической деятельности и насчитывающего десятки тысяч членов, с ячейками в каждом египетском городе и с эффективной пропагандистской сетью, которая распространяла его комментарии к текущим событиям. Движение получило признание в регионе своей поддержкой неудачного антибританского (и антиссионистского) арабского восстания 1937–1939 годов в британском мандате Палестина. А также привлекло пристальное внимание египетских властей.

Отлученный от непосредственного участия в египетской политике, но остававшийся тем не менее в числе самых влиятельных политических деятелей Египта, аль-Банна публично отстаивал видение

«Братъев-мусульман» в своем печатном послании монарху. Оплакивая участь Египта и региона в целом, павших жертвой иностранного господства и внутреннего морального разложения, он заявил, что настало время для обновления.

Запад, утверждал аль-Банна, «долго пребывавший на вершине благодаря своей великолепной науке... ныне обанкротился и находится в упадке. Его устои осыпаются, его институты и руководящие принципы исчезают». Западные державы утратили контроль над собственным мировым порядком: «Их встречи бесполезны, их договоры нарушаются, их заветы растерзаны в клочья». Лига Наций, призванная сохранять мир, стала «призраком». Конечно, он не прибегал к конкретным терминам, но аль-Банна утверждал, что вестфальский мировой порядок утратил и легитимность, и власть. Он открыто призывал воспользоваться этой возможностью для создания нового мирового порядка, основанного на исламе. «Исламский путь уже опробован... история засвидетельствовала его правильность». Если человеческое общество посвятит себя «полному и всеохватывающему» возрождению исходных принципов ислама и строительству социального порядка, предписанного Кораном, «исламская единая нация», то есть все мусульмане мира, «поддержит нас»; возникнет «арабское единство», а затем – «исламское единство».

Как возрожденный исламский порядок соотносится с современной международной системой, опирающейся на национальные государства? Правоверный мусульманин, заявлял аль-Банна, верен многим «пересекающимся духовным сферам», вершиной которых является единая исламская вера, коей суждено со временем охватить весь мир. Родина аль-Банна, Египет, станет «первой страной»; далее «очищенная» вера распространится в остальных мусульманских странах, ибо все они суть «отечество и обитель для мусульман»; далее она сподвигнет возникновение «исламской империи» по модели, установленной благочестивыми предками, ведь «всякого мусульманина Аллах спросит, что сделал он для этого». И финалом станет глобальный охват: «Затем отечество мусульман расширится на весь мир. Разве не заповедано Аллахом, Милостивым и Всемогущим: «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Богу^[69]?»»

Где возможно, эти сражения будут постепенными и мирными. В отношении немусульман, пока они не выступают против движения и оказывают ему должное уважение, ранняя доктрина «Братьев-мусульман» проповедовала «покровительство», «умеренность и истинное равенство». К чужестранцам следовало относиться «миролюбиво и сочувственно при условии, что они ведут себя с прямоотой и искренностью». И потому «поистине нелепо» предполагать, что внедрение «исламских заповедей в нашу современную жизнь породит отчуждение между нами и западными странами».

Умеренность, к которой призывал Аль-Банна, была тактической уловкой в попытке найти признание мира, где по-прежнему доминировали западные державы, или нет? И насколько успешной оказалась джихадистская риторика для привлечения приверженцев традиционного ислама? Убитый в 1949 году, аль-Банна попросту не успел подробно объяснить, как сочетаются в его проекте революционные амбиции по преобразованию мира и принципы толерантности и межцивилизационных контактов.

Недомолвки в тексте аль-Банна были развеяны в трудах многих его последователей-исламистов, и очевидно, что не в пользу европейского мировоззрения: в этих трудах декларировался принципиальный отказ от плюрализма и светского международного порядка. Религиовед и идеолог «Братьев-мусульман» Саид Кутб сформулировал, пожалуй, самую научно обоснованную и влиятельную концепцию. В 1964 году, находясь в тюрьме по обвинению в участии в заговоре с целью убийства египетского президента Насера, Кутб написал работу под названием «Вехи на пути», своего рода объявление войны против существующего мирового порядка; эта работа признана сегодня основополагающим текстом современного исламизма.

По мнению Кутба, ислам представляет собой универсальную систему, которая единственная обеспечивает подлинную свободу – свободу от подчинения другим людям, от навязанных доктрин и от «неискренних союзов по признаку расы и цвета кожи, языка и страны, региональных и национальных интересов» (то есть от всех современных форм управления и лояльности, равно как и от «кирпичиков» вестфальского порядка). Нынешняя миссия ислама, утверждал Кутб, состоит в низвержении «угнетателей» и внедрении в

общество буквально и, в конечном счете, повсеместно следовании Корану.

Кульминацией этого процесса будет «обретение свободы всем человечеством по всей земле». Так завершится история, которая началась с первой волной исламской экспансии в седьмом и восьмом веках, причем данную экспансию «нужно распространить повсюду, до крайних пределов, ибо наша вера объединяет все человечество и должна охватить всю планету». Подобно прочим утопическим проектам, данный план требовал суровых мер для своей реализации. Кутб полагал, что к этим мерам должен прибегать идеологически правильный авангард, который свергнет правительства и видоизменит общества, преобладающие на Ближнем Востоке («немусульманские и нелегитимные»), а также проявит инициативу по построению нового порядка.

Опираясь на исторический опыт и страстные призывы, Кутб объявлял войну существующему порядку – вызывающе дерзкой светскости и разобщенности мусульман, – оформившемуся на Ближнем Востоке после Первой мировой войны; для многих мусульман этот порядок и в самом деле был неприемлем. Большинство современников Кутба не разделяло его склонности к насильственным методам, однако все же начало складываться ядро преданных сторонников этого мыслителя (тот самый авангард, который ему рисовался).

Для глобализированного, преимущественно светского общества, полагавшего, что оно преодолело идеологические «ловушки» истории, взгляды Кутба и его последователей долго казались маргинальными и потому не заслуживающими серьезного внимания. Западным элитам недоставало воображения, чтобы оценить этот революционный пыл, чтобы понять, что за громкими заявлениями скрывается серьезная угроза, что это не просто метафоры или попытки поторговаться. Для исламских фундаменталистов такая точка зрения справедлива и позволяет переосмыслить принципы и нормы вестфальского – или любого другого – международного порядка. Под данными лозунгами радикалы и джихадисты на Ближнем Востоке и за его пределами выступают уже которое десятилетие; эти слова повторяют «Аль-Каида», ХАМАС, «Хезболла», «Талибан», религиозное руководство Ирана, «Хизб ут-Тахрир» («Партия освобождения», действующая на

Западе и открыто призывающая к восстановлению халифата и исламского мира), нигерийское движение «Боко Харам», экстремистская организация «Джаббат аль-Нусра» в Сирии и «Исламское государство Ирака и Леванта», начавшее полномасштабную войну в середине 2014 года. Этой доктрины придерживались воинствующие египетские радикалы, которые убили Анвара Садата в 1981 году, обвинив президента в «пренебрежении долгом джихада» и заклеив как отступника вследствие заключения мира с Израилем. Садат для них – вдвойне еретик: он де-юре признал существование еврейского государства и, по их мнению, тем самым согласился отдать земли, исторически принадлежавшие мусульманам, немусульманскому народу.

Подобное мировоззрение практически полностью отрицает вестфальский мировой порядок. Пуристская версия исламизма гласит, что государство не может быть основой международной системы, поскольку оно является светским образованием – следовательно, нелегитимным; в лучшем случае такой порядок может быть временной мерой, этапом на пути к всемирной религиозной организации. Невмешательство во внутренние дела других стран не может быть руководящим принципом политики, ибо национальные лояльности суть отклонения от истинной веры, и джихадисты обязаны превратить Дар аль-харб в Дар аль-ислам. Истинная вера, а не стабильность – вот руководящий принцип данной концепции мирового порядка.

«Арабская весна» и сирийский катаклизм

На мгновение почудилось, что «арабская весна», которая началась в конце 2010 года, сумеет подорвать позиции автократии и джихадистов в регионе, буквально сметет их на новой волне реформ. Народное возмущение в Тунисе и Египте было с восторгом встречено на Западе, равно политическими лидерами и СМИ; в этих возмущениях увидели региональные молодежные революции во имя установления либеральных демократических принципов. Соединенные Штаты официально поддержали требования протестующих, подчеркнув значимость призывов к «свободе, справедливым выборам, представительной системе власти и подлинной демократии», которые все следует реализовать. Тем не менее путь к демократии извилист и долог, что стало очевидно после краха авторитарных режимов.

Многие на Западе интерпретируют события на каирской площади Тахрир как доказательство того, что альтернативы диктатуре следовало начинать искать значительно раньше. На самом деле проблема заключалась в том, что США затруднялись с обнаружением в египетском обществе тех «элементов», из которых способны вырасти плюралистические институты, и лидеров, их поддерживающих. (Вот почему кое-кто четко разделяет гражданскую и военную власть и поддерживает демократию «Братьев-мусульман».)

Демократические устремления Америки в регионе, воспринятые обеими сторонами, обернулись потоком идеалистического красноречия. Но представления о демократии регулярно опровергались насущными заботами о безопасности страны. Все, кто ратовал за демократизацию, быстро понимали, как сложно отыскать лидеров, которые видят в демократии не только средство достижения собственных целей. В то же время сторонники стратегической необходимости не смогли доказать, что существующие режимы способны эволюционировать в демократические или хотя бы в реформаторские. Демократизация не в состоянии заполнить политический вакуум; реализации стратегического подхода препятствовала ригидность официальных институтов.

«Арабская весна» началась как восстание нового поколения во имя либеральной демократии. Вскоре молодежь отодвинули, восстание заболтали или даже подавили. Восторг обернулся параличом. Действующие политические силы, в лице армии и (в сельской местности) религии, оказались крепче и лучше организованными, нежели средний класс, собиравшийся на демонстрации за демократию на площади Тахрир. На практике «арабская весна» лишь обнажила, а никак не помогла преодолеть внутренние противоречия арабо-исламского мира и политики, которая в нем проводится.

Часто повторяемый ранний лозунг «арабской весны» «Народ требует свержения режима» оставлял открытыми важнейшие вопросы – кто такой этот «народ» и кто займет место свергнутых властей. Призывы демонстрантов к свободе в политике и экономике очень быстро сменились столкновениями между протестующими и сторонниками авторитаризма и исламистской идеологии, которых поддерживали военные.

В Египте демонстранты, оккупировавшие площадь Тахрир, выступали за космополитизм и демократию, но их сложно назвать полноправными «сыновьями революции». Да, активность в электронных медиа и социальных сетях способна свергать режимы, что и было доказано, однако для реального строительства новых государственных институтов мало просто собраться на площади. В вакууме власти, возникшем после первоначального успеха протестов, партии «дореформенного периода» ловко манипулировали настроениями населения. Соблазн обеспечить народное единство через комбинацию национализма и фундаментализма оказался сильнее исходного посыла протестующих.

Мохаммед Мурси, лидер «Братьев-мусульман», при поддержке коалиции еще более радикальных фундаменталистских групп был избран в 2012 году на пост президента (хотя в разгар событий на площади Тахрир «Братья-мусульмане» клялись не рваться во власть). Новое исламистское правительство сосредоточило усилия на институционализации полномочий, а его сторонники развернули кампанию запугивания и преследования – женщин, национальных меньшинств и диссидентов. Военный переворот, когда правительство низложили и объявили о «новом старте» политического процесса,

одобрили даже представители отныне маргинального, светского и демократического крыла.

Все случившееся заставляет задуматься о «гуманитарной» внешней политике. Она отличается от традиционной тем, что критикует концепции национальных интересов и баланса сил за недостаток морали. Она предпочитает не рассуждать о преодолении стратегических угроз, но стремится к устранению условий, которые способствуют нарушению универсальных принципов справедливости. Задачи и цели такой внешней политики отражают важнейшую составляющую американской традиции. Однако, реализуемые на практике, в рамках глобальной стратегии США, они порождают собственные дилеммы. Обязана ли Америка одобрять все без исключения народные возмущения против любого недемократического правительства, в том числе против тех, которые до сих пор признавались ключевыми для поддержания международного порядка? Каждый ли протест является демократическим по определению? Саудовская Аравия остается союзником, только пока на ее территории не начнутся публичные выступления? Американский «вклад» в «арабскую весну» состоял в осуждении, критике и помощи в свержении тех режимов, которые Америка считала автократическими, в том числе правительства Египта, прежде – важнейшего союзника США. Некоторые традиционно дружественные правительства – в Саудовской Аравии, например, – усмотрели в происходящем угрозу американского ухода, а не демонстрацию преимуществ либеральных реформ.

Западная традиция требует поддерживать демократические институты и свободные выборы. Ни один американский президент, если он проигнорирует этот «укорененный» фактор политической этики, не может рассчитывать на долговременное одобрение своей деятельности народом США. Но когда за то же ратуют партии, которые отождествляют демократию с плебисцитами по установлению религиозного господства, причем необратимого, выборы оказываются по-настоящему демократическими только в самый первый раз. Когда в Каире к власти снова пришли военные, Соединенные Штаты вновь встали перед прежним выбором: что предпочесть – интересы безопасности или содействие установлению гражданского и легитимного правления. Вдобавок неожиданно возник вопрос о

рисках: до какой степени допустимо рисковать интересами безопасности ради теоретической эволюции? Демократия и безопасность имеют одинаково важное значение. Пренебрежение демократическим будущим – предполагая, что мы знаем, как его строить, – означает долгосрочные риски. Пренебрежение настоящим – игнорирование безопасности – сулит немедленную катастрофу. Все различие между традиционалистами и сторонниками реформ упирается в указанное расхождение. Государственным деятелям приходится балансировать между этими крайностями. Ведь могут произойти события, последствия которых – например, геноцид – будут столь ужасающими, что повлекут за собой прямое иностранное вмешательство, вопреки всем стратегическим соображениям. Но обычно наиболее устойчивый курс подразумевает комбинацию реализма и идеализма, каковые слишком часто в американской политике признаются несовместимыми противоположностями.

Сирийская революция на раннем этапе напоминала египетские протесты на площади Тахрир. Но египетская революция объединила основные противоборствующие силы, а в Сирии давняя подспудная напряженность спровоцировала переход в активную фазу тысячелетнего конфликта между шиитами и суннитами. Учитывая сложную демографическую ситуацию в Сирии, гражданская война втянула в свою орбиту этнические и конфессиональные группы, ни одна из которых, опираясь на исторический опыт, не была готова доверить свою судьбу решениям других. Внешние силы также вмешались в конфликт; число военных преступлений возросло, а выжившие укрывались в этнических и религиозных анклавах.

В американском обществе восстание против Башара аль-Асада воспринималось по аналогии со свержением Хосни Мубарака и трактовалось как борьба за демократию. Кульминацией этой борьбы должна была стать отставка правительства Асада и приход ему на смену демократического коалиционного правительства. Президент Обама сформулировал свою позицию в августе 2011 года, когда публично призвал Асада «отойти в сторону», чтобы сирийский народ самостоятельно проголосовал за свои универсальные права:

«Будущее Сирии должен определять ее народ, но президент Башар Асад этому препятствует. Его призывы к диалогу и реформам уже

давно никого не обманывают, ведь население Сирии страдает в тюрьмах, подвергается пыткам и казням. Мы последовательно предлагали президенту Асаду приступить к демократическим переменам – или хотя бы не мешать. Он отказывался. Ради сирийского народа президент Асад должен отойти в сторону».

Ожидалось, что это заявление мобилизует сирийскую оппозицию и обеспечит международную поддержку идее отставки Асада.

Именно поэтому Соединенные Штаты проталкивали «политическое решение» через Организацию Объединенных Наций, настаивая на устранении Асада от власти и создании коалиционного правительства. Осложнения возникли, когда другие члены Совета Безопасности ООН, обладающие правом вето, отказались одобрить и этот шаг, и военную операцию; а вооруженная оппозиция, которая в конечном счете сформировалась внутри Сирии, с трудом подходит под описание демократической, а тем более умеренной.

Постепенно конфликт «перерос» вопрос о судьбе Асада. Для главных заинтересованных сторон речь шла вовсе не о том, что заботило американское общество. Основные сирийские и региональные игроки воспринимали гражданскую войну как сражение за власть, а не за демократию. Последняя интересовала их только в том отношении, что сулит власть; никто не собирался воевать за систему правления, которая не гарантирует контроля над политическими процессами. Война, ведущаяся исключительно во имя прав и свобод человека, без внимания к ее геостратегическому или георелигиозному исходу, попросту немислима для подавляющего большинства враждующих сторон. Конфликт, с их точки зрения, был не между диктатором и силами демократии, а между соперничающими партиями Сирии и их региональными сторонниками. Война, следовательно, должна решить, какой из основных партий Сирии удастся возобладать над другими и обрести контроль над остатками сирийской государственности. Региональные державы направляли в Сирию оружие, финансы и материально-техническую помощь на благо «своих»: Саудовская Аравия и страны Персидского залива снабжали суннитов; Иран поддерживал Асада через «Хезболлу». Когда боевые действия зашли в тупик, все чаще стали проявлять себя радикальные

группы, которые творили чудовищные зверства, напрочь игнорируя «прекраснодушные разговоры» о правах человека.

Тем временем соперничество обернулось перерисовкой политической карты Сирии – а возможно, и региона в целом. Сирийские курды создали автономное образование у турецкой границы, планируя когда-нибудь объединиться с курдской автономией в Ираке. Общины друзов и христиан, опасаясь, что к ним отнесутся так, как «Братья-мусульмане» в Египте отнеслись к тамошним национальным меньшинствам, не поддержали смену правящего режима или предпочли замкнуться в своих сообществах. Джихадистское ИГИЛ, намеренное восстановить халифат на территориях, отвоеванных у Сирии и в Западном Ираке, не сумело доказать свое преимущество силой.

Основные участники схватки обнаружили, что втянулись в битву за выживание – или, как уверяют некоторые джихадисты, в конфликт, предвещающий апокалипсис. Когда Соединенные Штаты отказались от военной операции, сирийцы решили, что либо Америка умело скрывает собственные планы – например, сделку с Ираном, – либо попросту не заинтересована в поддержании баланса сил на Ближнем Востоке. В довершение всего, в 2013 году Саудовская Аравия отказалась от переходящего места в Совете Безопасности ООН – объяснение гласило, что, поскольку традиционные арбитры порядка не желают вмешиваться, саудовцы будут преследовать собственные цели.

Америка призывала мир уважать стремление сирийского народа к демократии и соблюдать международные запреты на применение химического оружия, а другие великие державы (Россия и Китай) настаивали на необходимости следовать вестфальскому принципу невмешательства. Восстания в Тунисе, Египте, Ливии, Мали, Бахрейне и Сирии они рассматривали главным образом через призму региональной стабильности и учитывали настроения в своих беспокойных мусульманских областях. Сознавая, что наиболее опытные и «упертые» суннитские боевики являются ревностными джихадистами и состоят в союзе с «Аль-Каидой» (или, как в случае ИГИЛ, прибегают к тактике, которую даже «Аль-Каида» считает экстремистской), эти страны опасались безоговорочной победы противников Асада. Китай заявил, что не поддерживает ни одну из противоборствующих сторон, однако «судьбу Сирии должен решать

сирийский народ», а не иностранные армии. Россия, формальный союзник Сирии, заинтересована в сохранении власти Асада и, в меньшей степени, в выживании Сирии как единого государства. При отсутствии международного согласия и расколе среди сирийской оппозиции, восстание во имя демократических ценностей переродилось в одну из главных гуманитарных катастроф начала двадцать первого века, сопровождаемую крушением регионального порядка.

Эффективная региональная или международная система безопасности смогла бы предотвратить катастрофу или, по крайней мере, сократить ее масштабы. Но национальные интересы оказались слишком разными, а расходы на стабилизацию – слишком крупными. Решительное вмешательство извне на ранней стадии конфликта, возможно, утихомирило бы противников, но потребовало бы долгосрочного и значительного военного присутствия. С учетом ситуации в Ираке и Афганистане Соединенные Штаты не отважились на подобный шаг в одиночку. Политический консенсус в Ираке мог бы остановить войну на сирийской границе, но «сектантские» действия Багдада и региональных администраций этому воспрепятствовали. Кроме того, международное сообщество могло бы наложить эмбарго на поставки оружия правительству Сирии и ополченцам-джихадистам. Увы, здесь столкнулись несовместимые цели постоянных членов Совета Безопасности ООН. Если же порядок не удастся обеспечить согласием или навязать силой, он будет выкован катастрофой, хаосом – и ценой бесчисленных жертв.

Палестинский вопрос и международный порядок

На фоне всех перечисленных потрясений на Ближнем Востоке продолжается мирный процесс – уже много лет, иногда спонтанно, иногда интенсивно, – призванный завершить арабо-израильский конфликт, который десятилетиями балансировал на грани взрыва. Четыре войны, многочисленные локальные стычки, постоянное стремление любого радикального исламиста и джихадиста взяться за оружие... Само существование Израиля и его военная доблесть воспринимаются многими арабами как вызов. Для некоторых, однако, приверженность доктрине абсолютного и «безотзывного» владения

исламскими территориями обернулась осознанием необходимости сосуществовать с Израилем; кто-то видит в этом суровую реальность, а кто-то по-прежнему – отрицание веры.

Немногие темы мировой политики привлекают больше внимания, чем постоянное стремление Израиля обезопасить себя, неумное желание палестинцев создать собственное государство и попытки соседних арабских стран выработать политику, в которой будут сочетаться исторические и религиозные императивы. Участники процесса проделали долгий и мучительный путь – от неприятия и войны до вынужденного сосуществования, в основном на основе перемирий; а что будет дальше, никто не знает. И мало какие международные проблемы вызывают столь сильную озабоченность Соединенных Штатов или удостоиваются такого внимания американских президентов.

Напряжение нарастало сразу по нескольким линиям, и каждая из них подробно освещена в специальной литературе. Стороны конфликта оттачивали свои аргументы на протяжении десятилетий судорожных переговоров. В этой книге речь идет всего об одной линии напряженности – о конфликтующих концепциях мира и порядка.

Два поколения арабов выросли в убеждении, что Государство Израиль является незаконным узурпатором мусульманского наследия. В 1947 году арабские страны отвергли план ООН по разделению британского мандата Палестина на арабское и еврейское государства; они полагали, что в состоянии «взять свое» военной силой и претендовали на всю территорию мандата. Неудачная попытка уничтожить новообразованное Государство Израиль не привела к политическому урегулированию и к установлению межгосударственных отношений, как это произошло, например, в ходе большинства других постколониальных конфликтов в Азии и Африке. Вместо этого начался длительный период политического соперничества и краткосрочных перемирий, прерываемых терактами радикальных групп, которые мечтают «поставить Израиль на колени».

Политики стремились погасить пламя конфликта переговорами в интересах мира на основе вестфальских принципов, то есть заключить мир между народами, представляющими суверенные государства, каждое из которых трезво и здраво оценивает собственные национальные интересы и возможности, а не подчиняется слепо

религиозным императивам. Анвар Садат осмелился выйти за рамки этого противостояния и заключить мир с Израилем на основе национальных интересов Египта в 1979 году; за это соглашение он заплатил жизнью, погиб два года спустя в результате заговора радикально настроенных исламистов из числа египетских офицеров. Та же участь постигла Ицхака Рабина, первого премьер-министра Израиля, подписавшего соглашение с Организацией освобождения Палестины: он был убит израильским студентом-экстремистом через четырнадцать лет после гибели Садата.

В Ливане, Сирии и на палестинских территориях, особенно в секторе Газа, военная и политическая власть в настоящее время в значительной степени принадлежит радикальным исламистам – группировки «Хезболла» и ХАМАС проповедуют джихад как священный долг мусульман, призывая покончить, как они выражаются, с «сионистской оккупацией». Правящий режим аятолл в Иране регулярно оспаривает сам факт существования Израиля; бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад открыто говорил, что евреев следует истребить.

Можно выявить по меньшей мере три точки зрения в отношении арабов к Израилю. Малая, крепкая, но не слишком заметная группа принимает сосуществование с Израилем как данность и готова сотрудничать. Другая, куда более многочисленная группа, – стремится уничтожить Израиль через постоянную конфронтацию. Третья группа готова вести переговоры с Израилем, но оправдывает свою готовность – во всяком случае, для внутреннего рынка – планом поэтапного «вытеснения» еврейского государства.

Израиль, страна с небольшим населением (по сравнению с соседями) и территорией шириной всего 9,3 мили в самом узком месте и около 60 миль в самом широком, неохотно делится землями, особенно в районах, прилегающих к крупным населенным пунктам, поскольку справедливо опасается ненужных прецедентов. Поэтому на переговорах он упирает на юридическое обоснование безопасности и политические гарантии, которые сочетают теоретический размах (и скрупулезны до мелочей) и тенденцию укреплять те самые угрозы мирному процессу, каковые вроде бы нужно преодолеть.

В арабском мире решение палестинской проблемы уже не видится неотложным делом – хотя, конечно, остроты она ничуть не утратила.

Ключевые участники мирного процесса отвлекаются на переговоры по ядерной программе Ирана и о влиянии последнего на ситуацию в регионе в целом. Это сказывается на мирном процессе двояко: возрастает дипломатическая роль таких стран, как Египет и Саудовская Аравия; что еще более важно, эти страны изъявляют готовность выступать гарантами соблюдения условий мирного договора. Палестинские лидеры сами по себе с подобной задачей не справятся, им требуются одобрение и активная поддержка региональных правительств. На момент написания этих строк ключевые арабские государства либо увязли в гражданских войнах, либо погрязли в противостоянии суннитов и шиитов – либо все больше опасаются Ирана. Тем не менее палестинский вопрос придется решать рано или поздно, поскольку он является важнейшим элементом регионального и, в конечном счете, мирового порядка.

Некоторые арабские лидеры предлагают заключить такой мир с Израилем, который позволит учесть безопасность Израиля и примирит арабов с фактом существования еврейского государства, но лишит его легитимности «пребывания» на исламском Ближнем Востоке. Основное же требование Израиля сводится именно к гарантиям того, что соглашение о мире подразумевает моральное и правовое признание арабами еврейского государства. Таким образом, Израиль, выходя за пределы вестфальских принципов, настаивает на полном признании – а это нелегко для большинства мусульман, поскольку идет вразрез с религиозными императивами (и вытекающими из них территориальными «амбициями»).

Несколько арабских государств заявили о своей готовности установить дипломатические отношения с Израилем, если он вернется в границы 1967 года – на линию прекращения огня в войне, которая закончилась полвека назад. Но реальная проблема в том, что скрывается за термином «дипломатические отношения» в плане конкретных действий. Положит ли дипломатическое признание Израиля конец пропагандистской кампании в арабских СМИ и арабских школах, где убеждают, что Израиль – олицетворение «коварного империализма», главный злодей региона? Какое правительство, напуганное «арабской весной», окажется в состоянии публично одобрить и реально гарантировать мир, который будет

соответствовать требованиям Израиля? Именно это, а не «ярлык» на Государстве Израиль определяет перспективы мира.

Конфликт двух концепций мироустройства находит отражение в палестинском вопросе. Израиль является по определению вестфальским государством, основанным как таковое в 1947 году; Соединенные Штаты Америки, его главный союзник, выступают гарантом и основным защитником вестфальского международного порядка. Но ключевые страны и группировки Ближнего Востока воспринимают международный порядок в большей или меньшей степени с точки зрения ислама. Вражда Израиля с соседями уходит корнями в географию и историю: доступ к воде и ресурсам, конкретные договоренности, проблема беженцев... В других регионах сопоставимые конфликты обычно решаются дипломатическим путем. В этом смысле вопрос сводится к возможности сосуществования двух концепций мироустройства, двух государств – Израиля и Палестины – на относительно узком пространстве между рекой Иордан и Средиземным морем. Так как каждая квадратная миля имеет для обеих сторон огромное значение, возможно, понадобятся некие «промежуточные» соглашения – для того чтобы, как минимум, реализовать на практике принцип сосуществования, когда часть Западного берега получит «подвешенный» суверенитет в ожидании финального договора.

По мере продолжения переговоров политическая и философская эволюция Ближнего Востока спровоцировала противоречия в западном мире. Соединенные Штаты тесно сотрудничают со всеми ключевыми членами ближневосточного порядка: Израиль – союзник, Саудовская Аравия – партнер, Египет – под покровительством США. Региональный порядок развивается, когда ключевые игроки принимают равнозначные меры в ситуациях, их затрагивающих. Увы, эта «когерентность» пока так и не реализована на Ближнем Востоке. Ключевые игроки демонстрируют различные подходы к трем основным вопросам: внутреннее развитие; политическое будущее палестинцев; будущее иранской ядерной программы. Некоторые, соглашаясь с конечными целями, не в состоянии их объединить. К примеру, Израиль и Саудовская Аравия имеют общую цель – предотвратить дальнейшее развитие иранской ядерной программы и не допустить появления у Ирана ядерного оружия, причем любыми

способами. Однако разная трактовка легитимности и саудовское желание добиться общего согласия арабов мешают публично признать наличие общей цели или хотя бы намеками ее обозначить. Вот почему обширные территории региона до сих пор разрываются между страхом перед джихадом и боязнью столкнуться с некоторыми из его причин.

Последствия религиозного и политического конфликта, описанного в этом очерке, видятся никак на первый взгляд не связанными между собой. Но на самом деле они отражают непрестанные поиски нового определения политической и международной легитимности.

Саудовская Аравия

Есть некоторая доля исторической иронии в том, что среди наиболее важных союзников западных демократий на протяжении всех этих ближневосточных катаклизмов была страна, чьи внутренние практики почти полностью расходятся с западными, – Королевство Саудовская Аравия. Эта монархия выступала партнером Запада, порою, так сказать, закулисным – и всегда надежным, – в большинстве крупных проектов региональной безопасности после Второй мировой войны, когда она примкнула к союзникам. Именно особый характер вестфальской государственной системы позволил обеспечить сотрудничество столь непохожих друг на друга обществ, во имя общих целей и с использованием формальных механизмов, к значительной взаимной выгоде. И наоборот, возникающее время от времени напряжение в отношениях связано с формированием нового, современного миропорядка.

Королевство Саудовская Аравия представляет собой традиционную арабо-исламскую структуру – племенную монархию и исламскую теократию. Две основные династии, действующие совместно с восемнадцатого века, образуют ядро управления. Политическую иерархию возглавляет монарх из семьи Аль-Сауд, который повелевает многоуровневой сетью племенных отношений, основанных на древних узах лояльности и взаимных обязательств, и контролирует внутреннюю и внешнюю политику королевства. Религиозную иерархию возглавляют великий муфтий и совет старейшин, главным образом из семьи Аль аш-Шейх. Король принимает на себя функции покровителя религии, именуется поэтому «Хранителем двух священных мечетей» (в Мекке и Медине) – и невольно заставляет вспомнить императоров Священной Римской империи, носивших титул «Защитник веры».

Религиозный пыл и чистота веры характерны для всего исторического опыта Саудовской Аравии. Трижды на протяжении трех веков (в 1740-х годах, в 1820-х и в начале XX века) саудовское государство создавалось или объединялось названными выше семьями и в каждом случае подтверждало свою готовность оберегать прародину ислама и мусульманские святыни, причем соблюдая

максимально строгие интерпретации принципов этой религии. Саудовские войска волнами накатывали на пустыни и горы Аравийского полуострова, и эти волны были поразительно схожи с первой волной «священной войны», которая способствовала возникновению исламской государственности как таковой на той же самой территории. Религиозный абсолютизм, воинская доблесть и разумный, современный подход к государственному управлению породили это королевство в «сердце» мусульманского мира и сделали его принципиально значимым для судьбы этого мира.

Нынешняя Саудовская Аравия возникла из турецкой провинции после Первой мировой войны, когда Ибн Сауд объединил разрозненные феодальные принципаты, разбросанные по Аравийскому полуострову, и удержал их вместе клятвами патриархальной верности и религиозными обетами. С тех пор королевская семья добилась многого. Она управляет племенами, ведущими традиционный кочевой образ жизни и лояльными королю, а также городским населением (стоит отметить, что в некоторых случаях численность этого населения превосходит численность населения западных мегаполисов, пусть местные города и встают, как миражи, посреди бесплодного плато). Нарождающийся средний класс формируется в условиях многовековой полуфеодальной традиции личных обязательств. В рамках чрезвычайно консервативной политической культуры правящие принцы сумели сочетать монархию с «системой консенсуса», когда все многочисленные члены королевской семьи имеют право голоса в принятии решений, да и рядовым гражданам со временем предоставили возможность участия в общественной жизни.

Миллионы иностранных рабочих – палестинцев, сирийцев, ливанцев, египтян, пакистанцев и йеменцев – составляют трудовую «мозаику» королевства, скрепленную узами ислама и уважения к традиционной власти. Каждый год несколько миллионов мусульман со всего мира прибывают в Саудовскую Аравию, совершая хадж – паломничество в Мекку для исполнения обрядов, некогда установленных самим Пророком. Это «подтверждение» веры, обязательное для дееспособных правоверных (такой мусульманин должен совершить хадж хотя бы раз в жизни), придает Саудовской Аравии уникальное религиозное значение – равно как и ставит перед серьезнейшим ежегодным логистическим вызовом, с подобным

которому не сталкивается никакое другое государство. Открытие огромных запасов нефти на территории страны сделало Саудовскую Аравию очевидным «магнатом» региона – и в некоторой степени представляет угрозу безопасности страны, учитывая малую плотность населения, отсутствие естественных сухопутных границ и сам факт существования суннитского государства с шиитским меньшинством в ключевом нефтедобывающем регионе.

Саудовские правители сознают, что соседская зависть вполне может трансформироваться в попытку завоевания – или, в эпоху революций, – в потенциальное спонсорство политических и религиозных смут. Анализируя события в близлежащих странах, они неизбежно испытывают двойственные чувства в отношении экономической и социальной модернизации: отсутствие реформ может оттолкнуть молодежь, но реформы, предпринятые слишком быстро, способны выйти из-под контроля и в конечном счете поставить под угрозу сплоченность страны, до сих пор знавшей только консервативную монархию. Династия пытается возглавить процесс социально-экономических изменений – в рамках существующих институтов – именно для того, чтобы контролировать темпы и «содержание» перемен. Эта тактика позволила семейству Аль-Сауд проводить ровно столько реформ, сколько требуется, чтобы предотвратить нарастание взрывоопасной социальной напряженности, избегая дестабилизирующих последствий чрезмерно ускоренного реформирования.

Саудовская внешняя политика, на протяжении большей части существования современного саудитского государства, характеризовалась осторожностью и возведением уклончивых ответов в ранг особого дипломатического искусства. Ведь если королевство станет проводить прямолинейную политику, если «произведет» себя в средоточие всех споров, оно подвергнется давлению, угрозам и воздействию гораздо более могущественных стран, совокупное влияние которых чревато проблемами с суверенитетом и единством Саудовской Аравии. И потому власти страны добиваются безопасности и авторитета через отстраненность: даже в разгар кризисов – порой претворяя в жизнь смелые планы, которые, конечно, ощущаются по всему миру, – они почти всегда придерживаются тактики скрытности и непубличности. Саудовская Аравия прячет свою уязвимость за

умолчаниями, маскирует неуверенность в мотивациях «сторонних» стран отстраненностью, одинаково невосприимчивой к политическому красноречию и к прямым угрозам.

Королевство маневрирует, чтобы не оказаться на передней линии конфронтации, пусть даже его ресурсы позволяют иное, как это было с нефтяным эмбарго 1973 года, а также в ходе антисоветского джихада в Афганистане в 1979–1989 годах. Саудовская Аравия способствует мирному процессу на Ближнем Востоке, но оставляет конкретные переговоры другим. Таким образом она лавирует между основными «полюсами силы» – дружит с США, соблюдает «всеарабскую лояльность», придерживается строгой интерпретации ислама и уделяет необходимое внимание внутренним и внешним опасностям. В эпоху джихада, революционных потрясений и очевидного ухода Америки из региона некоторыми прежними принципами скрытности она пожертвовала ради более прямого подхода, что продемонстрировали ее враждебность и страх перед шиитским Ираном.

Ни одно государство Ближнего Востока не испугалось сильнее исламистских революций и укрепления позиций обновленного Ирана, нежели Саудовская Аравия, раздираемая противоречиями между официальной приверженностью вестфальским концепциям, которые лежат в основе ее безопасности и международного признания в качестве легитимного суверенного государства, религиозным пуризмом, «унаследованным» с древних времен, и призывами радикальных исламистов, которые нарушают внутреннюю сплоченность (и угрожают самому существованию королевства, что показал захват Большой мечети в Мекке фанатиками-салафитами в 1979 году).

В 1989 году один из «отвергнутых сыновей» королевства, Усама бен Ладен, вернулся из Афганистана, где он воевал с Советами, и сформулировал новые цели. Следуя заповедям Кутба, он и его сторонники основали ультрарадикальную организацию «Аль-Каида» («Основа»), которая провозгласила всемирный джихад. Его ближними целями были определены правительство Саудовской Аравии и ее региональные партнеры; дальним врагом признали США, которых «Аль-Каида» упрекала в поддержке не соблюдающих шариат государств Ближнего Востока и в «осквернении» ислама развертыванием американских военных подразделений в Саудовской

Аравии^[70] в ходе войны в Персидском заливе в 1990–1991 годах. По бен Ладену, борьба между истинной верой и миром неверных является экзистенциальной и идет вовсю. Несправедливость в мире достигла той степени, когда мирные средства становятся бесполезными; теперь нужны убийства и терроризм, которые вселят страх во врагов «Аль-Каиды», ближних и дальних, и подорвут их волю к сопротивлению.

Амбициозная кампания началась с нападений на американские и союзные объекты на Ближнем Востоке и в Африке. Нападение на Всемирный торговый центр в 1993 году показало глобальные амбиции организации. 11 сентября 2001 года стало кульминацией этих амбиций: «Аль-Каида» нанесла удары по Нью-Йорку, мировому финансовому центру, и по Вашингтону, средоточию политической мощи Америки. Этот теракт на сегодня – самый кровавый в истории: 2977 человек, почти все гражданские, погибли на месте; тысячи других были ранены или получили тяжелые увечья. Усама бен Ладен предварил нападение своим заявлением, в котором изложил задачи «Аль-Каиды»: Запад надлежит изгнать с Ближнего Востока; те правительства, которые сотрудничают с Америкой, будут свергнуты, а их политические сателлиты – презрительно поименованные «незаконнорожденными бумажными отпрысками» сферы влияния западных держав, – просто распущены; вместо них возникнет новый исламский халифат, который восстановит ислам во всем его величии седьмого века. Фактически бен Ладен объявил войну мировому порядку.

На сей раз у Саудовской Аравии не получилось остаться в стороне: после неудачной попытки «Аль-Каиды» свергнуть династию Аль-Сауд в 2003 году страна сделалась одним из наиболее суровых противников террористической организации. Какое-то время удавалось обеспечить безопасность, сочетая вестфальские принципы и исламский порядок. Тем не менее важнейшая стратегическая ошибка династии Саудитов состояла в том, что они были уверены – приблизительно с 1960-х до 2003 года – в своей способности контролировать радикальный исламизм и манипулировать исламистами за рубежом, не «покушаясь» на позиции исламизма дома. Спровоцированный «Аль-Каидой» мятеж в королевстве в 2003 году показал фатальную ущербность подобной стратегии, которую династия в итоге откинула в пользу эффективной контрповстанческой кампании во главе с представителем младшего поколения, принцем Мухаммадом бен Наифом (затем – министром

внутренних дел). Тем не менее положение династии остается непрочным. Всплеск джихадизма в Ираке и Сирии сулит продолжение атак на саудитскую власть.

Саудовская Аравия придерживается курса столь же комплексного, сколь комплексны проблемы, стоящие перед ней. Королевская семья считает, что безопасность страны и национальные интересы требуют конструктивных отношений с Западом и участия в глобальной экономике. Тем не менее, будучи родиной ислама и «хранителем святынь», Саудовская Аравия не может себе позволить даже мало-мальских нарушений исламской ортодоксии. Она пытается «вместить» возрождающийся радикальный исламистский универсализм в непрочную амальгаму современной государственности и вестфальских принципов международного порядка, опираясь на практики ваххабизма, пожалуй, наиболее фундаменталистской версии ислама, и субсидируя ваххабитов по всему земному шару. Время от времени это приводит к сомнительным, мягко говоря, результатам. Дипломатически Саудовская Аравия является полноправным партнером Соединенных Штатов, но духовно поддерживает ту форму ислама, которая противоречит современным тенденциям и подразумевает вражду с немусульманским миром. Финансируя медресе (религиозные школы), где преподают аскетический ваххабизм, саудовцы не только исполняют свои мусульманские обязанности, но и принимают меры предосторожности – пусть ваххабиты проповедуют за рубежом, а не в границах королевства. В итоге возникли непредвиденные последствия: джихадистский пыл ныне угрожает саудовскому государству и его союзникам.

Стратегия «принципиальной двусмысленности» была эффективной, пока суннитские государства в основном управлялись военными режимами. Но едва появилась «Аль-Каида», теократический Иран установил владычество над воинствующим революционным лагерем, а «Братья-мусульмане» устремились во власть в Египте и в других странах региона; и Саудовская Аравия столкнулась сразу с двумя формами гражданской войны на Ближнем Востоке, причем обоим войнам содействовал ее собственный прозелитизм (пусть и непреднамеренный): войны между мусульманскими странами – членами вестфальской системы и исламистами, которые видят в государственности и в сегодняшних преобладающих институтах

международного порядка «надругательство над Кораном», а также войны между шиитами и суннитами, когда Иран и Саудовская Аравия выступают как лидеры противоборствующих сторон.

Это соперничество будет разворачиваться на фоне двух других, причем каждое из них чревато специфическими угрозами для регионального порядка: речь об американских военных операциях по свержению одиозных диктатур в Ираке и Ливии, при политическом давлении со стороны США, ратующих за «преображение Большого Ближнего Востока»; не менее острым видится возрождение вражды суннитов и шиитов, наиболее разрушительно проявившей себя в ходе войны в Ираке и сирийского конфликта. В каждом случае параллельные интересы Саудовской Аравии и США трудно разделить.

Что касается регионального лидерства, баланса сил и «доктринального» превосходства, Саудовская Аравия считает угрозой для себя шиитский Иран – как религиозный и как империалистический феномен. Саудовская Аравия воображает «архипелаг» шиитов во главе с Тегераном, распространяющий власть и влияние шиизма от афганской границы и Ирана через Ирак, Сирию и Ливан до Средиземного моря; столкновение с суннитским порядком – Египет, Иордания, страны Персидского залива и Аравийского полуострова – кажется неизбежным (не забудем и настороженное партнерство с Турцией).

Отношение Америки к Ирану и Саудовской Аравии, следовательно, не может быть сведено к обыкновенному «исчислению» баланса сил или к вопросам демократизации; его нужно сформулировать с учетом прежде всего религиозного соперничества между двумя ветвями ислама, длящегося уже тысячу лет. Соединенные Штаты и их союзники должны тщательно выстраивать свое поведение. Давление на регион неизбежно скажется на хитроумной системе отношений, лежащей в основе могущества королевства, управляющего святынями ислама. Любое восстание в Саудовской Аравии повлечет за собой серьезные последствия для мировой экономики, для будущего мусульманского мира и для мира во всем мире. Учитывая опыт революций в других арабских странах, Соединенные Штаты не могут исходить из убеждения, что демократическая оппозиция ждет своего часа, чтобы править Саудовской Аравией в соответствии с принципами, более «адекватными» для Запада. Америка должна

достичь единого понимания со страной, которая является «главным призом» как суннитов, так и шиитов, мечтающих о джихаде, со страной, чьи усилия, сколь угодно закулисные, принципиально важны для конструктивного развития региона.

Конфликт Саудовской Аравии с Ираном – экзистенциальный. На кону стоит выживание монархии, легитимность государства и даже будущее ислама. Поскольку Иран продолжает двигаться в направлении превращения в доминирующую силу региона, Саудовская Аравия будет как минимум стремиться укрепить собственный авторитет для поддержания баланса. С учетом того, что поставлено на карту, словесных заверений явно недостаточно. В зависимости от результата переговоров по иранской ядерной программе Саудовская Аравия, вероятно, постарается создать собственный ядерный арсенал в той или иной форме: или приобретет боеголовки у какой-либо из ядерных держав, предпочтительно исламской (например, у Пакистана), или профинансирует разработку в какой-то другой стране (своего рода страховой полис). А поскольку, как считают в Саудовской Аравии, Америка уходит из региона, она вполне может задуматься над построением регионального порядка с привлечением иной внешней силы – возможно, Китая, Индии или даже России. Напряженность, беспорядки и насилие, нарушающие покой Ближнего Востока в первые два десятилетия двадцать первого века, следует трактовать как проявления гражданской и религиозной розни, суть которой заключается в том, чтобы определить, примет ли регион (и если да, то в каком виде) какую-либо из «больших» концепций международного порядка. Многие зависят от ресурсов, желания и воли Соединенных Штатов, которые в состоянии помочь в достижении результата, удовлетворяющего американским интересам, равно как и интересам Саудовской Аравии и ее союзников, совместимого с их безопасностью и фундаментальными принципами.

Упадок государства?

Сирия и Ирак – некогда националистические лидеры арабского мира – рискуют утратить возможность восстановить себя в статусе суверенных вестфальских государств. Их враждующие фракции ищут поддержки у союзников по всему региону и за его пределами, и это

соперничество ставит под угрозу сплоченность соседних стран. Если уж государства в самом сердце арабского мира не в состоянии установить легитимную форму правления и обеспечить постоянный надлежащий контроль над своей территорией, значит, сложившаяся после Первой мировой войны территориальная система Ближнего Востока вплотную приблизилась к гибели.

Конфликты в Сирии и Ираке и в прилегающих районах, таким образом, наглядно демонстрируют зловещую новую тенденцию: налицо распад государственности, появление племенных и религиозных структур, игнорирующих нынешние границы, непрерывные споры и войны, в том числе инспирированные извне, нежелание соблюдать какие-либо правила, кроме закона превосходящей силы – того самого, который Гоббс мог бы назвать «природным состоянием».

После революции или смены режима, при отсутствии новой власти, которую признает легитимной подавляющее большинство населения, бесчисленные партии и группировки будут и далее соперничать в вооруженных конфликтах; некоторые области таких стран могут столкнуться с анархией, с непрекращающимися бунтами и восстаниями, либо объединиться с областями другого распадающегося государства. Существующему центральному правительству недостает желаний или сил удержать под контролем приграничные регионы и усмирить радикальные общественные организации наподобие «Хезболлы», «Аль-Каиды», ИГИЛ или «Талибана». Именно это произошло в Ираке и Ливии – и, кажется, вот-вот случится в Пакистане.

Отдельные государства в их нынешнем виде могут быть управляемыми лишь частично – способами, которые в Америке вряд ли признают легитимным. В некоторых случаях подобные затруднения возможно преодолеть за счет движения в сторону либерализации внутренней политики. Тем не менее, когда внутренние фракции поддерживают различные концепции мирового порядка или считают себя участниками экзистенциальной борьбы за выживание, американские призывы завершить боевые действия и создать демократическое коалиционное правительство обычно либо парализуют систему управления (как в шахском Иране), либо игнорируются (пример – египетское правительство генерала Ас-Сиси,

усвоившее «уроки» своих предшественников и теперь отступающее от традиционного альянса с США ради свободы маневра). В таких условиях Америка вынуждена принимать решения, наилучшие для безопасности и морали в данный момент, – и признавать, что они все равно далеки от совершенства.

В Ираке свержение жестокой суннитской диктатуры Саддама Хусейна породило стремление не столько к демократии, сколько к мести – различные группировки рвались «отомстить за все», консолидируясь на религиозной основе и создавая автономные структуры, противостоящие всем прочим. В Ливии (а это огромная страна с относительно малым населением, раздираемая религиозными распрями и племенной враждой, причем у нее нет общей истории, не считая периода итальянского владычества) свержение кровавого диктатора Каддафи привело к полному уничтожению общенационального управления. Племена и регионы вооружались, чтобы отвоевать самостоятельность или подчинить себе соседние области. Временное правительство в Триполи заручилось международным признанием, но его власть (если тут вообще можно говорить о власти) не распространяется за пределы города. Страну заполонили экстремистские группировки, несущие идеи джихада в соседние страны, особенно в Африке, посредством оружия из арсеналов Каддафи.

Когда государства не управляются в полной мере, международный и региональный порядки начинают распадаться. На картах все чаще возникают «белые пятна», обозначающие «территории беззакония». Крах государственности может превратить территорию страны в оплот терроризма, очаг поставки вооружений и подрывной деятельности. Зоны «самоуправства» (или джихада) ныне отмечаются во всем мусульманском мире, они есть в Ливии, Египте, Йемене, секторе Газа, Ливане, Сирии, Ираке, Афганистане, Пакистане, Нигерии, Мали, Судане и Сомали. Если же принять во внимание события в Центральной Африке, где длящаяся которое десятилетие гражданская война в Конго затронула все соседние государства, а конфликты в Центрально-Африканской Республике и в Южном Судане угрожают распозлзтись аналогичными метастазами, можно заключить, что значительная часть мировой территории с немалым населением

находится на грани выпадения из международной государственной системы.

Чем явственнее подобный финал, тем больше ситуация на Ближнем Востоке напоминает религиозные конфронтации в Европе, предшествовавшие вестфальским соглашениям (только в более крупных масштабах). Внутренние и международные конфликты усугубляют друг друга. Политические, религиозные, племенные, территориальные, идеологические споры и соперничество во имя традиционных национальных интересов сливаются в единый конфликт. Религия «вооружается» и служит геополитическим целям; гражданское население принимаются истреблять по признаку религиозной принадлежности. Там, где государство еще способно сохранить власть, эта власть отказывается от каких-либо ограничений, оправдывая такой шаг потребностью в выживании; там, где государства распадаются, начинают противоборствовать местные группировки и соседние страны, и власть – увы, слишком часто – достигается через полное пренебрежение к человеческому благополучию и достоинству.

Конфликт, который разворачивается на наших глазах, является одновременно религиозным и геополитическим. Суннитский блок, состоящий из Саудовской Аравии, стран Персидского залива и в некоторой степени Египта с Турцией, противостоит блоку во главе с шиитским Ираном, который поддерживает Башара аль-Асада в Сирии, власть Нури аль-Малики в Центральном и Южном Ираке, ополченцев «Хезболлы» в Ливане и ХАМАС в секторе Газа. Суннитский блок спонсирует восстание в Сирии против Асада и мятежи в Ираке против Малики; чтобы нарушить внутреннюю легитимность региональных конкурентов, Иран, стремящийся к региональному господству, использует «негосударственных агентов», которые связаны с Тегераном идеологически.

Участники конфликта, разумеется, ищут поддержки извне – в особенности ждут помощи от России и США, буквально мечась между ними. Цели России выглядят в значительной степени стратегическими: как минимум предотвратить проникновение сирийских и иракских джихадистов на свои мусульманские территории, а в глобальном масштабе – укрепить собственные позиции в отношении США (и нивелировать последствия войны 1973 года, описанные выше).

Америка же громогласно осуждает Асада по моральным соображениям – и вполне обоснованно, однако ее основными противниками являются «Аль-Каида» и прочие ультрэкстремистские группировки, которым Соединенные Штаты противостоят стратегически. Ни Россия, ни США пока не определились, сотрудничать ли им или дипломатически соперничать, хотя события на Украине способны разрешить эту амбивалентность и возродить напряженные отношения времен холодной войны. На Ирак претендует сразу несколько «групп влияния» – это Иран, Запад и различные реваншистские движения суннитов; такое уже не раз бывало в его долгой истории, просто пьесу разыгрывают новые актеры.

После горького опыта американского вмешательства – и в условиях, столь неблагоприятных для плюрализма, – велик соблазн предоставить событиям идти своим чередом и сосредоточиться на работе с государствами-преемниками. Но проблема в том, что сразу несколько потенциальных преемников объявили Америку и вестфальский миропорядок своими непримиримыми врагами.

В эпоху террористов-смертников и распространения оружия массового уничтожения развитие панрегиональных религиозных конфликтов следует трактовать как угрозу мировой стабильности; противодействие этой угрозе требует согласованных действий всех заинтересованных сторон и выработки приемлемого для всех определения, по крайней мере, регионального порядка. Если порядок не будет установлен, обширные территории могут оказаться во власти анархии и экстремизма, неумолимо проникающих в другие регионы. Именно поэтому насущным является формирование нового регионального порядка; это – задача Америки и прочих стран, обладающих глобальным видением.

Глава 4

Соединенные Штаты и Иран: взгляды на порядок

Весной 2013 года аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской Республики Иран – фигура более значимая политически, нежели все государственные министры, в том числе иранский президент и министр иностранных дел, – выступил на международной конференции мусульманского духовенства. Он провозгласил начало новой глобальной революции. События, которые в других странах называют «арабской весной», заявил он, на самом деле – «пробуждение ислама» с грандиозными последствиями для всего мира. Запад ошибается, полагая, что толпы демонстрантов ратуют за торжество либеральной демократии. Хаменеи объяснил, что демонстранты отвергают «печальный и ужасающий опыт следования Западу в политике, поведении и образе жизни», поскольку их выход на улицы есть «чудесное исполнение заповедей Аллаха»:

«Сегодня на наших глазах разворачивается картина, которую не может отрицать ни один по-настоящему сведущий человек с незашоренным взглядом. Мир ислама выходит из тени социальных и политических договоренностей сверхдержав. Этот мир нашел свое место, важное и определяющее, в центре фундаментальных событий. Он предлагает по-новому взглянуть на жизнь, на политику, на управление и социальные нужды».

По мнению Хаменеи, подобное пробуждение исламского сознания знаменует зарю глобальной религиозной революции, которая наконец-то покончит с доминированием Соединенных Штатов и их союзников и положит предел трем столетиям западного владычества:

«Исламское пробуждение, о котором высокомерные реакционеры на Западе даже не упоминают, очевидно для всех, и его признаки можно наблюдать почти во всем мусульманском мире. Наиболее показателен тот энтузиазм, с которым общественность, в особенности молодежь, приступает к возрождению славы и величия ислама, с которым она изучает основы международной системы господства и

срывает маски, обнажая бесстыдство и лицемерие правительств, что продолжают оказывать давление на исламский и неисламский Восток».

После «краха коммунизма и либерализма» и на фоне упадка могущества Запада исламское пробуждение отзовется во всем мире; Хаменеи посулил глобальное объединение мусульманской уммы (создание транснациональной общины верующих) и восстановление ее центрального положения:

«Конечной целью может быть только создание великой исламской цивилизации. Все составные части Исламской уммы – в форме разных наций и стран – должны стремиться к тому результату, который изложен в Священном Коране... Благодаря истинной вере, знаниям, морали и постоянной борьбе исламская цивилизация может одарить мир передовыми достижениями мысли, установить благородные нормы поведения для уммы и для всего человечества, может стать стимулом к освобождению от материалистических и репрессивных взглядов и коррупционной политики, которые лежат в основе современной западной цивилизации».

Хаменеи высказывался на эту тему и ранее. Как он сообщил делегатам съезда иранских военизированных формирований в 2011 году, протесты на Западе свидетельствуют о глобальном духовном голоде и поисках легитимности, воплощенной в иранской теократии. Мировая революция не за горами:

«События в США и Европе предполагают грандиозные перемены, которые мир увидит в ближайшем будущем... Сегодня лозунги египтян и тунисцев повторяют в Нью-Йорке и Калифорнии... Исламская Республика ныне является фокусом пробуждающегося стремления народов, и именно эта реальность так расстраивает наших врагов».

В любом другом регионе подобные заявления воспринимались бы как революционный вызов: теократ, обладающий верховной духовной и светской властью и представляющий важного игрока на мировой арене, публично озвучивает проект строительства альтернативного

мирового порядка, опровергающий тот, который признан мировым сообществом. Ведь фактически лидер Ирана заявил, что универсальные религиозные принципы, а отнюдь не национальные интересы и не либеральный интернационализм будут доминировать в новом мире, возникновение которого он предрек. Озвучь такие мысли азиатский или европейский лидер, они бы вызвали шок. Однако тридцать пять лет аналогичных лозунгов приучили мир к радикализму иранского руководства на словах и в делах. Со своей стороны Иран сочетает оспаривание современности с тысячелетней традицией исключительно тонкого государственного управления.

Традиция иранской государственности

Первое практическое воплощение радикальных исламистских принципов в качестве государственной доктрины случилось в 1979 году, в столице страны, от которой этого меньше всего ожидали, — страны, в отличие от большинства ближневосточных государств, имевшей долгую и великую историю и всегда выказывавшей уважение к своему доисламскому прошлому. Поэтому когда Иран, пребывавший в статусе легитимного государства вестфальской системы, внезапно превратился в поборника радикального ислама после революции аятоллы Хомейни, региональный порядок на Ближнем Востоке оказался низвергнут.

Среди всех стран региона Иран обладает самым, пожалуй, сплоченным чувством национальной идентичности и может похвалиться наиболее давней традицией управления с учетом национальных интересов. В то же время иранские лидеры имеют обыкновение стремиться далеко за современные границы Ирана и редко соблюдают вестфальские концепции государственности и суверенного равенства. Своим возникновением Иран обязан Персидской империи, которая, считая все ее «инкарнации», с седьмого века до нашей эры вплоть до седьмого столетия нашей эры, владела большей частью нынешнего Ближнего Востока, а также рядом территорий Центральной и Юго-Западной Азии и Северной Африки. Блистательные искусство и культура, многоуровневая бюрократия, богатый опыт управления удаленными провинциями и огромная многонациональная армия, закаленная в успешных кампаниях, —

вследствие всего этого Персия привыкла считать себя особенной, а не просто одной из многих. Персидский идеал монархии возвеличивал правителя до квазибожественного статуса как великодушного повелителя множества народов – «царя царей», вершившего правосудие и проявлявшего толерантность в обмен на мирное политическое подчинение^[71].

Персидский имперский проект, как и в классическом Китае, представляет форму мирового порядка, в которой культурные и политические достижения и психологическая уверенность играют не менее важную роль, чем традиционные завоевания. Греческий историк Геродот (пятый век до нашей эры) описывал самоуверенность народа, принявшего лучшее из иностранного опыта – мидийскую одежду, египетские доспехи – и теперь мнящего свою державу центром свершений человечества:

«Наибольшим почетом у персов пользуются (разумеется, после самих себя) ближайшие соседи, затем – более отдаленные, а потом уважением пользуются в зависимости от отдаленности. Менее же всего в почете у персов народы, наиболее от них отдаленные. Сами они, по их собственному мнению, во всех отношениях далеко превосходят всех людей на свете, остальные же люди, как они считают, обладают доблестью в зависимости от отдаленности: людей, живущих далее всего от них, они считают самыми негодными»^[72].

Это ощущение собственного превосходства сохранялось приблизительно две с половиной тысячи лет, как явствует, в частности, из текста торгового соглашения 1850 года между Соединенными Штатами и династией Сефевидов – она правила «усеченной», но все еще обширной Персидской империей, что включала в себя Иран и значительную часть современных Афганистана, Ирака, Кувейта, Пакистана, Таджикистана, Турции и Туркменистана. Даже после недавней утраты Армении, Азербайджана, Дагестана и Восточной Грузии в двух войнах с расширяющейся Российской империей шах излучал уверенность, подобающую наследнику Ксеркса и Кира:

«Президент Соединенных Штатов Северной Америки и его величество, столь же возвышенный, как планета Сатурн, государь,

которому солнце служит мерилom, чье величие и великолепие равны небесному, верховный правитель и монарх, чьи войска многочисленны, как звезды, чье величие заставляет вспомнить Джамшида, чье великолепие не уступает Дарию, наследник короны и престола Кейянидов^[73], блистательный повелитель всей Персии, будучи в равной степени заинтересованы и искренне желая установить дружеские отношения между двумя странами, каковые они хотят упрочить договором о дружбе и торговле, взаимовыгодным и полезным для населения обеих высоких договаривающихся сторон, ради этой цели назначили своих полномочных представителей...»

Расположенная на пересечении Востока и Запада и управлявшая провинциями и зависимыми территориями, что простирались от современной Ливии до Киргизии и Индии, Персия становилась то отправной точкой, то конечной целью почти всех агрессоров Евразии – со времен античности вплоть до холодной войны. Несмотря на все потрясения, она – как и Китай, переживший примерно сопоставимые испытания, – сумела сохранить ощущение идентичности. Покоряя чрезвычайно разнообразные культуры и регионы, Персидская империя принимала их достижения – и синтезировала собственную концепцию мирового порядка. Сокрушенная иноземными завоеваниями – походы Александра Македонского, первая волна распространения ислама, монгольское нашествие (эти события почти ликвидировали историю и политическую автономию других народов), – Персия все-таки сохранила убежденность в своем культурном превосходстве. Она подчинялась завоевателям в качестве временной уступки, но оберегала независимость в мировоззрении, очерчивая «великие внутренние пространства» в поэзии и мистике и чтя неразрывную связь с героическими древними правителями, упомянутыми в эпической «Книге царей» (иначе – «Шах-наме»)^[74]. Одновременно Персия накапливала опыт управления территориями и преодоления всевозможных политических вызовов, составляя «изошренный» дипломатический канон, который восхвалял умение терпеть, проницательный анализ геополитических реалий и способность психологически манипулировать противниками.

Ощущение избранности и ловкое маневрирование уцелели и в исламскую эру, когда Персия приняла религию арабских завоевателей,

но, единственная среди первой волны покоренных народов, отстояла родной язык – и наполнила новый порядок культурным наследием империи, которую мусульмане только что уничтожили. Мало-помалу Персия сделалась демографическим и культурным оплотом шиизма – поначалу она принимала «раскольников», спасавшихся от арабского большинства, а затем, с шестнадцатого века, шиизм стал государственной религией страны (отчасти персы стали шиитами, чтобы отличить и противопоставить себя крепнущей Османской империи, суннитской по вероисповеданию). В отличие от подавляющего числа суннитских интерпретаций шиитская ветвь ислама подчеркивает мистическую, невыразимую составляющую религиозного переживания и провозглашает допустимость «благоразумного сокрытия убеждений» ради реализации интересов правоверных. В культуре, религии и геополитическом позиционировании Иран (официальное название страны с 1935 года) сохраняет традицию избранности и не устает напоминать о своей особой региональной роли.

Революция Хомейни

Иранская революция двадцатого века случилась в правление шаха Резы Пехлеви и началась (во всяком случае, так ее освещали на Западе) как антимонархическая: революционеры требовали демократии и справедливого перераспределения экономических благ. Многие из претензий были вполне обоснованными, поскольку действовавшая программа модернизации усугубляла социальное неравенство, а правительство шаха деспотично контролировало инакомыслие. Но когда в 1979 году аятолла Хомейни вернулся из эмиграции (он провел много лет в Париже и в Ираке) и стал притязать на роль «верховного лидера» революции, быстро выяснилось, что его не интересуют социальные проблемы и демократическое правление: он выступал против существующего регионального порядка и самих институциональных механизмов обеспечения последнего.

Доктрина, которую принял Иран при Хомейни, радикально отличалась от всех, какие использовались на Западе после окончания религиозных войн и подписания Вестфальского договора. Доктрина Хомейни трактовала государство не как легитимное образование в собственном праве, а как подходящее оружие в условиях широкого религиозного соперничества. Карта Ближнего Востока двадцатого столетия, заявил Хомейни, является враждебной исламу фальшивкой, состряпанной «империалистами» и «своекорыстными тиранами», которые «разделили исламскую умму на части, принудительно ее разорвали и создали искусственные нации». Все современные политические институты на Ближнем Востоке и за его пределами следует признать нелегитимными, ибо они «не опираются на заповеди Аллаха». Современные международные отношения, основанные на процессуальных вестфальских принципах, строятся на ложной основе, потому что «отношения между народами должны развиваться на духовности», а не на отстаивании и соблюдении национальных интересов.

Позиция Хомейни – сопоставимая с точкой зрения Кутба – заключалась в том, что идеологически «правильное» (экспансионистское) прочтение Корана указывает путь к избавлению от всех этих «кошунств» и созданию подлинно легитимного мирового

порядка. Первым шагом станет свержение всех правящих режимов мусульманского мира и приход к власти «исламского правительства». Традиционные национальные лояльности следует отринуть, потому что «долг каждого из нас состоит в низвержении тагутов, иначе – незаконных политических сил, которые ныне властвуют в исламском мире». Создание в Иране подлинно исламской политической системы будет означать, как Хомейни заявил на торжествах в честь учреждения Исламской Республики Иран 1 апреля 1979 года, «наступление первого дня правления Аллаха».

Эта доктрина резко противоречила всем прочим современным концепциям государственного управления. Как сообщил «Нью-Йорк таймс» Мехди Базарган, первый назначенец Хомейни на пост премьер-министра: «Мы стремились... к управлению того типа, какое существовало на протяжении десяти лет при пророке Мухаммаде и еще пяти лет при его зяте Али, первом шиитском имаме». Когда управление мыслится как «боговдохновенное», инакомыслие, разумеется, воспринимается как святотатство, политическая оппозиция попросту не допускается. При Хомейни Исламская Республика Иран начала применять эти принципы на практике, отсюда волна доносов и казней, отсюда систематические репрессии в отношении религиозных меньшинств, куда более жестокие, нежели при авторитарном шахском режиме.

На фоне этих событий сформировался новый парадокс – дуалистический вызов международному порядку. Благодаря иранской революции исламистское движение, нацеленное на уничтожение вестфальской системы, получило контроль над современным государством и захватило его «вестфальские» права и привилегии – место в Организации Объединенных Наций, участие в международном торговом обороте, дипломатический статус. Таким образом, клерикальный режим Ирана поместил себя в «точку пересечения» двух мировых порядков, пользуясь доступными преимуществами вестфальской системы и одновременно отрицая ее легитимность, публично декларируя ее бессмысленность и неизбежную гибель.

Эта двойственность прочно укоренилась в государственной доктрине. Иран стал официально именовать себя Исламской Республикой, подразумевая, что не признает текущие территориальные разграничения, а духовные лидеры во главе иранской власти (сначала

Хомейни, затем его преемник Али Хаменеи) представлялись не просто политическими деятелями, но как всеобщие вожди – «верховный лидер исламской революции», «руководитель исламской уммы и всего угнетенного народа».

Исламская Республика ворвалась на мировую арену, грубо поправ основной принцип вестфальской международной системы – дипломатический иммунитет: иранцы взяли штурмом американское посольство в Тегеране и продержали его сотрудников в заложниках 444 дня (нынешнее иранское правительство гордится этим штурмом, иначе оно не назначило бы в 2014 году человека, работавшего тогда переводчиком при заложниках, послом Ирана в Организации Объединенных Наций). Далее, в 1989 году, аятолла Хомейни примерил на себя роль всемирного авторитета – он выпустил фетву (религиозное решение), содержащую смертный приговор Салману Рушди, английскому писателю и индийскому мусульманину по происхождению, за публикацию в Великобритании и США романа, который аятолла посчитал оскорбительным для мусульман.

Сохраняя «типовые» дипломатические отношения со странами, на территориях которых действовали экстремистские группировки, исламистский Иран поддерживал такие радикальные организации, как «Хезболла» в Ливане и «Армия Махди» в Ираке (вооруженные формирования, противостоявшие правительствам и регулярно прибегавшие к терактам). Стремление Тегерана к исламской революции позволяло допускать сотрудничество между суннитами и шиитами во имя создания широкой антизападной коалиции – так, Иран поставлял оружие суннитской джихадистской группировке ХАМАС, воевавшей с Израилем, а также, по мнению некоторых экспертов, снабжал талибов в Афганистане; доклад Комиссии по расследованию событий 11 сентября и отчет о раскрытии в 2013 году террористического заговора в Канаде доказывают, что в Иране нашли прибежище и боевики «Аль-Каиды»^[75].

По вопросу о необходимости свержения существующего миропорядка исламисты с обеих сторон – как сунниты, так и шииты – пребывали в согласии. Напряженность в отношениях суннитов и шиитов на Ближнем Востоке в начале двадцать первого века может быть сколь угодно велика, но в восприятии идей Саида Кутба они чрезвычайно близки, – а эти идеи практически идентичны тем,

которые озвучивали иранские аятоллы. Утверждение Кутба, что ислам со временем установит новый порядок и будет доминировать в мире, соответствовало убеждениям людей, которые швырнули Иран в пучину религиозной революции. Тексты Кутба активно распространяются в Иране, некоторые из них лично перевел аятолла Али Хаменеи. Как писал Хаменеи в 1967 году, в предисловии к работе Кутба «Будущее веры»:

«Этот пронизательный и великий автор попытался в своей книге... показать суть веры как таковой, а затем, сформулировав это, составить программу жизни... [подтвердить] своим красноречивым стилем и самим мировоззрением, что в конечном счете мировое правительство должно быть нашим и что будущее принадлежит исламу».

Для Ирана, олицетворяющего надежды шиитского меньшинства, победу может и должно обеспечить забвение доктринальных различий во имя достижения общих целей. И потому иранская конституция провозгласила объединение всех мусульман как обязанность Ирана:

«Согласно священному аяту^[76] все мусульмане представляют собой единую умму. Правительство Исламской Республики Иран обязано сделать так, чтобы его общая политическая линия основывалась на союзе исламских народов: оно должно прилагать максимум усилий к тому, чтобы осуществить политическое, экономическое и культурное единство исламского мира».

Акцент, очевидно, ставится не на богословские споры, а на идеологическую экспансию. Как подчеркивал Хомейни: «Мы должны экспортировать нашу революцию по всему миру, должны отказаться от попыток прекратить ее распространение, ибо ислам не только не делает различий между мусульманскими странами, но и является защитником всех угнетенных». В итоге от страны потребуются вступить в эпическую борьбу с «Америкой, этим мировым грабителем», коммунистическими материалистическими сообществами в России и в Азии, а также с «сионизмом и Израилем».

Хомейни и его сторонники, революционеры-шииты, расходятся с суннитскими исламистами в том – и именно здесь суть их

братоубийственного соперничества, – что верят, будто глобальные потрясения завершатся пришествием Махди^[77], который вернется из «сокрытия» (он уже тут, но незрим) и примет полномочия сюзерена, каковые верховный лидер Исламской Республики временно отправляет в его отсутствие^[78]. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад даже счел этот тезис достаточно разработанным, чтобы представить его на заседании Организации Объединенных Наций 27 сентября 2007 года:

«Без всякого сомнения, Обещанный, то есть истинный Спаситель, придет в этот мир. В единении со всеми правоверными, борцами за справедливость и благодетелями он построит светлое будущее и наполнит мир справедливостью и красотой. Таково обетование Божие; и потому оно будет исполнено».

Мировой порядок, предусматриваемый такой концепцией, опирается на важную предпосылку, как писал президент Ахмадинежад президенту Джорджу Бушу в 2006 году, – на всемирное признание единственно правильной религиозной доктрины. Письмо Ахмадинежада (обычно толкуемое на Западе как увертюра к переговорам) завершается словами «*Vasalam Ala Man Ataba'al Hoda*»; эту фразу сознательно оставили без перевода в опубликованном варианте. Она означает: «Мир только тем, кто следует истинному пути». Аналогичное по духу послание пророк Мухаммад в седьмом веке направил императорам Византии и Персии – стран, которым предстояло вскоре пасть под натиском ислама.

На протяжении десятилетий западные наблюдатели пытались выявить «глубинные причины» подобных настроений, убеждая себя и других, что откровенно экстремистские заявления следует трактовать отчасти метафорически и что отказ от прежней политики – примером которой может служить вмешательство США и Великобритании во внутренние дела Ирана в 1950-х годах, – откроет дорогу к примирению. Тем не менее революционный исламизм по сей день не выказывает ни малейшего стремления к международному сотрудничеству в западном понимании этого термина; и иранский клерикальный режим ни в коем случае нельзя представлять как руководство постколониального движения за независимость, терпеливо ожидающее проявления Америкой доброй воли. По мнению

режима аятолл, спор с Западом не сводится к обсуждению конкретных технических уступок или формул; это конкуренция за мировой порядок.

Даже в момент наибольшего сближения (так все восприняли на Западе) – после заключения временного соглашения по иранской ядерной программе с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией – лидер Ирана Хаменеи заявил в январе 2014 года:

«Маскируя американские планы, некоторые пытаются скрыть их уродство, насилие и террор и продемонстрировать народу Ирана, что правительство Америки настроено благожелательно и человеколюбиво... Разве можно спрятать за гримом столь уродливую, уголовную физиономию?.. Иран не нарушит договоренностей, которые мы подписали. Но американцы – враги исламской революции, враги Исламской Республики, враги этого флага, который вы подняли».

Тот же Хаменеи высказался несколько более изящно в речи на Совете стражей конституции Ирана в сентябре 2013 года: «Когда борец сражается с соперником и вынужден прибегать к техническим уловкам, он не должен забывать, кто его соперник».

Подобное положение дел не обязательно сохранится. Среди государств Ближнего Востока Иран обладает, пожалуй, наиболее значимым опытом национального величия и наиболее долгой и проработанной стратегической традицией. Он сохранял свою культуру на протяжении трех тысячелетий, порою расширяя границы, за счет успешной многовековой манипуляции соседями. До революции аятолл Запад и Иран поддерживали взаимовыгодное сотрудничество на основе одинаково трактуемой концепции национальных интересов. (По иронии судьбы, возвышению аятолл на последней стадии этого процесса способствовало охлаждение отношений США с шахом – мы ошибочно посчитали, что грядущие перемены ускорят демократизацию и послужат укреплению американо-иранских связей.)

Соединенные Штаты и западные демократии должны стремиться к восстановлению сотрудничества с Ираном. Но нельзя строить сотрудничество на предположении, что их собственный позитивный

опыт автоматически окажется актуальным для других обществ, особенно для Ирана. Надо допускать возможность того, что воинственная риторика основывается на истинных убеждениях и оказывает влияние на значительную часть иранского народа. Изменение тона – лишь первый признак возвращения к «нормальности», особенно с учетом того, что определения этой нормальности различаются столь фундаментально. Нельзя забывать и возможности того – и это весьма вероятно, – что изменения в тактике служат для достижения практически неизменных целей. Подлинное примирение Соединенные Штаты должны приветствовать и прилагать реальные усилия в этом направлении. Однако для успеха нужно четко понимать, куда именно мы движемся, прежде всего – по ключевому вопросу о ядерной программе.

Иран и распространение ядерного оружия

Будущее ирано-американских отношений зависит – по крайней мере в краткосрочной перспективе – от разрешения во многом «технической» проблемы военного свойства. Когда я пишу эти строки, происходят потенциально эпохальные перемены в военном балансе региона и в психологическом равновесии. Это связано со стремительной эволюцией Ирана к статусу ядерной державы в ходе переговоров с постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией (П5+1). Остающийся в тени обсуждения технических и научных возможностей, этот вопрос на самом деле представляет собой фокус международного порядка, ведь речь идет о способности международного сообщества обеспечить соблюдение обоснованных требований на фоне поистине изощренного неприятия, о реальной готовности клерикального режима к сотрудничеству и о перспективах гонки ядерных вооружений в наиболее нестабильном регионе мира.

Традиционный баланс сил опирается на военную и промышленную мощь. Его возможно изменить только постепенно – или через завоевания. Современный баланс сил отражает уровень научного развития и может оказаться под угрозой вследствие каких-либо разработок на территории одного-единственного государства. Никакое завоевание не могло бы укрепить советскую военную мощь сильнее, чем стремление разрушить американскую ядерную монополию конца 1940-х годов. Аналогично, распространение ядерного оружия не может не отразиться на региональном балансе – и на международном порядке – и обернется целым рядом активных противодействий.

На протяжении холодной войны американское руководство строило свои международные стратегии в контексте внушающей страх концепции взаимного сдерживания: мы понимали, что ядерная война повлечет жертвы в масштабах, сопоставимых с гибелью человечества. Кроме того, руководство признавало, что готовность пойти на крайние меры – хотя бы до определенного момента – имеет важное значение, если мы не желаем допустить, чтобы мир скатился в безжалостный тоталитаризм. Сдерживание в рамках этих «параллельных кошмаров» было возможно, поскольку на планете имелись всего две ядерные сверхдержавы. Каждая провела сопоставимые оценки рисков

применения ядерного оружия. Но едва ядерное оружие стало распространяться по свету, политика сдерживания начала превращаться в фикцию, а сама концепция сдерживания утрачивала смысл. В современном мире уже очень сложно сообразить, кто кого сдерживает и на каких основаниях.

Даже если предположить, что «новые» ядерные страны проведут те же расчеты выживаемости, что и СССР с США, в отношении военных действий друг против друга – а это весьма сомнительное допущение, – данные страны все равно способны подорвать нынешний международный порядок, причем сразу в нескольких аспектах. Сложность защиты ядерных арсеналов и установок (равно как и создание комплексных систем предупреждения, по примеру передовых ядерных государств) увеличивает шансы на развязывание войны – из-за соблазна внезапного нападения и превентивного удара. Кроме того, ядерное оружие можно использовать в качестве «щита» от нападений экстремистов. (А другие ядерные державы не смогут проигнорировать атомную войну у своих границ.) Наконец, опыт «частного» распространения ядерного оружия из технически дружественного США Пакистана в Северную Корею, Ливию и Иран имеет самые серьезные последствия для международного порядка, поскольку страна-распространитель формально не считается государством-изгоем.

На пути к созданию собственного ядерного потенциала нужно преодолеть три препятствия: приобрести системы доставки, наладить производство расщепляющихся материалов и начать производство боеголовок. Что касается систем доставки, сегодня существует обширный открытый рынок, где главными продавцами выступают Франция, Россия и в некоторой степени Китай; требуются прежде всего финансовые ресурсы. Иран уже приобрел исходную технологию и может развивать ее по собственному усмотрению. Технология производства боеголовок также не является тайной за семью печатями, а само подобное производство сравнительно легко спрятать от наблюдателей. Пожалуй, наилучший, если не единственный, способ предотвратить появление новой ядерной державы – вмешательство в процесс обогащения урана. Необходимым элементом этого процесса является применение центрифуг – устройств, производящих

обогащенный уран. (Обогащение плутония тоже опасно и тоже обсуждается на соответствующих переговорах^[79].)

Чтобы предотвратить развитие ядерного потенциала Ирана, Соединенные Штаты и другие постоянные члены Совета Безопасности ООН уже более десяти лет (сменилось две администрации с обеих сторон) ведут переговоры. Шесть резолюций Совета Безопасности ООН с 2006 года требовали от Ирана прекратить программу обогащения урана. Три американских президента от обеих партий, все постоянные члены Совета Безопасности ООН (в том числе Китай и Россия) и Германия, руководство Международного агентства по атомной энергии – все заявляли и продолжают заявлять, что наличие у Ирана ядерного оружия неприемлемо и что Иран должен немедленно прекратить обогащение урана. И ради достижения этой цели никакие средства не считаются непозволительными – по словам сразу двух американских президентов.

Налицо стабильное развитие иранской ядерной программы – на фоне постепенного смягчения позиции Запада. Когда Иран проигнорировал резолюции ООН и построил центрифуги, Запад выдвинул ряд предложений, всякий раз повышая «степень разрешенного» – то настаивал, чтобы Иран полностью прекратил обогащение урана (2004), то допустил возможность производства низкообогащенного (НОУ, менее 20 %) урана (2005), то предложил, чтобы Иран экспортировал большую часть своих запасов НОУ, а Франция и Россия могли бы производить топливные стержни с 20 %-ным ураном (2009), то согласился позволить Ирану сохранить достаточно запасов НОУ для работы исследовательского реактора – при условии, что Иран прекратит деятельность комплекса центрифуг в Фордо (2013). Некогда этот комплекс считался секретным объектом; после обнаружения завода Запад упорно требовал его полного закрытия. Ныне западные условия допускают, что работу комплекса можно лишь приостановить, с гарантиями, затрудняющими повторный запуск. В 2006 году была создана группа П5+1 для координации позиций международного сообщества, и ее представители требовали от Ирана остановить ядерную программу до начала переговоров; в 2009 году об этом условии уже никто не вспоминал. В подобной ситуации Ирану, разумеется, нет ни малейшего повода воспринимать любую инициативу как окончательную. Действуя ловко и дерзко, он на

каждом этапе кризиса выказывал меньше интереса к компромиссу, нежели группа западных держав, и тем самым добивался все новых и новых уступок.

Когда начались переговоры (2003), Иран имел 130 центрифуг. На момент написания этой книги число центрифуг достигло примерно 19 000 (лишь половина используется). До начала переговоров Иран не имел возможности расщеплять уран; в промежуточном соглашении за ноябрь 2013 года Иран признал, что обладает 7 тоннами низкообогащенного урана (с учетом количества центрифуг в стране, этот запас может быть превращен в оружие за несколько месяцев, и его хватит на производство 7–10 бомб наподобие той, что была сброшена на Хиросиму). Да, Иран пообещал ликвидировать около половины своего запаса, но не напрямую: 20 %-ный уран всего лишь переведут в форму, из которой его легко восстановить до исходного состояния, и мощности для этого у Ирана найдутся. В любом случае, с таким количеством центрифуг обогащение до 20 процентов уже видится несущественным, поскольку уран, обогащенный до 5 процентов (пороговое значение, выдаваемое за достижение переговорщиков), можно обогатить до нужной степени за те же несколько месяцев.

Точки зрения представителей обеих сторон на переговорах отражают различную трактовку мирового порядка. Иранцы фактически открыто заявили, что не откажутся от выбранного курса, и их не пугают возможные атаки ядерных объектов Ирана. Западные участники переговоров убеждены (и, подчеркивая свою приверженность миру и дипломатии, периодически говорят об этом вслух), что последствия военного нападения на Иран несравнимы с рисками дальнейшего развития иранского ядерного потенциала. Их доводы подкрепляются «мантрой» профессионалов: из каждого тупика есть выход – новое предложение, за которое они несут ответственность. Для Запада главный вопрос состоит в том, возможно ли найти дипломатическое решение или потребуются военные меры. В Иране же ядерная программа рассматривается как один из пунктов борьбы за новый региональный порядок и идеологическое доминирование, борьбы, что ведется всюду и везде, способами мирными и военными – от военизированных операций до дипломатии, официальных переговоров, пропаганды, политических диверсий, и все эти способы равно усиливают общий эффект. В этом контексте

стремление к соглашению должно учитывать тот факт, что Тегеран хотя бы изучит шансы на смягчение напряженности, чтобы избавиться от санкций, но сохранить атомную инфраструктуру и максимальную свободу действий, а к реализации ядерной программы вернуться позже.

По временному соглашению в ноябре 2013 года Иран согласился приостановить обогащение урана в обмен на снятие некоторых международных санкций, наложенных за нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Но поскольку соглашение позволяло Ирану продолжать обогащение еще полгода, срок договоренностей истечет к моменту, когда должно быть готово постоянное соглашение. Практические последствия очевидны: Запад де-факто признал иранскую ядерную программу и не стал уточнять (как говорили у нас) ее масштабы.

Переговоры о постоянном соглашении продолжаются. Условия – или хотя бы возможность их выработки – пока неизвестны, но ясно, что они, как и многое на Ближнем Востоке, затронут «красную линию». Станут ли западные переговорщики (от лица группы П5+1) настаивать, что ограничения коснутся процесса обогащения, как сформулировано в резолюциях ООН? Это чрезвычайно сложная задача. Ирану придется сократить количество центрифуг до уровня, соответствующего правдоподобным цифрам гражданской ядерной программы, и уничтожить или законсервировать остальные. Такой исход, фактический отказ от военной ядерной программы, сулит перспективу кардинального изменения отношений Запада с Ираном, особенно если стороны согласятся вдобавок сообща бороться против суннитского и шиитского воинствующего экстремизма, активно угрожающего региону.

Учитывая неоднократные заявления верховного лидера Ирана, что Иран не откажется от мощностей, которыми уже располагает, – эти заявления подкреплял своими разъяснениями целый сонм старших иранских чиновников, – иранцы, судя по всему, намерены договариваться об отказе от производства боеголовок или о сокращении числа центрифуг до минимума, который позволяет при необходимости вернуться к реализации военной ядерной программы. При такой схеме Иран продемонстрирует международному сообществу верность фетве своего руководителя о недопущении

производства ядерного оружия (текст этой фетвы не публиковался, и его никто не видел – только иранские лидеры); он готов взять на себя обязательства по отказу от создания ядерного оружия и допустить инспекторов для контроля выполнения соглашений. Конечно, все будет зависеть от количества времени, которое потребуется Ирану на создание ядерного оружия после нарушения договоренностей, буде их удастся подписать. Иран сумел построить два секретных комплекса по обогащению урана буквально в разгар международных инспекций, а потому при подготовке соглашения нужно учитывать возможность подобных действий с его стороны и в дальнейшем. И нельзя оставлять Иран в качестве «виртуальной» ядерной державы – ведь эта страна способна стать ядерной куда быстрее, чем к такому варианту сможет подготовиться любой «неядерный» сосед или успеет вмешаться любая ядерная держава.

Иран с исключительным мастерством и ловкостью реализует провозглашенную цель подрыва государственного строя на Ближнем Востоке и вытеснения Запада из региона. Не важно, создаст он и испытает ядерное оружие в ближайшее время или «просто» сохранит такую возможность, – последствия подобного исхода для регионального и глобального порядков сопоставимы. Даже если Иран удовлетворится потенциальным шансом создать ядерное оружие, он добьется этого вопреки самым всеобъемлющим международным санкциям, когда-либо налагавшимся на какую-либо страну. Геостратегические конкуренты Ирана, то есть Турция, Египет и Саудовская Аравия, тоже примутся разрабатывать или приобретать ядерное оружие, ибо желание догнать Иран станет непреодолимым. Риск израильского превентивного удара значительно возрастет. Что касается Ирана, он, выдержав санкции и создав ядерный арсенал, укрепит свой авторитет, припугнет соседей и усугубит свои способности к традиционным методам ведения войн.

Утверждалось, что новый подход к американо-иранским отношениям сформируется в ходе переговоров по ядерной программе, и это позволит компенсировать «отступление» Запада с исторических позиций. Часто ссылаются на отношения Америки с Китаем, которые эволюционировали от враждебности к взаимному признанию и даже сотрудничеству за относительно короткий период времени в 1970-х годах. Иран можно убедить, как иногда говорят, не размахивать столь

вызывающе виртуальной ядерной «дубиной» в обмен на добрую волю и стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами.

Сравнение, увы, хромает. Китай имел сорок две советские дивизии на своей северной границе после десятилетней эскалации взаимной вражды, да и внутри страны начались неурядицы. У него были все основания искать «альтернативную» международную систему, в которой можно закрепиться. В отношениях Запада с Ираном столь очевидные поводы к кооперации отсутствуют. За последние десять лет Иран увидел крушение двух своих самых серьезных противников – режима талибов в Афганистане и режима Саддама Хусейна в Ираке (по иронии судьбы, оба свергнуты американцами) – и усилил свое влияние и военное присутствие в Ливане, Сирии и Ираке. Два нынешних главных конкурента за влияние в регионе, Египет и Саудовская Аравия, заняты внутренними проблемами, тогда как Иран быстро их преодолел (видимо, успешно), подавив оппозицию в ходе демократического восстания 2009 года. Лидеров Ирана принимают в международном респектабельном обществе, не требуя сколько-нибудь значимых изменений текущей политики, а западные компании были готовы инвестировать в страну даже в период санкций. Как ни удивительно, рост суннитского экстремизма вдоль границ Ирана может заставить Тегеран задуматься. Но столь же вероятно, что Тегеран рассматривает нынешний стратегический ландшафт как складывающийся в его пользу, а свой революционный курс – как вполне оправданный. Какой именно вариант выберет Иран, зависит от его собственных предпочтений, а не от американских представлений.

До сих пор Иран и Запад вкладывали каждый свой смысл в саму концепцию переговоров. Американские и европейские переговорщики с осторожным оптимизмом рассуждали о перспективах соглашения по ядерной программе и проявляли максимальную сдержанность в публичных комментариях в надежде обеспечить благоприятную атмосферу – а аятолла Хаменеи назвал ядерные переговоры частью «вечной религиозной борьбы», когда переговоры – разновидность сражения, и компромисс недопустим. В мае 2014 года, за шесть недель до истечения промежуточного соглашения, верховный лидер Ирана, как сообщается, описал переговоры по ядерной программе следующим образом:

«Причина, по которой мы стремимся продолжать бой, не в том, что исламское руководство воинственно. Просто логично, переплывая море, где кишат пираты, полностью снарядиться и быть готовым и способным защищать себя.

В таких обстоятельствах у нас нет другого выбора, кроме как продолжать бой и позволить этому факту определять внутреннюю и внешнюю политику страны. Те, кто стремится к соглашательству и хочет сдаться оккупантам, обвиняя Исламскую Республику в разжигании войны, на самом деле совершают предательство.

Все чиновники страны, занимаются ли они экономикой, наукой, культурой, политикой, законотворчеством или зарубежными переговорами, должны сознавать, что воюют и продолжают борьбу за создание и выживание исламской системы... Джихад никогда не закончится, потому что сатана и сатанинский фронт будут существовать вечно».

Для национальных государств история играет ту же роль, что характер для человека. В случае гордого Ирана с его богатой историей можно выделить три периода, три трактовки международного порядка. Политика государства, существовавшего до революции Хомейни, заключалась в охране своих границ, уважении к суверенитету других стран и желании вступать в союзы – на деле, в преследовании собственных национальных интересов в рамках вестфальских принципов. Имперская же традиция помещает Иран в центр цивилизованного мира; автономия соседних стран в этом случае подлежит искоренению, насколько возможно. Наконец, есть джихадистский Иран, описанный выше. В какой из этих традиций нынешние высокопоставленные иранские официальные лица черпают вдохновение? Если мы полагаем, что произошла радикальная перемена, что к ней привело? Конфликт психологический или стратегический? Как он разрешится – через изменение отношений или изменение политики? Если последнее, к какому именно изменению следует стремиться? Можно ли примирить различные взгляды на мировой порядок? Или мир должен ждать, пока пыл джихадистов не иссякнет, как произошло ранее, в Османской империи, из-за смены динамики власти и «домашних» приоритетов? От ответов на эти

вопросы зависит будущее американо-иранских отношений – и, может быть, мир во всем мире.

Соединенным Штатам Америки следует быть готовыми к достижению геополитического взаимопонимания с Ираном на основе вестфальских принципов невмешательства – и разработать совместимую концепцию регионального порядка. До революции Хомейни Иран и Соединенные Штаты были де-факто союзниками, и этот союз базировался на трезвой оценке национальных интересов, причем здраво мыслили американские президенты от обеих партий. Иранские и американские национальные интересы воспринимались как совпадающие. Обе страны выступали против господства в регионе сверхдержавы, каковой на тот момент был Советский Союз. Обе демонстрировали желание уважать суверенитет друг друга в своей ближневосточной политике. Обе поддерживали экономическое развитие региона, пусть даже частичное, «фрагментарное». С американской точки зрения имеются все основания восстановить такие отношения. Напряженность между Ираном и США возникла в результате принятия Тегераном джихадистской риторики и прямых нападков на американские интересы и систему международного порядка.

Каким образом Иран синтезирует свое комплексное наследие, будет зависеть в значительной степени от внутренней динамики; в стране столь сложной культурно и политически эта динамика выглядит непредсказуемой для сторонних наблюдателей и не подвержена влиянию внешних угроз и уговоров. С каким бы «лицом» Иран ни выходил в мир, факт остается фактом: Ирану предстоит выбор. Он должен решить, страна ли он или территория. Соединенные Штаты должны стремиться к сотрудничеству и всячески его поощрять. Но упорства и решимости западных переговорщиков – разумеется, необходимого условия подобной эволюции – недостаточно, чтобы обеспечить желаемый исход. Отказ Ирана от поддержки таких групп, как «Хезболла», станет важным и принципиальным шагом к восстановлению конструктивных двусторонних отношений. Вопрос в том, видит ли Иран в хаосе на своих границах угрозу – или возможность реализовать тысячелетнюю мечту?

Соединенные Штаты должны развивать стратегическое понимание происходящего. Представители администрации, объясняющие

умаление американской роли на Ближнем Востоке, рассуждают о сбалансированной системе суннитских государств (плюс, возможно, Израиль) как противовес Ирану. Даже возникни подобное образование на самом деле, его жизнеспособность гарантируется только активной американской внешней политикой. Ведь баланс сил не является статичным, его составные части пребывают в постоянном движении. Соединенные Штаты необходимы в качестве арбитра и останутся таковым в обозримом будущем. А потому важно, чтобы Америка оказалась ближе к любому из соперников, чем они друг к другу, и не позволила втянуть себя в геополитические игрища, особенно в экстремистской форме. Преследуя собственные стратегические цели, Соединенные Штаты могут стать ключевым фактором – возможно, единственным, – на основании которого Иран определит, что ему выбрать: путь революционного ислама или путь великой страны, легитимной и действующей в рамках вестфальских принципов. Но Америка способна сыграть эту роль лишь в случае, если останется и передумает уходить.

Видение и реальность

Вопрос о мире на Ближнем Востоке в последние годы непосредственно увязывается с «высокими технологиями», то есть с ядерной программой Ирана. Нет никакого способа мгновенно и спешно решить эту проблему, помешать появлению этого оружия. Но уместно вспомнить ситуации, когда другие, казалось бы, неразрешимые, кризисы на Ближнем Востоке создавали новые перспективы в регионе.

С 1967 по 1973 год состоялись две арабо-израильских войны, две американские операции, сирийское вторжение в Иорданию, было организовано массированное американское присутствие в воздухе в зоне военных действий, произошло несколько угонов самолетов, и большинство арабских стран разорвали дипломатические отношения с США. Тем не менее начался процесс мирного урегулирования, который обернулся тремя египетско-израильскими соглашениями (кульминация – мирный договор 1979 года); было подписано соглашение с Сирией в 1974 году (действовало четыре десятилетия, несмотря на сирийскую гражданскую войну); состоялась Мадридская

конференция (1991), перезапустившая мирный процесс; в Осло ООП и Израиль подписали перемирие (1993), а между Иорданией и Израилем в 1994 году был заключен мирный договор.

Этого удалось достичь, поскольку были реализованы три условия: активная политика США, отказ от планов создания регионального порядка через насильственное насаждение универсалистских принципов и приход к власти лидеров с соответствующим видением.

Два события из моего личного опыта символизируют такое видение. В 1981 году, в ходе своего последнего визита в Вашингтон, президент Садат пригласил меня посетить Египет весной следующего года, на празднование возвращения Синайского полуострова. Помню, Садат сделал паузу и прибавил: «Нет, не празднование – это будет слишком оскорбительно для Израиля. Приезжайте через полгода, мы с вами поднимемся на вершину горы Синай, где я хочу поставить рядом мечеть, церковь и синагогу, в знак мира, который нужен всем».

Ицхак Рабин, прежде – начальник штаба израильской армии, был премьер-министром в ту пору, когда заключалось первое в истории политическое соглашение между Израилем и Египтом (1975), а затем он и бывший министр обороны, а ныне министр иностранных дел Шимон Перес обеспечили мирный договор с Иорданией (1994). По случаю заключения израильско-иорданского мирного договора Рабин в июле 1994 года выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США – вместе с королем Иордании Хусейном:

«Сегодня мы вступаем в битву, в которой не будет убитых и раненых, не будет крови и ярости. Это единственная битва, в которую приятно вступать, – битва за мир...

В Библии, нашей Книге книг, мир упоминается в различных фразах двести тридцать семь раз. В Библии, из которой мы берем нормы поведения и черпаем нашу силу, в книге пророка Иереми, приводится плач Рахили. Вот что она говорит:

«Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь»^[80].

Я не стану удерживать слезы по тем, кто погиб. Но в этот летний день в Вашингтоне, далеко от дома, мы ощущаем, что наш труд будет вознагражден, как и обещал пророк».

Оба – и Садат, и Рабин – были убиты. Но их достижения и устремления продолжают жить.

Повторюсь: доктрины силового запугивания бросают вызов надеждам на мировой порядок. Но когда их удастся отвергнуть – и никак не меньше, – может наступить момент, способный привести к прорывам, описанным выше, когда видение побеждает реальность.

Глава 5

Многоликая Азия

Азия и Европа: Различные концепции баланса сил

Термином «Азия» принято обозначать мнимое единство чрезвычайно разобщенного региона. До возникновения западных держав в их современном виде ни в одном азиатском языке не было слова со значением «Азия»; ни один народ, в настоящее время составляющий население почти пятидесяти суверенных государств Азии, не воспринимал себя как жителей единого «континента» – или хотя бы как обитателей региона, жизнь в котором требует общей солидарности. Будучи «Востоком», Азия никогда не выступала однозначной «параллелью» Западу. Никакой общей религии, ни даже той, которая раскололась бы на соперничающие конфессии, как произошло с христианством на Западе. Буддизм, индуизм, ислам и христианство – все они нашли себе место на территории Азии. И никакой памяти о паназиатской империи, сопоставимой с Римской. По всей Азии, с северо-востока на юг, преобладающие базовые этнические, лингвистические, религиозные, социальные и культурные различия постоянно усугублялись, нередко – весьма трагично, пограничными конфликтами и войнами.

Политическая и экономическая карта Азии иллюстрирует сложность ситуации. На ней присутствуют индустриально и технологически развитые страны (Япония, Республика Корея и Сингапур), способные конкурировать по степени экономического развития и уровню жизни с Европой; три страны континентального масштаба (Китай, Индия и Россия); два крупных архипелага (не считая Японских островов) – Филиппины и Индонезия, состоящие из тысяч островов и контролирующие основные морские торговые пути; три древних государства с населением, приблизительно равным по численности Франции или Италии (Таиланд, Вьетнам и Мьянма); следует учесть и огромную Австралию с соседкой, пасторальной Новой Зеландией, заселенных преимущественно потомками европейцев; а также Северную Корею, диктатуру сталинского типа, лишенную промышленности и технологий, зато обладающую ядерным оружием. Многочисленное мусульманское большинство преобладает по всей Центральной Азии, в Афганистане, Пакистане, Бангладеш, Малайзии и Индонезии; кроме того, имеются значительные

мусульманские меньшинства в Индии, Китае, Мьянме, Таиланде и на Филиппинах.

Мировой порядок на протяжении девятнадцатого столетия и в первой половине века двадцатого был принципиально европейским, сконструированным для поддержания баланса сил между основными европейскими державами. За пределами собственного континента европейские государства создавали колонии, оправдывая свои действия различными версиями так называемой «цивилизаторской миссии». Из двадцать первого века, когда азиатские страны неуклонно увеличивают свое богатство, авторитет и власть, кажется невероятным подобный размах колониализма – и тот факт, что колониализм трактовался как «естественный» инструмент международных взаимоотношений. Одной экономикой этого не объяснить; полагаю, немалую роль сыграли ощущение «великой миссии» и нематериальный, психологический импульс.

Публикации на языках колониальных держав с начала двадцатого века характеризуются исключительным высокомерием – по сути, из них следует, что европейцы вправе формировать мировой порядок по собственной прихоти. Сообщения из Китая и Индии снисходительно поучают представителей «традиционных культур» и призывают приобщаться к цивилизации более высокого уровня. Европейские администраторы при помощи относительно малочисленного персонала перекраивают границы древних государств, не обращая внимания на традиции, чувства и законность.

На заре эпохи, которую ныне именуют Новым временем, в пятнадцатом столетии, самоуверенный, абсолютистский, территориально разделенный Запад приступил к разведке планеты и принялся улучшать, эксплуатировать и «цивилизировать» новооткрытые земли. Запад оставил глубокий след в сознании народов, с которыми сталкивался, насаждая свою религию, науку, торговлю, управление и дипломатию, сформированные западным историческим опытом, которые считались краеугольным камнем достижений человечества.

Запад расширялся, демонстрируя очевидные признаки колониализма – алчность, культурный шовинизм, жажду славы. Однако верно и то, что лучшие представители западной цивилизации пытались вести своего рода «глобальное обучение» – посредством

интеллектуального метода, который поощрял скептицизм, и посредством целого ряда политических и дипломатических усилий, в том числе установления демократии. В результате неудивительно, что колонизированные народы, после длительного подчинения, потребовали для себя – и обрели в конечном счете – права на самоопределение. Даже в разгар «колониального грабежа» экспансионистские державы, особенно Великобритания, озвучивали идею, что рано или поздно покоренные народы как минимум станут элементами глобальной системы взаимодействия. Отказавшись – не сразу и с трудом – от грязной практики рабства, Запад произвел на свет то, чего не смогла породить никакая другая рабовладельческая цивилизация: всеобщее аболиционистское движение, основанное на убеждении в единой человеческой природе и на вере в права личности. Великобритания, отвергнув собственную приверженность «презренной торговле людьми», возглавила борьбу за формирование новой нормы человеческого общежития – отменила рабство на территории империи и стала перехватывать корабли работорговцев в открытом море. «Знаковая» комбинация политической воли, технологического совершенства, идеалистического гуманизма и революционного интеллектуализма стала важнейшим формирующим фактором современного мира.

За исключением Японии, Азия пала жертвой международного порядка, навязанного колониализмом, не смогла стать полноценным его участником. Таиланд сохранил независимость, но, в отличие от Японии, оказался слишком слабым для вмешательства в баланс сил регионального порядка. Размеры Китая помешали полной его колонизации, однако он утратил контроль над ключевыми вопросами внутренней политики. До окончания Второй мировой войны большинство азиатских стран покорно выполняло «повеления» европейских держав или, в случае Филиппин, указания Соединенных Штатов. Условия, допускающие применение вестфальских принципов дипломатии, начали появляться только в ходе деколонизации, которая стартовала после краха европейского порядка, уничтоженного двумя мировыми войнами.

Процесс разрушения прежнего регионального порядка был долгим и кровавым: тут и китайская гражданская война (1927–1949), и Корейская война (1950–1953), и китайско-советская конфронтация

(примерно 1955–1980), и революционные мятежи по всей Юго-Восточной Азии, и война во Вьетнаме (1961–1975), четыре индо-пакистанских конфликта (1947, 1965, 1971 и 1999), китайско-индийская война (1962), китайско-вьетнамская война (1979) и геноцид «красных кхмеров» (1975–1979).

После десятилетий войны и революционных катаклизмов Азия радикально изменилась. Возвышение «азиатских тигров», ставшее очевидным с 1970 года и охватившее Гонконг, Республику Корея, Сингапур, Тайвань и Таиланд, принесло процветание и экономический динамизм. Япония приняла демократические институты и построила экономику, способную конкурировать и в некоторых отношениях даже превосходящую экономики западных стран. Китай в 1979 году сменил курс и под руководством Дэн Сяопина начал деидеологизировать внешнюю политику и проводить экономические реформы, которые, усилиями преемников и продолжателей Дэна, оказали грандиозное влияние на сам Китай и на весь мир.

По мере осуществления этих преобразований в Азии, как кажется, стала оформляться политика соблюдения национальных интересов, основанная на следовании вестфальским принципам. В отличие от Ближнего Востока, где почти все государства пребывают под угрозой насильственного опровержения их легитимности, в Азии государство рассматривается как основная единица международной и внутренней политики. Различные страны, возникшие после колониального периода, в целом признают суверенитеты друг друга и не стремятся к вмешательству во внутренние дела соседей по региону; они соблюдают нормы международных организаций и создают собственные региональные и межрегиональные экономические и гражданские партнерства. Высокопоставленный китайский военный чиновник, заместитель начальника Генерального штаба китайской Народно-освободительной армии Ци Цзяньго, отметил в своем политическом обзоре в январе 2013 года, что одной из основных задач современной эпохи является соблюдение «базовых принципов международных отношений, четко сформулированных Вестфальским договором 1648 года, прежде всего принципов суверенитета и равенства».

Азия в нынешнем понимании этого термина возникла как одно из наиболее значимых наследий вестфальской системы: древние народы с богатой традицией исторического антагонизма самоорганизовались в суверенные государства и начали создавать региональные группировки этих государств. В Азии гораздо сильнее, чем в Европе, не говоря уже о Ближнем Востоке, выразились «максимы» вестфальской модели международного порядка, в том числе концепции, которые сегодня ставятся под сомнение на Западе как чрезмерно сосредоточенные на национальных интересах или недостаточно защищающие права личности. Суверенитет, во многих случаях приобретенный только после крушения колониализма, трактуется как имеющий абсолютный характер. Цель государственной политики заключается не в преодолении национальных интересов – что нынче модно в Европе и США, – но в энергичном и жестком их отстаивании. Каждое правительство воспринимает стороннюю критику его внутренних практик как симптом недавно ликвидированной «колониальной опеки». Таким образом, даже если внутренняя политика соседнего государства представляется чрезмерно суровой – как, например, в Мьянме, – это лишь повод для тихого дипломатического увещевания, никак не для откровенного давления, тем более – не для угрозы применения силы.

В то же время в Азии неявно присутствует «фактор риска». Китай публично заявляет – а прочие ключевые игроки на самом деле тоже к этому тяготеют – о возможности использования военной силы во имя соблюдения национальных интересов. Военные бюджеты растут. Соперничество между странами, как, например, в Южно-Китайском море и в водах Северо-Восточной Азии, ведется, как правило, методами европейской дипломатии девятнадцатого века; применение силы не исключается, однако подобного развития событий пока, хоть и с немалым трудом, удастся не допустить.

Иерархия, а вовсе не суверенное равенство, исторически являлась организующим принципом международных систем Азии. Власть проявлялась в уважении, которое оказывали правителю и институтам, так или иначе с ним связанным, а не в расчерчивании региональной карты государственными границами. Империи широко раскидывали свои торговые и политические «сети», добиваясь одобрения и поддержки мелких политических единиц. Для народов, которые

существовали на пересечении двух или более имперских порядков, путь к независимости зачастую виделся в номинальном подчинении, причем во многих отношениях (это искусство и поныне практикуется в некоторых кругах).

В исторических дипломатических системах Азии, будь то китайская или индийская модели, монархия считалась земным воплощением божественной власти – по крайней мере, своего рода патернализмом; материальная дань полагалась доминирующим народам, а приносили ее народы подчиненные. Это теоретически не оставляло места для двусмысленности в региональных властных отношениях и должно было привести к формированию ряда жестких союзов. На практике, однако, данные принципы применялись весьма гибко и с учетом конкретной ситуации. В Северо-Восточной Азии королевство Рюкю довольно долго платило дань и Японии, и Китаю. В северных холмах Бирмы местные племена добились фактической автономии, посулив свою лояльность одновременно бирманскому королевскому двору и китайскому императору (а на деле вообще не выполняли ничьих повелений). Непал на протяжении столетий умело балансировал на дипломатическом поприще между правящими династиями Китая и Индии – направлял письма и дары, что воспринимались Китаем как дань, но в самом Непале трактовались как общение равных, а затем заключил особое соглашение с Китаем для гарантии собственной независимости вследствие угроз со стороны Индии. Таиланд, рассматриваемый в девятнадцатом веке как стратегическая цель экспансии западных империй, сумел избежать колонизации благодаря еще более комплексной стратегии: он поддерживал сердечные отношения со всеми иностранными державами сразу – принимал иностранных советников из конкурирующих западных стран при королевском дворе, даже отсылая дань в Китай и продолжая допускать адептов индуизма, индийцев по происхождению, к королевской семье. (Интеллектуальная гибкость и умение сдерживать эмоции – необходимые условия такой стратегии выживания – тем более примечательны, что тайский монарх сам считался воплощением божественной власти.) Любая концепция регионального порядка трактовалась как слишком зависимая от сопровождающей его дипломатии.

На фоне столь многообразного исторического наследия сетка вестфальских суверенных государств на карте Азии представляет собой чрезмерно упрощенную картину региональных реалий. Она не в состоянии отразить разнообразие устремлений, которые лелеют государственные лидеры, равно как и сочетание скрупулезного внимания к иерархии и протоколу и ловкого маневрирования, характеризующего азиатскую дипломатию. Такова фундаментальная основа международных отношений в Азии. Но государственность здесь сосуществует с богатым культурно-историческим наследием, причем они переплетены теснее и неразрывнее, чем, пожалуй, в любом другом регионе мира. Это отчетливо проявляется в историческом опыте двух крупных азиатских стран – Японии и Индии.

Япония

Среди всех исторических политических и культурных образований Азии Япония отреагировала раньше и решительнее других на «вторжение» Запада в мировые процессы. Расположенная на архипелаге, примерно в ста милях от азиатского материка, если брать ближайшую точку, Япония долго культивировала в изоляции собственные традиции и самобытную культуру. Этническая и языковая однородность, наличие официальной идеологии, которая подчеркивала божественное происхождение японского народа – на основании чего Япония превратила уверенность в своей уникальной идентичности в почти религиозный культ. Чувство «особости» обеспечило Японии немалую гибкость в адаптации своей политики к менявшимся концепциям национальной стратегии. За период чуть более столетия, после 1868 года, Япония перешла от полной изоляции к массивному заимствованию передового западного опыта (армия по образцу Германии, парламентские институты и флот по образцу Великобритании); дерзкие попытки построить Японскую империю сменились сначала пацифизмом, а затем возрождением могущественной державы в новой форме; феодализм перетек в авторитаризм западного толка, а последний эволюционировал в демократию; кроме того, Япония на протяжении этого периода то входила в мировой порядок (сначала западный, потом азиатский, ныне глобальный), то из него выпадала. И никогда не сомневалась в том, что ее национальную миссию надлежит исполнить: влияние методик и институтов других обществ не способно ей повредить, поскольку данная миссия успешно адаптируется под меняющиеся обстоятельства.

Япония на протяжении веков существовала на окраине китайской цивилизации, активно заимствуя китайскую религию и культуру. Но, в отличие от большинства обществ, находившихся в сфере китайской культуры, она трансформировала «заемные» модели в японские и не стремилась совместить эти модели с вассальной подчиненностью Китаю. Стабильная «особость» Японии порой доставляла немало проблем китайскому императорскому двору. Другие азиатские народы приняли условия и протокол системы сюзеренитета – в смысле

символического подчинения китайскому императору, повелевавшему, согласно традициям Китая, порядком во вселенной, – даже именовали торговый оборот «данью», чтобы получить доступ на китайский рынок. Эти народы проявляли уважение (по крайней мере, во взаимоотношениях с китайским двором) к конфуцианской концепции международного порядка – своего рода «семейной иерархии» с Китаем-патриархом во главе. Япония располагалась достаточно близко географически, чтобы оценить такие формулировки, и молчаливо соглашалась на признание китайского миропорядка в качестве региональной реальности. В поисках возможностей для торговли и культурного обмена японские дипломатические миссии соблюдали заведенный этикет в той степени, которая позволяла китайским чиновникам интерпретировать эти усилия как свидетельство стремления Японии к участию в упомянутой семейной иерархии. Тем не менее в регионе, где тщательно учитывались малейшие градации статуса, определяемого протоколом, – всего-навсего единственное слово, обращенное к правителю, или способ доставки официального письма, или стиль указания календарной даты в официальном документе, – Япония последовательно отказывалась формально занять место в синоцентричной системе управления. Она оставалась на окраине иерархического китайского порядка, периодически обозначала себя как равную силу и даже настаивала иногда на собственном превосходстве.

На вершине японского общества и во главе японского мирового порядка стоял император, фигура, которую, подобно императору Китая, воспринимали как олицетворение божества – «Сын Неба», посредник между человеческим и божественным. Сам титул – настойчиво повторяемый в японских дипломатических депешах к китайскому двору – был прямым вызовом космологии китайского миропорядка, которая трактовала властелина Китая как единственную «высшую точку» человеческой иерархии. В дополнение к этому статусу (который обладал трансцендентностью, намного превосходившей любые притязания владык Священной Римской империи в Европе) традиционная политическая философия Японии указывала еще на одно отличие – японские императоры, как считалось, были потомками богини солнца, которая родила первого императора и наделила его преемников вечным правом управлять. В тексте

четырнадцатого века «Акты законного правопреемства божественных государей» говорится:

«Япония – божественная земля. Небесный предок заложил ее основы, и богиня солнца предоставила своим потомкам править здесь во веки веков. Так устроено только в нашей стране, и ничего подобного нельзя найти на чужбине. Вот почему Японию называют божественной землей»^[81].

Островное положение Японии даровало ей широкую свободу действий относительно участия в международных делах. На протяжении многих столетий страна находилась как бы у внешних границ азиатского мира, культивируя свои воинские традиции, улаживая внутренние распри и по своему усмотрению одобряя внешнюю торговлю и культурные контакты. В конце шестнадцатого века Япония предприняла попытку изменить региональный статус-кво, внезапно явив масштабные амбиции, которые соседи поначалу восприняли как неправдоподобные. В результате вспыхнул один из крупнейших азиатских военных конфликтов – его последствия для региона по сей день остаются в памяти и служат поводом для споров, а уроки этого столкновения, если бы их усвоили, могли бы изменить действия Америки в Корейской войне в двадцатом веке.

В 1590 году воин Тоетоми Хидэеси – превзойдя своих соперников, объединив Японию и завершив почти столетнюю эпоху внутреннего противостояния, – поведал о грандиозных планах: он-де соберет самую многочисленную в мире армию, переправится на Корейский полуостров, разгромит Китай и покорит мир. Хидэеси направил послание вану (правителю) Кореи, сообщая о своем намерении «проследовать в земли Великой Мин и принудить тамошний народ принять наши обычаи и установления», и попросил о помощи. Корейский монарх отказался и предупредил Хидэеси о недопустимости подобного шага (упомянув «нерушимую дружбу между Поднебесной и нашим королевством» и конфуцианский принцип, согласно которому «вторжение в чужую страну есть деяние, коего мудрецам и правителям надлежит стыдиться»), Хидэеси собрал 160 000 воинов и на семистах кораблях переправил их на материк. Эта огромная сила смяла оборону побережья и стремительно двинулась

вверх по полуострову. Продвижение замедлилось, когда корейский флотоводец Ли Сунсин сумел организовать серьезное сопротивление врагу на море, стал нападать на линии снабжения японцев и отвлек захватчиков рядом схваток на побережье. Когда японское войско все же достигло Пхеньяна, города вблизи узкой «горловины» на севере полуострова (а ныне столицы Северной Кореи), в ситуацию вмешался Китай, не желавший допустить покорения своего данника. Китайский «экспедиционный корпус» насчитывал, по разным оценкам, от 40 000 до 100 000 человек. Китайцы пересекли реку Ялуцзян и оттеснили японцев обратно к Сеулу. После пяти лет безрезультатных переговоров и изнурительных боев Хидэеси умер, армия вторжения отступила, и довоенный статус-кво был восстановлен. Те, кто утверждает, что история никогда не повторяется, могут сопоставить сопротивление Китая «блицкригу» Хидэеси и действия Америки в Корейской войне почти четыреста лет спустя.

Вследствие провала этой затеи Япония изменила политический курс и сфокусировалась на всевозрастающей самоизоляции. Более двух столетий придерживаясь тактики «страна на цепи», Япония фактически самоустранилась от участия в любых порядках. Полноценные межгосударственные отношения на условиях строгого дипломатического равенства существовали лишь с Кореей. Китайцам разрешалось торговать только в отдельных населенных пунктах, никаких официальных китайско-японских отношений не поддерживалось, поскольку невозможно разработать протокол, способный удовлетворить самолюбие обеих сторон. Внешняя торговля с европейскими странами велась в нескольких прибрежных городах; к 1673 году всех европейцев, кроме голландцев, изгнали, а голландцы вынуждены были ютиться на искусственном (насыпном) острове близ порта Нагасаки. К 1825 году подозрительность относительно мотивов западных держав возросла настолько, что военные правители Японии издали «указ по изгнанию чужестранцев любой ценой»; в этом указе говорилось, что всякое иностранное судно следует прогонять от японских берегов – если понадобится, силой.

Все это было, однако, лишь прелюдией к драматическим изменениям, в ходе которых Япония наконец-то поместила себя в мировой порядок – в течение двух столетий преимущественно западный – и превратилась в современную великую державу

вестфальского толка. Катализатором стало столкновение Японии с Америкой: в 1853 году четыре американских военных корабля отправились из Норфолка, штат Виргиния, в экспедицию с целью нарушить «блистательную изоляцию» и войти в Токийский залив. Начальник экспедиции, коммодор Мэтью Перри, вез письмо президента Милларда Филлмора к императору Японии – и утверждал, что обязан вручить документ лично в японской столице (вопреки двухсотлетним японским законам и дипломатическому протоколу). Япония, которая ценила внешнеторговый оборот ничуть не выше, нежели Китай, не пришла в восторг от этого послания: президент сообщал императору (обращаясь к тому «Мой великий и хороший друг!»), что американский народ полагает – «если ваше императорское величество сочтет возможным изменить древние законы и допустить свободную торговлю между двумя странами, это будет крайне выгодно для обеих сторон». Фактический ультиматум Филлмор замаскировал классической американской прагматикой: мол, установленные нормы изоляции, прежде считавшиеся непреложными, могли бы быть слегка ослаблены – «для проверки».

«Если ваше императорское величество не считает разумным и безопасным вообще отменить древние законы, которые запрещают Японии торговать с внешним миром, действие указанных законов может быть приостановлено на пять или на десять лет, ради эксперимента. Если оный не принесет выгод, на которые все надеются, древние законы можно восстановить. Соединенные Штаты часто ограничивают свои договоры с иностранными государствами сроком в несколько лет, а затем возобновляют их, или не возобновляют, по своему желанию».

Японские получатели президентского послания справедливо усмотрели в нем вызов их концепции политического и международного порядка. Тем не менее они отреагировали, как и подобало членам общества, которое на протяжении веков свыкалось с мыслью о брэнности человеческой природы и тщете усилий, но сохранило веру в высшую цель. Оценив превосходящую огневую мощь кораблей Перри (японские пушки и огнестрельное оружие оставались на уровне двухсотлетней давности, тогда как корабли

Перри имели самые современные орудия, способные, что было продемонстрировано у японского побережья, стрелять разрывными снарядами), правители Японии пришли к выводу, что прямое сопротивление «черным кораблям» бесполезно. Приходилось уповать на то, что сплоченность японского общества «поглотит» шок и поможет стране сохранить независимость. Император дал изысканно вежливый ответ, объяснив, что хотя перемены, которых жаждет Америка, «самым решительным образом отвергаются законами наших предков», однако «для нас приверженность этим древним законам, очевидно, не соответствует духу эпохи». Оговорившись, что руководствуются «насущной необходимостью», японские чиновники заверили Перри, что готовы удовлетворить почти все американские требования, в том числе построить новую гавань для иностранных кораблей.

Япония сделала из спровоцированной Западом ситуации вывод, отличный от того, который сделал Китай после прибытия ко двору британского посланника в 1793 году (см. следующую главу). Китай подтвердил свою традицию встречать незваных гостей демонстративным безразличием, одновременно продолжая культивировать самобытность страны в уверенности, что многочисленность населения, обширность территории и богатство культуры рано или поздно возьмут верх над «оккупантами». Япония же приступила, прилежно изучая детали и тщательно анализируя баланс материальных и нематериальных сил, к внедрению себя в систему международного порядка, основанного на западных концепциях суверенитета, свободной торговли, международного права, развития технологий и военной мощи (пусть и с целью неизбежного изгнания чужеземцев со своей земли). Когда к власти в 1868 году пришли те, кто обещал «помочь императору изгнать варваров», они объявили, что совершат это через усвоение идей и технологий варваров, а также присоединение к вестфальскому порядку в качестве равноправного члена системы. Коронация нового императора Мэйдзи сопровождалась подписанием «Клятвы Пяти пунктов»; эта клятва, одобренная японским дворянством, сулила радикальные реформы, в том числе допущение всех социальных слоев к участию в общественной жизни. Программа реформ предусматривала созыв ассамблей во всех провинциях, подтверждение правовых процедур и

приверженность реализации чаяний населения. Программа опиралась на национальное согласие, одну из сильнейших сторон – пожалуй, наиболее отличительную черту – японского общества:

«Этой клятвой мы провозглашаем своей целью создание национального богатства на широкой основе и принятие конституции и законов.

1. Повсюду будут созываться собрания, а дела будут решаться при открытом обсуждении.

2. Все сословия, высокие и низкие, будут едины во всех предприятиях под руководством государства.

3. Простым людям, равно как и гражданским, и военным чинам, будет позволено следовать зову сердца во избежание недовольства.

4. Дурные обычаи прошлого отринуты, все основано на справедливых законах Природы.

5. Знания надлежит искать по всему миру, дабы укрепить фундамент имперского правления» [\[82\]](#).

Япония подошла к делу системно: началось строительство железных дорог, создание современной промышленности, экспортно ориентированной экономики и современной армии. На фоне этих преобразований, тем не менее, уникальность японской культуры и общества сохраняла японскую идентичность.

Результаты столь резкого изменения политического курса позволили Японии всего за несколько десятилетий буквально ворваться в ряды мировых держав. В 1886 году, после стычки между китайскими моряками и полицией в Нагасаки, современный китайский военный корабль немецкой постройки двинулся к берегам Японии – требовать справедливости. К следующему десятилетию интенсивное строительство военно-морского флота и обучение моряков изменили ситуацию в пользу Японии. Когда в 1894 году спор относительно значимости японского и китайского влияния в Корее завершился войной, Япония уже обладала солидным преимуществом. Условия мира включали отмену китайского сюзеренитета над Кореей (отсюда выросло напряжение в отношениях Японии и России) и уступку Тайваня, ставшего де-факто японской колонией.

Реформы в Японии проводились столь интенсивно, что западные державы вскоре вынуждены были отказаться от «экстратерриториальности», то есть от своего «права» судить собственных граждан в Японии по западным, а не по местным законам (этот принцип Запад впервые опробовал в Китае). Показателем торговый договор, которым Великобритания, могучая западная держава, обязала подданных британской короны в Японии соблюдать японскую юрисдикцию. В 1902 году этот договор был преобразован в договор о военном союзе – первое официальное стратегическое соглашение между азиатским и западным государствами. Британии этот союз требовался, чтобы «обуздать» Россию, очевидно поглядывавшую на Индию. Цель Японии состояла в подавлении стремления России подчинить себе Корею и Маньчжурию – и заодно «расчистить площадку» для свободы действий некоторое время спустя. Через три года Япония поразила мир, победив Российскую империю в войне; это было первое поражение одной из западных стран от Азии в современный период. В Первой мировой войне Япония присоединилась к Антанте и захватила немецкие базы в Китае и в южной части Тихого океана.

Япония стала первой незападной великой державой современной эпохи, получила военное, экономическое и дипломатическое признание у стран, которые до сих пор формировали международный порядок. При этом следует учитывать, что для Японии альянс с западными странами не предполагал достижения общих стратегических целей: японцы по-прежнему рассчитывали вытеснить своих европейских союзников из Азии.

После истощения Европы в Первой мировой войне лидеры Японии пришли к выводу, что ситуация – конфликты, финансовый кризис и американский изоляционизм – благоприятствует имперской экспансии, поступательному насаждению японской гегемонии в Азии. Япония оккупировала в 1931 году Маньчжурию и объявила ее своим сателлитом, а во главе Маньчжурии поставила изгнанного китайского императора. В 1937 году Япония объявила войну Китаю, претендуя на прочие китайские территории. Ради «нового порядка в Азии», а позднее ради «сферы взаимного процветания Восточной Азии», Япония мало-помалу строила собственную антивестфальскую систему – «блок азиатских стран во главе с Японией, свободный от западного

влияния», причем организованный иерархически, чтобы «все страны могли найти и занять подобающее место». В этом новом порядке суверенитет прочих азиатских государств становился жертвой японской «опеки».

Государства – члены существующего международного порядка были слишком опустошены Первой мировой войной и слишком заняты борьбой с новым европейским кризисом. Оставалось единственное западное препятствие на пути японского проекта – США, страна, которая насильно открыла Японию для мира менее ста лет назад. История словно повторялась, только с обратным знаком: первые бомбы этой войны упали теперь на американскую территорию – в 1941 году, когда японцы предприняли внезапную бомбардировку Перл-Харбора. Война на Тихоокеанском фронте в конечном счете привела к использованию ядерного оружия (единственный случай его военного применения на сегодняшний день) и завершилась безоговорочной капитуляцией Японии.

Япония шла к этому фиаско шагами, аналогичными японскому ответу коммодору Перри: упорство, подкрепляемое неукротимым национальным духом, опиралось на своеобразную национальную культуру. Для восстановления японской государственности послевоенные лидеры Японии (почти все они состояли на государственной службе в 1930-х и 1940-х годах) трактовали капитуляцию как адаптацию к американским приоритетам; действительно, Япония опиралась на мощь американского оккупационного режима, чтобы как можно скорее модернизироваться и восстановиться (в сугубо национальном контексте это отняло бы куда больше времени). Страна отказалась от войны как инструмента национальной политики, подтвердила верность принципам конституционной демократии и вернулась в международную государственную систему в качестве союзника США, пусть и не главного, очевидно озабоченного экономическим возрождением сильнее, чем вопросами большой стратегии. На протяжении без малого семи десятилетий эта новая ориентация Японии служит гарантом азиатской стабильности и процветания.

Послевоенную политику Японии часто описывают как «новый пацифизм»; на самом деле все значительно сложнее. Прежде всего данная политика отражает молчаливое признание американского

доминирования и взвешенную оценку стратегического ландшафта и императивов выживания в долгосрочной перспективе. Послевоенная правящая элита Японии приняла конституцию, разработанную американскими оккупационными властями – со строгим запретом на военные действия, – исключительно под давлением обстоятельств. Либерально-демократическую ориентацию конституции эта элита выдала за свое «изобретение» и подтвердила приверженность принципам демократии и международного сообщества сродни тем, которыми вдохновлялись в западных столицах.

В то же время лидеры Японии адаптировали уникальный демилитаризованный статус страны к долгосрочным стратегическим целям. Они преобразовали пацифистские «стороны» послевоенного порядка (запрет на военные действия) в необходимость сосредоточиться на других ключевых элементах национальной стратегии, в том числе на оживлении экономики. Американские войска оставались на японской земле, их обязанности по защите островов вылились в заключение договора о взаимной безопасности, который препятствовал потенциальным недоброжелателям (в том числе СССР, расширявшему свое присутствие в Тихоокеанском регионе) воспринимать Японию как легкую мишень. Установив рамки взаимоотношений^[83], лидеры Японии в годы холодной войны продолжали укреплять потенциал страны, самостоятельно выстраивая заново военную машину.

На первом этапе послевоенного развития Япония прибегла к намеренному самоустранению из соперничества холодной войны, что позволило сфокусироваться на программе экономического развития. Япония де-юре примкнула к лагерю развитых демократий, но – публично рассуждая о пацифизме и приверженности единству мирового сообщества, – отказалась присоединиться к борьбе идеологий. Результатом такой стратегии явился период поступательного экономического роста, сравнимый разве что с эпохой революции Мэйдзи. За двадцать послевоенных лет Япония сумела восстановить статус ключевого игрока на глобальной экономической арене. «Японское чудо» вскоре даже бросило вызов американскому экономическому превосходству, однако в последнее десятилетие двадцатого века былой рост остался в прошлом.

Социальная сплоченность и национальное единство – вот основные условия этой замечательной трансформации. Они проявились и как ответ на современные вызовы. Именно они позволили японскому народу справиться с последствиями разрушительного землетрясения 2011 года, цунами и ядерным кризисом (Фукусима) – по оценкам Всемирного банка, это самые дорогостоящие стихийные бедствия в мировой истории, – продемонстрировать поистине удивительные образцы взаимопомощи и национальной солидарности. Финансовые и демографические проблемы сегодня являются главными внутренними заботами, и, в некоторых случаях, к ним подступают в равной степени решительно. В каждом начинании Япония черпает из своих ресурсов – с традиционной верой в то, что национальная «сущность» и культура сохранятся, сколько бы «корректировок» ни проводилось.

Драматические изменения в балансе сил неизбежно будут восприняты японским истеблишментом как стимул к новой адаптации японской внешней политики. Возвращение сильного национального руководства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ дает Токио шанс действовать ради фактических интересов страны. В декабре 2013 года японское правительство представило документ, из которого следует, что «по мере роста напряженности вокруг Японии... стране надлежит предпринимать активные усилия в соответствии с принципами международного сотрудничества», включая укрепление «сдерживающего» потенциала Японии и, при необходимости, «возможность отражения угрозы». Обозревая меняющийся ландшафт Азии, Япония все четче формулирует стремление стать «нормальной страной», конституция которой не запрещает военные действия, и готова вступать в союзы. Важнейшим вопросом азиатского регионального порядка является определение степени этой «нормальности».

Как и в другие ключевые моменты своей истории, Япония движется в сторону переопределения собственной роли в международном порядке – конечно, с далеко идущими последствиями для региона и за его пределами. «Примеряя» новую роль, она оценивает, тщательно и хладнокровно, баланс материальных и нематериальных сил с учетом роста могущества Китая и Кореи и влияния этих факторов на безопасность Японии. Она также изучает

целесообразность и полезность альянса с США применительно к задаче обеспечения широких взаимных интересов; еще Япония принимает во внимание и вывод американских войск из трех зон военных конфликтов. Свой анализ Япония проводит, если грубо, опираясь на следующие характеристики: постоянный альянс с США; адаптация к возрастанию роли Китая; все более националистическая внешняя политика. Что в итоге окажется доминирующим или же выбор сведется к сочетанию этих трех вариантов – зависит от оценки Японией глобального баланса сил (заверений Америки явно недостаточно) и от восприятия нынешних мировых тенденций. Принимая новую конфигурацию сил в регионе и в мире, Япония будет укреплять безопасность на основе собственных суждений о реальности, а не на текущих соглашениях. Поэтому очень важно, как японский истеблишмент расценивает политику США в Азии и общий баланс сил. Долгосрочные перспективы внешней политики США тоже имеют для Японии принципиальное значение.

Индия

В Японии западное вторжение – во всех смыслах этого слова – изменило ход исторического развития нации; в Индии оно способствовало превращению великой цивилизации в современное государство. Индия с давних пор пребывала в точке пересечения мировых порядков, воспринимая и формируя ритм и темп их взаимодействия. Ее роль определялась не столько политическими границами, сколько богатством и разнообразием культурных традиций. В индуистской традиции, которой придерживается большинство населения Индии, отсутствует фигура мифического основателя, но эта традиция жила тысячелетиями и породила несколько других. Ее историческая эволюция прослеживается, смутно и неполно, через синтез древнейших гимнов, легенд и ритуалов, созданных вдоль течения Инда и Ганга и на плато и равнинах на севере и западе страны. В индуистской традиции данные специфические словесные формы выступают как «артикуляции» основополагающих принципов, предшествовавших любым письменным текстам. В своем многообразии и «многоохватности» – тексты повествуют о деяниях божеств и излагают философские идеи, причем того размаха, который, скорее всего, в Европе трактовался бы для каждой идеи как заслуживающий определения религии, – индуизм, как считается, демонстрирует и доказывает конечное единство многообразия, отражая «долгую и изобилующую невероятными метаниями историю духовных поисков человечества... одновременно всеобщую и бесконечную».

После объединения – которое происходило с четвертого века до нашей эры по второй нашей и позднее, с четвертого по седьмой век, – Индия породила культуру грандиозного влияния: буддизм распространился из Индии в Бирму, на Цейлон, в Китай и Индонезию, а индийское искусство и каноны государственного управления «мигрировали» в Таиланд, Индокитай и далее. Когда же единство разрушалось – а это случалось нередко, – Индия распадалась на конкурирующие княжества и становилась лакомой добычей для захватчиков, торговцев и искателей духовной истины (некоторые из них выступали сразу под несколькими «личинами», например,

португальцы, прибывшие в Индию в 1498 году «в поисках христиан и пряностей»^[84]); набеги чужеземцев Индия стоически терпела, а их культуру в конечном счете поглощала, впитывая в собственную.

Китай, до наступления современной эпохи, навязывал собственную «матрицу» обычаев и культурных моделей захватчикам столь успешно, что захватчики со временем превращались в настоящих китайцев. Напротив, Индия побеждала чужеземцев не тем, что обращала их в свою религию или приобщала к культуре, а тем, что относилась к их притязаниям с великолепным равнодушием; она интегрировала их достижения и разнообразные доктрины в ткань индийской жизни, причем сама никогда не выказывала чрезмерного благоговения перед любым иноземным «чудом». Захватчики могли возводить величественные строения и памятники, словно убеждая себя в своих успехах на фоне раздражающего индийского бесстрастия, однако народы Индии крепко держались за «ключевую» культуру, вызывающе непроницаемую для чужого влияния. Основополагающие религии Индии не вдохновлялись пророческими видениями мессианского толка; скорее, они свидетельствовали о бренности и хрупкости человеческого бытия. Они предлагали не личное спасение, а утешение неразрывностью судьбы.

Мировой порядок в индуистской космологии периодизируется по чрезвычайно протяженным, невероятно долгим циклам – каждый длится миллионы лет. Царства гибнут, вселенная исчезает, но затем создается вновь, и возникают новые царства. Все волны захватчиков (персы в шестом веке до нашей эры, Александр и его бактрийские греки в четвертом, арабы в восьмом веке нашей эры, турки и афганцы в одиннадцатом и двенадцатом, монголы в тринадцатом и четырнадцатом, Моголы в шестнадцатом и европейские нации следом) оказывались помещенными в эту вневременную «матрицу». Их действия могли доставлять хлопоты, но на фоне бесконечности истории выглядели попросту ничтожными. Истинную природу человеческого опыта ведали только те, кто пережил и преодолел эти временные потрясения.

«Бхагавадгита», классический текст индуизма, сформулировала итог подобных «воодушевляющих испытаний» с точки зрения отношений между этикой и властью. Этот текст, фрагмент «Махабхараты» (древней эпической поэмы на санскрите, по

утверждениям некоторых, ничуть не менее влиятельной, нежели Библия или гомеровский эпос), составлен как диалог между доблестным и благородным воином Арджуной и его возницей, аватарой бога Кришны. Арджуна, «обуянный страданием» накануне битвы при мысли о бедах, которые ему предстоит навлечь, задается вопросом: чем можно оправдать ужасные последствия войны. Это неправильный вопрос, отвечает Кришна. Ведь жизнь вечна и циклична, а суть вселенной неподвластна разрушению, и потому «мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Никогда не было так, чтобы не существовал я или ты, или все эти цари, и в будущем мы никогда не прекратим существование». Искупление достигается через исполнение установленного долга – и через осознание того, что все внешние проявления иллюзорны, ибо «у несовершенного нет бытия; бытие заключается в вечности». Воину Арджуне выпала война, к которой он не стремился. Он должен хладнокровно принять обстоятельства и выполнить свой долг с честью, должен убивать и побеждать – но ему «не стоит скорбеть».

Призыв Кришны к долгу возобладал над чувствами, и Арджуна избавился от сомнений, но катаклизмы войны – подробно описанные в остальных книгах эпоса, – как бы «оттеняют» угрызения совести воина. Этот основной труд индийской мысли воплощает в себе одновременно упоение битвой и важность морали: не столько избегать сражений, сколько «подниматься» над ними. Этика вовсе не отвергается, но в той или иной ситуации значение имеют конкретные действия, а вечность предоставляет «исцеляющую» перспективу. Кое-кто из читателей увидел в тексте хвалу бесстрашию в бою, а Ганди прославлял этот текст как «источник духовности».

Когда религия проповедует вечные истины и «неуловимость» любой мирской деятельности, светские правители получают широкие полномочия для практических шагов. Пионером подобного подхода был министр Каутилья (четвертый век до нашей эры), которому приписывают активное участие в воцарении династии Маурьев, изгнавшей преемников Александра Великого из Северной Индии и впервые объединившей субконтинент в одно государство.

Каутилья писал об Индии, сравнимой по бедственному состоянию с Европой до Вестфальского мира. Он перечислял множество государств, потенциально вовлеченных в постоянные конфликты друг

с другом. Подобно Макиавелли, он анализировал тот мир, который видел вокруг, и предлагал практическое, а не нормативное руководство к действию. Этическая основа трактата Каутильи идентична мыслям Ришелье, жившего двумя тысячами лет позже: государство – хрупкое образование, и государственный муж не вправе рисковать его выживанием во имя этических принципов.

Традиция гласит, что то ли в ходе, то ли по завершении своих практических трудов Каутилья составил свод наставлений в области стратегии и внешней политики на основании наблюдений за событиями; этот свод известен как «Артхашастра». Данный трактат излагает, бескомпромиссно и четко, представление о том, как создать и сохранить государство, нейтрализуя, умиротворяя и (когда возникают подходящие условия) завоевывая соседей. «Артхашастра» рассказывает о практике государственного управления, а не о теории, обсуждаемой на философских диспутах. Для Каутильи власть являлась доминирующей реальностью. Она многомерна, и ее составляющие взаимозависимы. Все элементы той или иной ситуации актуальны, вычисляемы и пригодны для манипуляций со стороны лидера для достижения стратегических целей. География, финансы, военная сила, дипломатия, шпионаж, право, сельское хозяйство, культурные традиции, мораль и общественное мнение, слухи и легенды, пороки и слабости людей – все это мудрому правителю следует знать и использовать, дабы укрепить и расширить свою власть; так в современных оркестрах дирижер подчиняет исполнителей своей воле ради единства мелодики. Словом, налицо комбинация идей Макиавелли и Клаузевица.

За тысячелетия до того, как европейские мыслители сумели сложить из разрозненных фактов теорию баланса сил, «Артхашастра» предлагала аналогичную, даже более комплексную систему под названием «круг государств». Политические курсы соседствующих государств, согласно анализу Каутильи, существуют в состоянии латентной вражды. Сколько бы показной дружбы ни демонстрировал правитель, он, когда его могущество значительно возрастет, в конце концов обнаружит, что в его интересах приступить к регулярному ослаблению соседей. Это, если угодно, динамическое самосохранение, к которому мораль не имеет никакого отношения. Во многом опередив Фридриха Великого, действовавшего две тысячи лет спустя, Каутилья

пришел к выводу, что безжалостная логика конкуренции не допускает никаких отклонений: «Победителю надлежит [всегда] стремиться укреплять собственную власть и добиваться собственного счастья». Императив очевиден: «Если... завоеватель побеждает, тогда следует воевать; в противном случае война бесполезна»^[85].

Европейские теоретики провозгласили баланс сил высшим идеалом внешней политики и предложили мировой порядок, основанный на «равновесии» государств. По «Артхашастре» цель стратегии состоит в покорении всех прочих государств и преодолении того равновесия, которое стоит на пути к победе. В этом отношении Каутилья более сопоставим с Наполеоном и Цинь Ши-хуанди (императором, который объединил Китай), чем с Макиавелли.

С точки зрения Каутильи, государства обязаны отстаивать свои интересы, это даже важнее, чем слава. Мудрый правитель будет искать союзников среди соседей своих соседей. Цель такого поведения – создание системы альянсов с победителем в центре: «Государь, желающий победить, должен воображать круг государств в виде колеса – сам он в центре, а его союзники по ободу, соединенные с ним осями, пусть и разделенные спорными территориями. Противник, сколь бы силен он ни был, становится уязвимым, когда его помещают между завоевателем и союзниками последнего». Никакой союз при этом не считается постоянным. Даже в собственной системе альянсов государю следует «вести дела так, чтобы увеличивать свою власть», и маневрировать, дабы укрепить позиции своего государства и помешать соседям злоумышлять против него.

Подобно китайскому стратегу Сунь-Цзы, Каутилья утверждал, что наименее прямой курс зачастую самый мудрый: для разжигания розни между соседями или потенциальными союзниками, чтобы «заставить одного соседнего государя бороться с другим и таким образом предотвратить попытки соседей объединиться – а затем захватить территорию врага». Стратегические усилия не имеют предела. Когда стратегия побеждает, владения государя расширяются, границы перекраиваются, и круг государств необходимо «калибровать» заново – и провести новые исчисления могущества: «Отныне некоторые бывшие союзники становятся врагами, и наоборот».

Разведывательные операции, которые в наше время именуются тайными, в «Артхашастре» признаются важным инструментом

политики. Действуя во «всех государствах круга» (то есть на территории друзей и врагов) и привлекая в свои ряды «святых подвижников, странствующих монахов, фокусников, бродячих певцов возниц, бродяг [и] гадалок», агенты разведки должны распространять слухи для разжигания розни внутри государств и между ними, деморализовывать вражеские войска и «уничтожать» противников своего государя, когда представится такая возможность.

Надо отметить, что Каутилья видел цель беспощадной политики в построении гармоничной универсальной империи, приверженной дхарме – вневременному этическому порядку, принципы которого установлены богами^[86]. Но обращение к морали и религии производилось больше во имя практических, оперативных целей, чем во имя соблюдения принципов как таковых; это элементы стратегии и тактики завоевателя, а не императивы объединяющего порядка. «Артхашастра» советовала вести себя сдержанно и человеколюбиво – что в большинстве случаев стратегически полезно: государь, изводящий своих подданных, может лишиться их поддержки и будет уязвим перед восстанием или вторжением; завоеватель же, который из прихоти надругался над обычаями и моралью покоренного народа, рискует спровоцировать этот народ на мятеж.

Исчерпывающий и бесстрастный «каталог» необходимых условий успеха, перечисляемых в «Артхашастре», побудил уважаемого политического теоретика двадцатого столетия Макса Вебера высказать мнение, что «Артхашастра» является примером «радикального макиавеллизма...по сравнению с которым «Государь» Макиавелли безвреден». В отличие от Макиавелли Каутилья нисколько не ностальгирует по добродетелям «золотого века». Единственный критерий добродетели, для него приемлемый, – это насколько точен его анализ пути к победе. Но описывает ли он политику, которая проводилась в действительности? По Каутилье, равновесие, если такое вообще достигалось, есть временный результат взаимодействия небескорыстных мотивов; это не стратегическая цель внешней политики (как в случае европейских концепций послевестфальского мира). «Артхашастра» – руководство по завоеваниям, а не пособие по строительству международного порядка.

То ли следуя рецептам «Артхашастры», то ли нет, Индия достигла наибольшего территориального охвата в третьем веке до нашей эры,

когда почитаемый император Ашока правил землями, включавшими всю сегодняшнюю Индию, Бангладеш, Пакистан и часть Афганистана и Ирана^[87]. Затем, примерно когда Китай стал объединяться под властью императора Цинь Ши-хуанди, в 221 году до нашей эры, Индия раскололась на конкурирующие царства. Вновь объединенная несколько столетий спустя, она снова распалась в седьмом веке нашей эры, когда ислам бросил вызов монархиям Европы и Азии.

Почти тысячелетие Индия – с ее плодородными почвами, богатыми городами и блистательными интеллектуальными и технологическими достижениями – пребывала жертвой завоеваний и преобразований. Волны завоевателей и авантюристов – турки, афганцы, парфяне, монголы – накатывали каждое столетие из Центральной и Юго-Западной Азии на индийские равнины, создав в итоге лоскутное одеяло из мелких княжеств. Субконтинент стал своеобразным «Большим Ближним Востоком», где властвовали узы религии, этнической принадлежности – и стратегической целесообразности, сохранившиеся по сей день. На протяжении большей части этого периода завоеватели были слишком враждебны друг другу, чтобы допустить чье-либо доминирование в регионе или ослабить индийские династии на юге. Позднее, в шестнадцатом столетии, наиболее искусным из этих захватчиков, моголам, удалось объединить существенную часть субконтинента под своим правлением. Империя Великих Моголов воплощала собой палитру индийских различий: мусульманская вера, тюркско-монгольская по этническому составу, персидская по культуре элита, империя правила индуистским населением, фрагментированным региональными идентичностями.

В этом водовороте языков, культур и вероисповеданий появление очередных иностранных авантюристов в шестнадцатом веке сначала не показалось столь уж значимым событием. Рассчитывая на прибыль от расширяющейся торговли с богатой империей Великих Моголов, частные английские, французские, голландские и португальские компании соперничали друг с другом за плацдармы на субконтиненте и за обзаведение дружескими связями. Индийские владения Британии были самыми крупными, пусть и создавались изначально без четко сформулированных намерений (это побудило профессора современной истории из Кембриджа заметить: «Мы, кажется, покорили и заселили полмира в приступе рассеянности»). Едва британцы основали оплот

своей власти и коммерции в восточном регионе Бенгалии, он оказался в окружении конкурентов, европейских и азиатских. С каждой новой войной в Европе и обеих Америках британцы в Индии принимались воевать с колониями конкурентов и их союзниками; с каждой победой они приобретали новые и новые активы за счет разгромленного противника. По мере увеличения британских владений – технически принадлежавших Ост-Индской компании, а не государству, – возникло убеждение, что им угрожают: Россия с севера, Бирма, то воинственная, то разобщенная, и амбициозные и все более независимые моголы. Тем самым появилось оправдание (по мнению британцев, конечно) дальнейших аннексий.

В конечном счете Великобритания обнаружила, что создает индийское государство, единство которого зиждилось на безопасности континентальной полосы территорий (современные Пакистан, Индия, Бангладеш и Мьянма). Произошло даже что-то вроде определения индийских национальных интересов, сформулированных для географического понятия, которое фактически действовало как государство, даже при отсутствии (предполагаемом) индийского народа. Эта политика усматривала безопасность Индии в британском военно-морском господстве в Индийском океане; в дружеских отношениях (или хотя бы нейтральных) с режимами Азии, от Сингапура до Адена; и в установлении мира на Хайберском перевале и в Гималаях. На севере Британия сопротивлялась притязаниям царской России с помощью совместных усилий шпионов, исследователей и местных сателлитов, подкрепленных небольшими контингентами английских войск (пресловутая «Большая игра», или гималайская геостратегия). Также Британия сдвинула границы Индии с Китаем севернее, в сторону Тибета; это стало одним из поводов к войне Китая с Индией в 1962 году. Современные аналоги этой политики являются ключевыми элементами внешней политики независимой Индии. Они определяют региональный порядок Южной Азии, чьим «стержнем» служит Индия, и предотвращают попытки любой страны, не важно, каково ее внутреннее устройство, обрести могущество в степени, представляющей угрозы для соседних территорий.

Когда Лондон отреагировал в 1857 году на мятеж мусульманских и индийских солдат в армии Ост-Индской компании, объявив прямое британское правление, этот акт не рассматривался как установление

британского управления в иностранном государстве. Скорее, это виделось как нейтральный надзор и «цивилизаторская миссия» по отношению к многообразию индийских народов и княжеств. Еще в 1888 году один из ведущих британских администраторов заявлял:

«В Индии нет и никогда не было, равно как и в любом из местных княжеств, соответствующего европейским представлениям единства, будь то физическое, политическое, социальное или религиозное... С тем же успехом и той же вероятностью можно смело ожидать, когда некий единый народ займет место нынешних народов Европы».

Решив после подавления мятежа управлять Индией как единым имперским доминионом, Великобритания сделала важнейший шаг к рождению подлинно единой Индии. Разобщенные регионы соединили при помощи железных дорог и общего языка (английского). Чудеса древних цивилизаций Индии изучались и каталогизировались, элита Индии набиралась знаний и опыта от британской мысли и британских институтов. Британия невольно заставила Индию вспомнить, что та – единое образование под иностранным владычеством, и вдохновила индийцев на мысли о сплоченности: чтобы избавиться от иностранного влияния, нужно осознать себя как нацию. Влияние Британии на Индию можно сравнить с влиянием Наполеона на Германию, чьи мелкие разрозненные княжества до той поры воспринимались исключительно как географическое, а не национальное, единство.

Способ, которым Индия добилась независимости и обозначила свою роль в мире, отражает ее разнообразное наследие. Индия выживала на протяжении веков, сочетая непроницаемость культуры и необыкновенную психологическую ловкость в отношениях с оккупантами. Пассивное сопротивление Мохандаса Ганди британскому правлению стало возможным в первую очередь благодаря духовному призванию самого Махатмы, но оно оказалось и наиболее эффективным методом противостояния имперской власти, поскольку упало на основные ценности свободного и либерального британского общества. Как американцы двумя столетиями ранее, индийцы боролись за независимость, опровергая «справедливость» колониального статуса концепциями свободы, которые осваивали в

британских школах (в том числе в Лондонской школе экономики, где будущие лидеры Индии приобрели многие из своих квазисоциалистических идей).

Современная Индия видит в независимости не только триумф национального строительства, но и торжество универсальных моральных принципов. Подобно американским отцам-основателям, ранние лидеры независимой Индии приравнивали национальные интересы к проявлениям высокой нравственности. Однако они действовали по вестфальским принципам применительно к распространению внутренних институтов, выказывая слабую заинтересованность в развитии демократии и отстаивании прав человека в мировом масштабе.

Как сказал премьер-министр нового независимого государства Джавахарлал Неру, основой внешней политики Индии будут национальные интересы страны, а не идеалы международного сотрудничества и не культивация «совместимых» способов правления. В своей речи 1947 года, вскоре после обретения независимости, он объяснил:

«Какую бы политику ни намечать, искусство ведения иностранных дел страны заключается в поисках наиболее выгодных для этой страны условий. Мы можем говорить о международной доброй воле и нисколько не лукавить. Но в конечном счете правительство действует во благо страны, которой оно управляет, и ни одно правительство не вправе совершать того, что в краткосрочной или долгосрочной перспективе может нанести ущерб этой стране».

Каутилья (и Макиавелли) не сказали бы лучше.

Неру и последующие премьер-министры, в том числе его дочь, знаменитая Индира Ганди, укрепляли позиции Индии в качестве элемента системы глобального баланса сил, превращая внешнюю политику страны в инструмент выражения высшего морального авторитета Индии. Отстаивание собственных национальных интересов Индия представляла как сугубо просветительский проект – подобно Америке почти двумя столетиями ранее. Неру и Индире Ганди, премьер-министру с 1966 по 1977 год и с 1980-го по 1984-й, удалось обозначить молодую нацию как одного из главных участников

международного порядка, сформировавшегося после Второй мировой войны.

Политика неприсоединения отличалась от политики, которой следует типичный «балансировщик» в системе баланса сил. Индия не выказывала готовности примыкать к более слабым (так обычно поступает «балансировщик»). Она не интересовалась активным участием в международных делах. Ее основной стимул сводился к тому, чтобы не оказаться формально в любом из лагерей, и она измеряла успех по способности избегать конфликтов, не связанных с национальными интересами.

Войдя в мир соперничающих сверхдержав и холодной войны, независимая Индия тонко добивалась свободы маневра, возвела ее из переговорной тактики в этический принцип. Смешивая праведный морализм с проницательной оценкой баланса сил и психологии сверхдержав, Неру заявил, что Индия является мировой державой, которая пролагает курс между основными конкурирующими блоками. В 1947 году он сказал в интервью журналу «Нью рипаблик»:

«Мы предполагаем избегать участия в любых блоках или группах держав, понимая, что только таким образом сможем служить не только Индии, но и миру во всем мире. Данная политика порою побуждает выразителей интересов какой-либо группы полагать, что мы поддерживаем другую группу. Каждый народ в реализации внешней политики ставит свои интересы на первое место. К счастью, интересы Индии соответствуют мирной внешней политике и сотрудничеству со всеми прогрессивными народами. Неизбежно Индия будет сближаться с теми странами, которые дружелюбны и намерены сотрудничать».

Другими словами, Индия нейтральна и не участвует в «силовой политике» – отчасти потому, что привержена миру во всем мире, но также потому, что таковы ее национальные интересы. Когда СССР предъявлял ультиматумы по Берлину в 1957–1962 годах^[88], две американские администрации, особенно администрация Джона Кеннеди, обращались к Индии за поддержкой от имени изолированного города, стремящегося сохранить свою свободу. Но Индия заявила, что любая попытка навязать стране нормы холодной войны лишит ее нынешнего статуса и, как следствие, ослабит ее

позиции. Краткосрочный моральный нейтралитет есть средство достижения долгосрочного морального воздействия. Как Неру говорил своим помощникам:

«Абсурдно и политически неверно индийской делегации избегать отношений с советским блоком из опасений рассердить Америку. Наступит время, когда мы сможем сказать, ясно и определенно, американцам и всем прочим, что, если они и впредь будут проявлять недружелюбие, мы обязательно найдем друзей в другом месте».

Суть стратегии состояла в том, что она позволила Индии заручиться поддержкой обеих лагерей холодной войны – страна получала военную помощь и дипломатически сотрудничала с советским блоком, одновременно принимая экономическую помощь США и укрепляя моральные узы с американским интеллектуальным истеблишментом. Несмотря на всю напряженность холодной войны, для формирующейся нации это был мудрый курс. С учетом едва появившейся армии и слаборазвитой экономики, Индия была уважаемым, но второстепенным союзником. В качестве «свободного агента» она обладала куда более серьезным влиянием.

В погоне за этой ролью Индия намеревалась создать блок государств-единомышленников – по сути, движение неприсоединения. Как сказал Неру делегатам афро-азиатской конференции 1955 года в Бандунге (Индонезия):

«Неужели мы, страны Азии и Африки, лишены всякой возможности самостоятельного выбора? Неужели мы обязательно должны быть прокоммунистическими или антикоммунистическими? Неужели дошло до того, что лидеры наций, создавших мировые религии и вообще все, что есть в современном мире, должны непременно объединяться в такого рода группы или считаться прихвостнями той или иной группы, исполнять любые их пожелания и порой подсказывать умные мысли? Это поистине унижительно и оскорбительно для всякого уважающего себя народа, для любой нации. Мне невыносимо думать, что великие страны Азии и Африки покончили с колониальным рабством только ради того, чтобы деградировать, унижить себя подобным образом».

Итоговое обоснование отказа Индии от участия в «силовой политике» времен холодной войны сводилось к тому, что она не видела здесь учета своих национальных интересов. Разделительные линии между блоками в Европе не вызывали у Индии желаний конфликтовать с Советским Союзом, до которого всего несколько сотен миль, и объединяться с Пакистаном. Она также не рисковала провоцировать враждебность мусульман, вмешиваясь в ближневосточные противоречия. Индия воздержалась от осуждения агрессии Северной Кореи против Южной и подрывной деятельности Северного Вьетнама против Южного. Лидеры Индии вовсе не стремились изолировать себя от того, что они определяли как прогрессивные тенденции развивающегося мира, или навлекать неудовольствие советской сверхдержавы.

Тем не менее Индия оказалась вовлечена в войну с Китаем в 1962 году и вела четыре войны с Пакистаном (одна из которых, 1971 года, была подкреплена свежеподписанным договором о военном сотрудничестве с СССР и завершилась разделением основного противника Индии на два отдельных государства, Пакистан и Бангладеш, что значительно улучшило общее стратегическое положение Индии).

В стремлении возглавить движение неприсоединения Индия придерживалась концепции международного порядка, совместимой с той, которую она «унаследовала», на глобальном и региональном уровнях. Официальная формулировка этой концепции была классически вестфальской и совпадала с традиционным европейским балансом сил. Неру определил подход Индии в терминах «пяти принципов мирного сосуществования». Несмотря на аллюзию к индийской философии (панча шила – пять принципов сосуществования^[89]), это, по сути, более «духовный» вариант вестфальской модели многополярного порядка суверенных государств:

- 1) Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета;
- 2) Ненападение;
- 3) Невмешательство во внутренние дела;
- 4) Равенство и взаимная выгода;
- 5) Мирное сосуществование.

Пропаганда абстрактных принципов мироустройства сопровождалась разработкой доктрины индийской безопасности на региональном уровне. Подобно американским политикам, воспринявшим доктрину Монро^[90] как идею особой роли Америки в Западном полушарии, Индия реализовала на практике особое положение региона Индийского океана между Ост-Индией и Африканским Рогом. Как Британия по отношению к Европе в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях, Индия стремится не допустить появления доминирующей державы в этом огромном регионе. И, снова подобно американским политикам, не ждавшим одобрения доктрины Монро странами Западного полушария, Индия в регионе своих особых стратегических интересов строит политику по собственному усмотрению, по собственной версии южноазиатского порядка. Пусть американский и индийский взгляды нередко расходились во времена холодной войны, после распада Советского Союза Индия и США в значительной степени одинаково смотрят на перспективы региона Индийского океана и его периферии.

С окончанием холодной войны Индия освободилась от многих конфликтующих давлений и от некоторых социалистических «увлечений». Она провела экономические реформы, спровоцированные платежным кризисом 1991 года и поддержанные МВФ. Индийские компании ныне занимают лидирующие позиции в ряде основных индустрий. Это новое направление политики отразилось и в дипломатии: теперь Индия ищет новых партнеров по всему миру, особенно в Африке и Азии, и всячески подчеркивает свою роль в многосторонних экономических и финансовых контактах. В дополнение к росту экономического и дипломатического влияния Индия значительно увеличила военную мощь, в том числе флот и ядерный арсенал. Через несколько десятилетий она опередит Китай и станет самой густонаселенной страной Азии.

Роль Индии в мировом порядке осложняется структурными факторами, связанными с ее положением. Среди самых важных – отношения Индии с ближайшими соседями, в частности, с Пакистаном, Бангладеш, Афганистаном и Китаем. Противоречивые узы и антагонизмы отражают тысячелетия соперничества, миграций, рейдов британской армии на окраинах индийского доминиона – и практически моментального крушения британского колониального

правления сразу после Второй мировой войны. Ни одно государство субконтинента не признало в полном объеме границы 1947 года. Эти временные, по мнению заинтересованных сторон, спорные границы уже много лет являются поводом для спорадических вспышек насилия, военных столкновений и нападений террористов^[91].

Границы с Пакистаном, которые примерно проложены по линии концентрации исламского населения на субконтиненте, можно назвать этническими. Они «произвели» на свет государство, основанное на мусульманской религии, с территорией, которая прежде являлась двумя несмежными частями Британской Индии, разделенными тысячей километров индийской территории, – прямо-таки идеальные условия для приграничных войн. Границы с Афганистаном и Китаем установлены по линиям, прочерченным в девятнадцатом веке британскими колониальными администраторами, позже яростно оспариваемым и по сей день сомнительным. Индия и Пакистан накопили каждый значительный ядерный арсенал и обладают немалым военным влиянием в регионе. Пакистан также терпит (а порою откровенно подстрекает) религиозный экстремизм, в том числе поддерживает террористов в Афганистане и в самой Индии.

Особого внимания заслуживают отношения Индии с большим мусульманским миром, неотъемлемой частью которого она является. Индию часто классифицируют как восточноазиатскую или южноазиатскую страну. Но она имеет давние и крепкие связи с Ближним Востоком, а ее мусульманское население многочисленнее, чем в Пакистане, да и в любой другой исламской стране, кроме Индонезии. До сих пор Индии удавалось «отгораживаться» от наиболее радикальных форм политического экстремизма и избегать насилия на религиозной почве – частично благодаря «просвещенному» обращению с меньшинствами и культивированию общеиндийских принципов, в том числе демократии и национализма, которые снимают локальные различия. Тем не менее этот результат – не навсегда, и поддержание внутреннего мира требует согласованных усилий. Дальнейшая радикализация арабского мира или масштабный гражданский конфликт в Пакистане чреваты для Индии значительным внутренним давлением.

Нынешняя Индия проводит внешнюю политику, во многом схожую с политикой времен британского владычества: она стремится строить

региональный порядок на балансе сил – по дуге, простирающейся через полмира, от Ближнего Востока до Сингапура, а затем на север, в Афганистан. Ее отношения с Китаем, Японией и Юго-Восточной Азией следуют образцам, схожим с европейскими примерами девятнадцатого века. Подобно Китаю, она не стесняется использовать отдаленных «варваров», вроде США, для достижения своих региональных целей (хотя в публичных характеристиках обе страны, конечно, прибегают к более элегантным формулировкам). В администрации Джорджа Буша-младшего иногда обсуждалось стратегическое сотрудничество Америки с Индией в глобальном масштабе. Пока оно по-прежнему ограничивается Южной Азией, поскольку политика неприсоединения препятствует глобальным договоренностям; вдобавок Индия и США не готовы принять конфронтацию с Китаем в качестве постоянного принципа национальной политики.

Как британцы девятнадцатого столетия, которым пришлось увеличить свое участие в мировых вопросах для защиты стратегических путей в Индию, в двадцать первом веке Индия ощущает себя обязанной играть все более значимую стратегическую роль в Азии и в мусульманском мире, чтобы предотвратить потенциальное доминирование стран и идеологий, признаваемых враждебными. Следуя таким курсом, Индия естественно вовлеклась в говорящую по-английски «англосферу». Тем не менее она, скорее всего, продолжит выполнять заветы Неру, сохраняя свободу маневра в азиатских и ближневосточных делах и в политике по отношению к ключевым автократическим странам, доступ к ресурсам которых потребуется Индии для реализации масштабных экономических планов. Эти приоритеты будут порождать собственные императивы, заставляющие пересматривать традиции взаимодействий. С учетом новой американской позиции по Ближнему Востоку, различные страны примутся искать партнеров для укрепления своего положения и создания регионального порядка. А стратегический анализ не позволит Индии допустить вакуум власти в Афганистане или гегемонии в Азии другой державы.

Во главе с националистическим правительством, избранным подавляющим большинством голосов в мае 2014 года, под лозунгами реформ и экономического роста, Индия будет и далее преследовать

свои традиционные внешнеполитические цели – с новой силой. Правительство Нарендры Моди, получившее народную поддержку и имеющее харизматичного лидера, может посчитать, что ему по силам разрешить исторические проблемы, будь то конфликт с Пакистаном или отношения с Китаем. Индию, Японию и Китай сегодня возглавляют сильные и стратегически ориентированные администрации, поэтому пространство как для активизации соперничества, так и для потенциальных смелых решений значительно расширяется.

При любом развитии событий Индия станет опорой порядка двадцать первого века, его неотъемлемым элементом благодаря своему географическому положению, ресурсам и традициям руководства и будет активно участвовать в стратегическом и идеологическом развитии региона и самого порядка, который она олицетворяет.

Что такое региональный порядок Азии

Исторический европейский порядок был самодостаточным. Англия до начала двадцатого столетия была в состоянии сохранять баланс сил благодаря своему островному положению и господству на морях. Порой европейские державы привлекали другие страны для временного укрепления собственных позиций – так Франция «обхаживала» Османскую империю в шестнадцатом веке, а в начале двадцатого века Великобритания заключала союз с Японией, – но западные государства практически не имели интересов в Европе, не считая окказиональных набегов с Ближнего Востока или из Северной Африки, и их не звали вмешиваться в европейские конфликты.

Напротив, современный азиатский порядок включает в себя внешние силы как неотъемлемую часть: это США, роль которых как азиатско-тихоокеанской державы подтверждена, в частности, совместными заявлениями президента Барака Обамы и главы Китая Ху Цзиньтао в январе 2011 года (а позднее Си Цзиньпином в июне 2013 года), и Россия, географически – азиатская держава^[92] и участник ряда азиатских блоков, например, Шанхайской организации сотрудничества, пусть даже три четверти населения России проживают в европейской части страны^[93].

Соединенным Штатам Америки в наше время приходилось выступать в качестве балансира власти. При подписании Портсмутского мирного договора 1905 года они были посредниками между Россией и Японией; в ходе Второй мировой войны США разгромили Японию, притязавшую на гегемонию в Азии. Сопоставимую роль США сыграли и в годы холодной войны, когда пытались «уравновесить» Советский Союз, заключив ряд двусторонних соглашений с азиатскими странами, от Пакистана до Филиппин.

Развивающаяся азиатская структура должна учитывать множество государств, которые не упоминались на предыдущих страницах. Индонезия, «исламский якорь» Юго-Восточной Азии, сегодня становится значимым игроком на региональной арене, и до сих пор ей удавалось успешно балансировать между Китаем, США и мусульманским миром. Имея в соседях Японию, Россию и Китай, Республика Корея создала демократическое государство и экономику, конкурентную в глобальных масштабах, в том числе обеспечила себе лидерские позиции в стратегических отраслях – телекоммуникациях и судостроении. Многие азиатские страны – включая Китай – воспринимают КНДР как дестабилизирующий фактор, но коллапс Северной Кореи вызывает еще большие опасения. Южной Корее, со своей стороны, предстоит столкнуться с ростом внутреннего давления в пользу объединения двух стран.

На фоне колоссальных масштабов Азии и грандиозного разнообразия азиатские народы создали великолепную систему многосторонних соглашений и двусторонних партнерств. В отличие от Европейского союза, НАТО и Совецания по безопасности и сотрудничеству в Европе, эти институты решают проблемы безопасности и экономические вопросы индивидуально, избегая формального подхода к соблюдению правил регионального порядка. Некоторые ключевые блоки региона созданы с участием Соединенных Штатов, другие, скажем, экономические, включают только азиатские страны; наиболее важным и эффективным из этих блоков является АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Основной принцип блока – сотрудничать со странами, теснее всего связанными с поставленными задачами.

Но означает ли все это существование особого азиатского порядка? В европейском равновесии интересы основных сторон сопоставимы, если не одинаковы. Баланс сил мог появиться не только как практика – что неизбежно при отсутствии гегемонии, – но и как система легитимности, одобряющая решения и способствующая умеренной политике. В Азии подобного сходства не существует, что очевидно из приоритетов, установленных для себя основными игроками. Индия видит своим соперником преимущественно Китай (в значительной мере это следствие пограничной войны 1962 года), а Китай считает достойными соперниками Японию и США. При этом Индия тратит меньше военных ресурсов на Китай, чем на Пакистан, который, не будучи конкурентом, остается стратегической заботой Дели.

Аморфный характер азиатских группировок отчасти определяется тем, что география с давних пор отмечает резкий «водораздел» между Восточной и Южной Азией. Культурные, философские и религиозные влияния преодолевают географические разделительные линии; индийские и конфуцианские концепции управления сосуществуют в Юго-Восточной Азии. Но горы и джунгли оказались слишком серьезными преградами для полноценных военных конфликтов между великими империями Восточной и Южной Азии – и оставались таковыми вплоть до двадцатого века. Монголы и их преемники пришли на индийский субконтинент из Средней Азии, а не через гималайские перевалы, и не смогли добраться до южных районов Индии. Различные регионы Азии геополитически и исторически идут разными курсами.

Региональные порядки, строившиеся в те периоды, не использовали ни одного принципа вестфальской системы. Там, где европейский порядок предусматривал равновесие территориально определенных «суверенных государств», признающих равенство друг друга юридически, традиционная азиатская политика прибегала к менее однозначным критериям. До современной эпохи «внутренняя Азия», обширное пространство под властью поочередно Монгольской империи, России и ислама, сосуществовала с китайской практикой имперской дани; а последняя распространилась на монархии Юго-Восточной Азии, которые соглашались с притязаниями Китая на универсальную модель, даже практикуя формы правления на основе индийской модели, подразумевавшей божественность правителей.

Сегодня различные традиции все чаще соприкасаются, и между азиатскими странами нет согласия ни по поводу исхода этих контактов, ни по историческим урокам для порядка двадцать первого века. В современных условиях возникли сразу два баланса сил – в Южной Азии и в Восточной. Ни один из них не обладает характерной чертой европейского баланса – «балансиrom», то есть страной, способной поддерживать равновесие посредством помощи более слабым. Соединенные Штаты (после ухода из Афганистана) воздерживаются от вмешательства в нынешнее «внутреннее» равновесие в Южной Азии, прежде всего военное. Но США придется проявлять активность на дипломатическом поприще, чтобы восстановить региональный порядок, иначе возникнет вакуум власти, который неизбежно вовлечет все азиатские страны в региональное противостояние.

Глава 6

К азиатскому порядку: конфронтация или партнерство?

Наиболее распространенной характеристикой азиатских государств является присущее им самоощущение «возникновения» или «постколониальности». Все они стремятся преодолеть наследие колониального правления и потому подчеркивают свою национальную идентичность. Все разделяют убеждение, что мировой порядок ныне формируется заново после насильственного вмешательства Запада, длившегося несколько столетий, однако практически каждая страна усвоила собственный урок из колониального прошлого. Когда высшие чиновники этих стран рассуждают о «коренных интересах», многие из них обращаются к другой культурной традиции и идеализируют чужой золотой век.

В Европе восемнадцатого и девятнадцатого веков «сохранение равновесия» – и, как следствие, статус-кво – рассматривалось как позитивный фактор. В Азии едва ли не каждое государство ориентируется на собственную динамику. Убежденное в том, что оно «развивается», это государство уверено, что мир должен оценить его по заслугам. Пусть никто не оспаривает суверенитет и авторитет других и все выражают приверженность «ненулевой дипломатии», одновременная реализация стольких программ национального строительства не может не придавать региональному порядку волатильности. С развитием современных технологий крупные азиатские страны накапливают огромные военные арсеналы, гораздо более разрушительные, чем те, которыми обладали наиболее могущественные европейские державы девятнадцатого века, и это усугубляет риски неверной оценки ситуации.

«Упорядочивание» Азии, таким образом, становится важнейшей задачей мирового сообщества. Самосознание основных азиатских игроков и стремление к соблюдению национальных интересов в ущерб балансу сил сформировали «механику» нынешнего порядка. И ближайшее будущее покажет, способно ли транстихоокеанское партнерство обеспечить мирную основу для взаимодействия многих конфликтующих интересов.

Международный порядок в Азии и Китае

Среди всех концепций мироустройства Азии китайская отличается наиболее давней традицией, самой четкой формулировкой – и далее всего отстоит от вестфальских принципов. Вдобавок Китай предпринял самое длительное и сложное путешествие в истории – от древней цивилизации к классической империи, затем к коммунистическому режиму и, наконец, к современной великой державе; безусловно, этот курс окажет серьезное влияние на человечество в целом.

С момента возникновения страны в качестве единого политического образования в 221 году до нашей эры и до начала двадцатого столетия позиция Китая в центре мирового порядка воспринималась местными элитами как настолько очевидная, что в китайском языке не было слова, обозначающего данное явление. Лишь историки в ретроспективе описали «синоцентричную» систему дани. Согласно этой традиционной концепции, Китай видел себя единственным, в некотором смысле, суверенным государством в мире. Его император воспринимался как фигура космических масштабов, как «стержень», соединяющий человеческое и божественное. Его владениями был вовсе не «Китай», не территории, на которых он непосредственно правил, но «Вся Поднебесная», где Китай выступал как центр и очаг цивилизации – «Срединное государство», вдохновляющее и ведущее за собой остальное человечество.

С этой точки зрения мировой порядок отражает универсальную иерархию, а не равновесие конкурирующих суверенных государств. Каждое известное общество трактуется как состоящее в своего рода вассальных отношениях с Китаем, частично основанных на близости культуры конкретного общества к китайской культуре; и никто не в состоянии претендовать на равенство. Монархи других стран – не коллеги-сюзерены, а лишь прилежные ученики, осваивающие искусство управления и подлежащие цивилизаторству. Дипломатия представляет собой не процесс согласования суверенных интересов путем переговоров, а набор тщательно продуманных церемоний, в рамках которых другие общества имеют возможность подтвердить отведенное им место в глобальной иерархии. В соответствии с таким

подходом «внешняя политика» (в современном смысле) классического Китая подпала под надзор министерства церемоний, что и определяло характер трибутарных отношений, а «пограничное» министерство ведало взаимодействием с кочевыми племенами. Китайское министерство иностранных дел появилось только в середине девятнадцатого столетия, и то по необходимости – когда в страну явились «варвары» с Запада. Но даже тогда китайские чиновники продолжали считать своей задачей наставление «варваров» в искусстве управления; то есть в Китае не было и намека на вестфальские принципы дипломатии. Новое министерство носило показательное название – «министерство управления делами всех народов»; отсюда следовало, что Китай вообще не ведет межгосударственную дипломатию.

Цель трибутарной системы заключалась во внушении уважения, а не в извлечении экономической выгоды и не в подавлении чужих культур военной силой. Самое внушительное архитектурное сооружение Китая, Великая Китайская стена, протянувшаяся примерно на пять тысяч миль, была заложена императором Цинь Ши-хуанди, который только что победил всех соперников, завершил эпоху «воюющих царств» и объединил Китай. Это грандиозное свидетельство военных побед, но также и признание собственных слабостей – воплощение огромной силы, сознающей свою уязвимость. На протяжении тысячелетий Китай чаще хитрил и искушал противников, чем пытался победить их оружием. Некий министр династии Хань (206 до н. э. – 220 н. э.) описал «пять приманок», которыми он предполагал управлять дикими племенами хунну на северо-западной границе Китая (пусть в военном отношении Китай, разумеется, кочевников превосходил):

«Нужно оделить их... приличным платьем и повозками, дабы соблазнить взоры; накормить их отличными яствами, дабы соблазнить уста; пусть звучит музыка и щебечут женщины, дабы соблазнить слух; нужно простроить для них высокие дома и амбары и дать им рабов, дабы соблазнить чрево... а тем, кто придет поклониться, император выкажет милость, встретит их достойным приемом в своем дворце и сам станет подавать им пищу и вино, дабы соблазнить разум. Вот таковы пять приманок».

Отличительной чертой дипломатических ритуалов Китая было коленопреклонение – следовало встать на колени и коснуться головой пола, признавая величие императора; это сознательное унижение, конечно, мешало отношениям с современными западными государствами. Впрочем, коленопреклонение считалось добровольным – тем самым чужестранный дипломат выказывал уважение народу, который не столько завоевывали, сколько почитали. Дань, которую вручали императору на подобных церемониях, нередко уступала по стоимости ответным дарам императора.

Китай традиционно стремился доминировать психологически, через свои достижения и протокол, но время от времени все-таки предпринимал военные походы, чтобы преподать непокорным варварам «урок» и внушить уважение. Обе упомянутые стратегические цели и принципиально «психологический» подход к вооруженным конфликтам были продемонстрированы совсем недавно, в войнах с Индией (1962) и Вьетнамом (1979), а также нашли отражение в способах, какими Китай подтверждал свои коренные интересы в отношениях с другими соседями.

Тем не менее Китай не был миссионерским обществом в западном понимании этого термина. Он стремился внушать уважение, а не преобразовывать; эту тонкую линию китайцы никогда не пересекали. Главное – достижения, которые, как ожидалось, другие общества оценят и перед которыми станут благоговеть. Вполне возможно, что некую страну признают другом, даже закадычным, но ей все равно ни за что не стать равной Китаю. По иронии судьбы, единственными иностранцами, сумевшими добиться почти подобного статуса, были завоеватели. История знает ряд примеров культурного империализма, и наиболее показательные относятся как раз к Китаю: два народа, которые завоевали Китай – монголы в тринадцатом веке и маньчжуры в семнадцатом, – вынуждены были принять основы китайской культуры, чтобы им стало проще управлять столь многочисленным населением, искренне убежденным в своем культурном превосходстве. Завоеватели в итоге оказались в значительной степени ассимилированы побежденным обществом, причем со временем немалые части их родовых территорий стали восприниматься как исконно китайские. Китай не проявлял намерения экспортировать свою политическую систему; скорее, он даровал ее другим. В этом

смысле он расширялся не завоеваниями, а спонтанными приращениями.

В современную эпоху западные народы, тоже уверенные в собственном культурном превосходстве, попытались включить Китай в европейский миропорядок, на котором выстраивалась структура международного порядка. Они понуждали Китай устанавливать связи с «внешним» миром через обмен посольствами и свободную торговлю и заставляли модернизировать экономику и общество, открывая дорогу христианскому прозелитизму.

Запад трактовал такое движение как процесс просвещения и вовлечения, но Китай рассматривал подобное поведение как агрессию – и пытался сначала «парировать», а затем перешел к прямому противостоянию. Когда первый британский посланник, Джордж Макартни, прибыл в Китай в конце восемнадцатого столетия, он привез некоторые ранние плоды промышленной революции и письмо короля Георга III – с предложением установить свободную торговлю и учредить посольства в Пекине и Лондоне соответственно; китайская лодка, на которой он плыл из Гуанчжоу в Пекин, была украшена флагом с надписью, в переводе означавшей: «Английский посол везет дань императору Китая». Макартни передали ответное письмо королю Англии; в письме объяснялось, что никакому посланнику не разрешается проживать в Пекине, ибо «в Европе много стран, помимо твоей. Если все и каждый потребуют права быть представленными при нашем дворе, как нам на такое согласиться? Сие поистине невозможно по практическим соображениям». Император не видел необходимости и в увеличении торговли свыше тех объемов, что уже существовали (в суровых рамках жесткого регулирования), потому что у Британии нет товаров, желанных для Китая:

«Озирая широкий мир, мы привержены одной цели, а именно – поддерживать идеальное правление и надлежащим образом исполнять обязанности правителя; диковинки и дорогостоящие предметы нам неинтересны. Если мы повелим, чтобы дань, тобою отправленную, о король, все же приняли, это будет в знак уважения к тебе, который отослал сию дань из столь дальних краев... Как твой посол узрел воочию, у нас есть все».

После поражения Наполеона Британия, рассылая торговые экспедиции по всему миру, снова попыталась закрепиться в Китае и направила второго посла с аналогичным предложением. Демонстрация военно-морской мощи Великобритании в ходе Наполеоновских войн практически не повлияла на позицию Китая касательно желательности установления дипломатических отношений. Когда посол Уильям Амхерст отказался совершить церемониальное коленопреклонение под тем предлогом, что его парадный мундир еще не прибыл, британцев вежливо попросили удалиться, а стремления загладить конфуз игнорировались. Император направил послание британскому принцу-регенту, сообщая, что Китай, «повелевающий всеми землями под небом», не может допустить, чтобы посланник каждой варварской страны менял заведенный протокол. В императорской хронике появилась запись о том, что «королевство, лежащее далеко за океанами, изъявило свою покорность и жаждет приобщиться к цивилизации», но (как западный миссионер девятнадцатого века перевел этот документ) «отныне никаких новых послов не следует отправлять по сему дальнему маршруту, ибо сие будет лишь тщетной тратой сил и времени. Если король желает склонить сердце свое к покорности, можно направить посланника к нашему двору, когда будет на то приглашение. Таков истинный путь обращения к цивилизации. Дабы подчинился ты навсегда, издали мы сей указ».

Хотя подобные заявления кажутся, мягко говоря, самонадеянными, по сегодняшним меркам, и были, безусловно, серьезным оскорблением для страны, которая только что обеспечила европейское равновесие и могла похвастаться передовыми достижениями в экономике и промышленности, а также могуществом на морях, императорский ответ был составлен в полном соответствии с китайскими представлениями о мире – представлениями, которые бытовали на протяжении тысячелетий и которые оказывали влияние на многие соседние народы.

Западные державы, к их стыду, в конечном счете решили вопрос о свободной торговле радикально, настаивая на своем праве без ограничений возить самый вредный товар из всех – импортировать опиум (вот вам и рассуждения о прогрессе!). Китай в конце правления династии Цин пренебрегал совершенствованием военных технологий

– отчасти потому, что они долго оставались непревзойденными в регионе, но в основном из-за низкого статуса военных в конфуцианской социальной иерархии. Это нашло отражение в поговорке: «Добрый железом не стригут ногти, а хорошие люди не становятся солдатами». Даже в ходе вторжения западных держав династия Цин израсходовала часть военного бюджета в 1893 году на восстановление великолепной мраморной ладьи в императорском Летнем дворце.

Временно уступив военному давлению, в 1842 году Китай подписал договор с западными странами. Однако он продолжал отстаивать свою уникальность и вел упорные арьергардные действия. После решающей победы в войне 1856–1858 годов (поводом стала «неоправданная» конфискация английского судна в Гуанчжоу) Великобритания настояла на договоре, закрепившем долгожданное право учредить посольство в Пекине. Прибыв в следующем году с пышной свитой, чтобы занять свой пост, британский посланник обнаружил, что основной речной маршрут в столицу Китая заблокирован цепями и кольями. Когда отряд британских морских пехотинцев попытался устранить препятствие, китайцы открыли огонь; 519 британских солдат погибли, еще 456 были ранены. Британия тогда направила в Китай экспедиционный корпус под началом лорда Элгина, который штурмом взял Пекин и сжег Летний дворец; император и двор бежали. Жестокость британцев вынудила правящую династию неохотно даровать разрешение на создание «Посольского квартала» для размещения дипломатических представителей Запада. Согласие Китая на вестфальские принципы взаимной дипломатии суверенных государств было вырвано силой оружия.

За этими конфликтами скрывался главный вопрос: является ли Китай мировым порядком сам по себе или это государство, подобное другим и входящее в международную систему? Китай цеплялся за традиционное определение. Еще в 1863 году, после двух военных поражений от «варварских» армий и серьезных внутренних беспорядков (восстание тайпинов^[94]), которые удалось подавить только с привлечением иностранных войск, император направил послание Аврааму Линкольну, заверяя того в благосклонности Китая: «Получив милость небес и повеление править вселенной, мы

рассматриваем Срединную империю [Китай] и внешние страны как одну семью, где нет различий».

В 1872 году выдающийся шотландский синолог Джеймс Легг четко сформулировал упомянутый вопрос – с характерной для эпохи уверенностью в самоочевидном превосходстве западной концепции миропорядка:

«За последние сорок лет позиция Китая в отношении более развитых народов мира полностью изменилась. Китай заключил с ними договоры на равных условиях; но я не думаю, что его министры и население готовы взглянуть фактам в лицо и признать, что Китай – всего лишь одна из многих независимых стран в мире, что «мандат на управление Поднебесной», по которому правит император, распространяется не на весь мир, а на конкретную часть земного шара, с проложенными границами и обозначенную на карте».

Развитие технологий и торговли сводило разнонаправленные системы все ближе; каким нормам мироустройства было суждено возобладать?

В Европе Вестфальская система стала следствием существования множества де-факто независимых государств в конце Тридцатилетней войны. Азия вступила в современную эру, не располагая подобными инструментами национальной и международной организации. В ней имелось несколько цивилизационных центров, окруженных мелкими царствами, и каждый предлагал свою проработанную и закрепленную практикой схему взаимодействия.

Плодородные равнины и культура, необычно стойкая к чужеземному влиянию, а также политическая проницательность позволили Китаю сохранять единство более двух тысячелетий и оказывать значительное политическое, экономическое и культурное воздействие на регион – даже когда страна не могла похвастаться военным могуществом. Сравнительные преимущества Китая заключались в успехах экономики, которая производила товары, желанные для всех соседей. Сформированная на основе этих факторов китайская идея мирового порядка заметно отличалась от европейской, которая выросла из множественных контактов суверенных и равноправных государств.

Драматизм столкновению Китая с развитыми странами Запада и Японией придало поведение великих держав, откровенная и безудержная экспансия последних, агрессия против цивилизации, которая изначально видела в атрибутах современной государственности формы унижения. «Подъем» Китая к вершинам в двадцать первом столетии есть восстановление исторических закономерностей. Отличие только в том, что Китай вернулся и как наследник древней цивилизации, и как современная великая держава вестфальской модели. Он сочетает в себе наследие Поднебесной, плоды технократической модернизации и результаты бурных поисков национального благополучия на протяжении двадцатого века.

Китай и мировой порядок

Императорская власть пала в 1911 году, а учреждение Китайской Республики во главе с Сунь Ятсеном в 1912 году одарило Китай слабым центральным правительством и возвестило десятилетия военной диктатуры. Крепкая центральная власть вернулась в 1928 году при Чан Кайши, который хотел, чтобы Китай занял достойное место в вестфальском мировом порядке и в глобальной экономической системе. Желая и сделать страну современной, и сохранить китайские традиции, он пытался вписать Китай в международную систему, которая сама переживала нелегкие времена. Затем Япония, приступившая к модернизации на полвека раньше, двинулась к азиатской гегемонии. За оккупацией Маньчжурии в 1931 году последовало вторжение Японии в центральные и восточные районы Китая в 1937-м. Националистическому правительству не удалось закрепиться у власти, а коммунистическое движение получило передышку. Завершив Вторую мировую войну в числе стран-победителей, Китай сразу же оказался охвачен пожаром гражданской войны и революционных потрясений, отвергавшим все тысячелетнее наследие.

Первого октября 1949 года в Пекине лидер коммунистической партии Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики и добавил: «Китайский народ поднялся с колен». Мао повторял свой лозунг, доказывая, что Китаю необходимо «очиститься» и укрепиться, принять доктрину «непрерывной революции» и заняться демонтажем существующих институтов внутреннего и международного порядка. «Под прицел» попали все: западные демократии, советский коммунизм и наследие китайского прошлого. Искусство и памятники, праздники и традиции, лексика и одежда многократно и изощренно запрещались; искусство и историю обвиняли в том, что они провоцировали пассивность, которая помешала Китаю подготовиться к иностранным вторжениям. В концепции Мао – он рассуждал о «великой гармонии», цитируя классическую китайскую философию, – новому Китаю предстояло отряхнуть прах традиционной конфуцианской культуры. Каждая волна революционной энергии, утверждал Мао, будет этапом на пути к

следующей. Революцию надлежит ускорять, иначе революционеры обленятся и примутся почивать на лаврах. «Нарушение равновесия – вот общее и объективное правило»:

«Цикл, который бесконечен, развивается от равновесия к равновесию, а затем к новому нарушению равновесия. Каждый цикл, однако, приводит к более высокому уровню развития. Отсутствие равновесия нормально и абсолютно, тогда как равновесие преходяще и относительно».

В конце концов эти испытания должны породить нечто вроде традиционного для Китая результата – форму коммунизма, «естественно, китайскую», обозначающую себя своеобразным кодексом, опирающуюся на свои достижения, подчеркивающую уникальный, теперь уже революционный моральный авторитет Китая, Поднебесной в коммунистическом облике.

Международные дела тоже ставились в зависимость от уникального характера Китая. Пусть Китай объективно был слабее по шкале, которой остальной мир измерял силу, Мао настаивал на его центральной роли, на психологическом и идеологическом превосходстве, которое следовало демонстрировать конфронтацией, а не примирением с теми, кто обладал превосходящим военным могуществом. Выступая в Москве на международной конференции глав коммунистических партий в 1957 году, Мао шокировал коллег-делегатов заявлением, что в случае ядерной войны более многочисленное население и «выносливая» культура Китая сделают именно его победителем, и даже сотни миллионов погибших не заставят Китай отказаться от революционного курса. Отчасти, возможно, он блефовал, затеявая рискованную игру с обладателями обширных ядерных арсеналов, но Мао, безусловно, хотелось, чтобы мир поверил – он не боится ядерной войны. В июле 1971 года – в ходе моего тайного визита в Пекин – Чжоу Эньлай подтвердил концепцию мироустройства «по Мао», с ухмылкой процитировав мнение Председателя о китайских императорах: «Под небом – хаос, все отлично». Из хаоса Народная Республика, закаленная десятилетиями борьбы, в конечном счете восстанет во всем величии –

не только в Китае, но повсюду. Коммунистический мировой порядок, как видим, органично вырастает из классического императорского.

Подобно основателю первой по-настоящему могущественной династии Китая (221–207 до н. э.), императору Цинь Ши-хуанди, Мао стремился объединить Китай, а также мечтал уничтожить древнюю культуру, которую обвинял в слабости и унижении страны. Правил он «дистанционно», тоже подобно императорам (правда, императоры не выступали на массовых митингах), и соединил китайский опыт с практиками Ленина и Сталина. Правление Мао олицетворяет собой «дилемму революционера»: чем радикальнее изменения, к которым призывает революционер, тем сильнее сопротивление, причем не обязательно оно идет от идеологических и политических противников – достаточно инерции общества. Революционных пророков всегда соблазняет шанс бросить вызов брэнности, ускорить ход событий и умножить средства реализации своего видения. В 1958 году Мао начал неудачный «Большой скачок», намереваясь осуществить головокружительную индустриализацию, а культурную революцию затеял в 1966-м, чтобы «очистить» правящую элиту и не допустить ее институционализации; идеологическая кампания длиной в десятилетие отправила в деревню целое поколение образованной молодежи. Десятки миллионов погибли ради достижения целей Мао, уничтоженные без любви или ненависти, мобилизованные ради «вмещения» в срок одной жизни событий, которые прежде считались долгим историческим процессом.

Революционеры побеждают, когда их достижения принимаются как само собой разумеющиеся, а цена, за них заплаченная, воспринимается как должное. Некоторые из числа современных лидеров Китая тяжело пострадали в годы культурной революции, но они утверждают ныне, что эти страдания придали им сил, позволили узнать себя и научиться побуждать других к выполнению задач грандиозного преобразования страны. Китайская общественность, особенно те, кто слишком молод и не успел испытать «заботу» Мао на себе, относится к Председателю в первую очередь как к объединителю Китая и человеку, восстановившему достоинство страны. Какой аспект наследия Мао возобладает – дерзкий маоистский вызов миру или тихая решимость, сформировавшаяся после «перегибов», – во многом определит отношения Китая с мировым порядком двадцать первого столетия.

На ранних стадиях культурной революции Китай пожелал сохранить всего четырех послов по всему миру и вступил в конфронтацию с обеими ядерными сверхдержавами, США и СССР. К концу 1960-х годов Мао признал, что культурная революция исчерпала даже проверенную тысячелетиями способность китайского народа терпеть и что изоляция Китая может спровоцировать иностранное вмешательство, которого, собственно, и пытались избежать суровой идеологией и отрицанием устоев. В 1969 году Советский Союз оказался на грани войны с Китаем, что вынудило Мао отправить все министерства в провинцию; в Пекине остался лишь премьер-министр Чжоу Эньлай. В целом на этот кризис Мао отреагировал характерно неожиданным изменением курса. Он покончил с анархической стороной культурной революции, с помощью армии усмирил «боевиков»-хунвейбинов, сослал последних в сельскую местность, где они присоединились к своим недавним жертвам и занялись принудительным трудом. А еще Мао «поставил мат» Советскому Союзу, переметнувшись к дотоле ненавистным США.

Мао прикинул, что дружба с США положит конец изоляции Китая и позволит другим странам, которые пока справедливо от этого воздерживались, признать Китайскую Народную Республику. (Интересно, что в аналитической записке ЦРУ, составленной к моей первой поездке в Китай, говорилось: советско-китайские трения столь велики, что сближение Америки с Китаем возможно и желательно, однако убеждения Мао не допустят этого при жизни Великого кормчего.)

Революции, независимо от того, сколь они радикальны, нуждаются в консолидации усилий и в постепенной адаптации к событиям, формирующим устойчивый тренд в течение определенного периода времени. Историческая роль «примирителя» выпала Дэн Сяопину. Дважды репрессированный Мао, именно он возглавил Китай после смерти Председателя в 1976 году и вскоре приступил к реформированию экономики и «открытию» общества. Строя то, что сам определял как «социализм с китайским лицом», Дэн освободил скрытые силы китайского народа. Всего за жизнь одного поколения Китай превратился во вторую по величине экономику мира. Для ускорения этих драматических изменений, пусть не все их одобряли,

Китай вошел в международные институты и принял установленные правила миропорядка.

Тем не менее участие Китая в вестфальской структуре подразумевает некую двойственность, проистекающую из исторического опыта. Китай помнит, что изначально его вступление в международную систему государств было вынужденным, что его фактически обязали признать международный порядок, противоречащий идентичности страны, причем способами, если уж на то пошло, не согласующимися с общепризнанными принципами Вестфальской системы. Когда звучат призывы придерживаться «правил игры» на международной арене и соблюдать «обязанности», естественная реакция многих китайцев, в том числе высших руководителей страны, во многом определяется осознанием того факта, что Китай не участвовал в принятии правил этой системы. Китай просят – и он, проявляя благоразумие, соглашается – соблюдать правила, в разработке которых он не принимал ни малейшего участия. И китайцы ожидают – рано или поздно они начнут реализовывать эти чаяния, – что международная система будет развиваться таким образом, который позволит Китаю занять центральное место в дальнейшем нормотворчестве (с возможностью пересмотра некоторых существующих правил).

В ожидании этого исхода Пекин стал гораздо активнее на мировой арене. Со статусом китайской экономики, как потенциально крупнейшей в мире, сотрудничества и поддержки Китая теперь ищут на любом международном форуме. Китай участвовал во многих престижных проектах двадцатого и двадцать первого веков – принимал Олимпийские игры, отправлял своих президентов выступать перед Организацией Объединенных Наций, торжественно встречал глав государств и правительств ведущих стран мира. По любым меркам, Китай восстановил престиж, которым обладал на протяжении тысячелетий. Вопрос ныне в том, как он воспринимает современные шаги по формированию мирового порядка – в частности, каковы будут его отношения с США.

Соединенные Штаты Америки и Китай – оплоты мирового порядка. Примечательно, что обе страны исторически проявляли двойственное отношение к международной системе, а теперь

превратились в ее «якоря» и подтверждают свою приверженность ее принципам, даже когда критически воспринимают отдельные аспекты данной конструкции. Китай не имеет опыта исполнения роли, на которую претендует в двадцать первом столетии, – роли отдельного крупного государства среди равных. Точно так же у США нет опыта взаимодействия на постоянной основе со страной сопоставимого размера и схожей экономической эффективности, но исповедующей совершенно другую модель внутреннего порядка.

Культурный и политический фон двух стран различается в важных аспектах. Американский подход к политике прагматичен; Китай предпочитает концептуальность. Америка никогда не подвергалась угрозам могущественных соседей; Китай никогда не оставался сам по себе, без сильного противника у границ. Американцы считают, что каждая проблема имеет решение; китайцы уверены, что каждое решение открывает дорогу новому комплексу проблем. Американцы реагируют на текущие обстоятельства; китайцы концентрируются на эволюционных изменениях. Американцы намечают повестку дня, руководствуясь практическими, «достижимыми» целями; китайцы постулируют общие принципы и анализируют, что из них следует. Китайское мышление сформировано частично коммунизмом, но частично опирается на древнюю традицию – все в большей степени; ни то, ни другое не присуще американцам.

Китай и США лишь недавно с исторической точки зрения стали полноправными участниками международной системы суверенных государств. Китай считает себя уникальным и во многом пребывает в собственной «реальности». Америка также полагает себя уникальной, «исключительной», однако придерживается морального обязательства распространять свои ценности по всему миру, зачастую забывая о *raison d'état*. Два великих общества с разными культурами и идеологиями претерпевают фундаментальные внутренние корректировки; потенциальное соперничество или новая форма партнерства между ними сформируют перспективы мирового порядка двадцать первого века.

Китаем в настоящее время управляет уже пятое поколение лидеров, считая с революции. Каждый предыдущий руководитель формулировал особое, свойственное его поколению, видение потребностей Китая. Мао Цзэдун был полон решимости искоренить

существующие институты, даже те, которые создал сам, чтобы они не «погрязли» в бюрократическом наследии Китая. Дэн Сяопин осознал, что Китай не сможет сохранить свою значимость, если останется в международной изоляции. Его усилия имели четкий фокус: не хвастаться, чтобы другие страны не забеспокоились, не требовать первенства, но активно модернизировать общество и экономику. Исходя из этой установки, Цзян Цзэминь, назначенный в ходе конфликта на площади Тяньаньмэнь, с 1989 года прилагал активные дипломатические усилия на международном уровне и всячески добивался укрепления положения коммунистической партии внутри страны. Он привел КНР в международную государственную и торговую системы в качестве полноправного члена обеих. Ху Цзиньтао, выбранный Дэном, умело успокоил опасения мирового сообщества по поводу роста влияния Китая и заложил основу для концепции нового типа отношений, провозглашенной Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин стремится опираться на это богатое наследие и инициировал масштабную программу реформ, сопоставимую с реформами Дэна. Он предложил систему, которая, воздерживаясь от демократии, будет более прозрачной и в которой результаты будут больше зависеть от юридических процедур, чем от сложившихся личных и семейных отношений. Еще он бросил вызов многим установившимся социальным институтам и практикам (в частности, государственным предприятиям, этим вотчинам региональных чиновников и средоточиям коррупции); смелое видение, несомненно, принесет стране некоторое количество проблем и неопределенности.

Состав китайского руководства отражает эволюцию Китая в сторону участия в решении – и даже формировании – глобальных вопросов. В 1982 году ни один член Политбюро не имел высшего образования. На момент написания этой книги почти все они окончили институты, многие получили ученые степени. Высшее образование в Китае основывается на учебных программах западного образца, а не на традициях мандаринской системы (и не на учебных планах коммунистов, предлагавших собственную форму интеллектуального «инбридинга»). Это очевидный разрыв с прошлым Китая, когда китайцы гордились своим «патриархальным» восприятием мира, лежащего за пределами «синоцентричной» сферы. Современные

китайские лидеры, безусловно, знают историю родной страны, но не являются ее пленниками.

Долгосрочная перспектива

Потенциальные трения между существующими и возникающими центрами силы не новы. Возникающая сила неизбежно вторгается в некоторые сферы, прежде считавшиеся исключительной прерогативой существующей. К тому же эта возникающая сила подозревает, что ее соперник может попытаться ей помешать, пока не стало слишком поздно. Исследование Гарвардского университета показало, что в истории пятнадцати случаев взаимодействия возникающей и существующей сил десять закончились войной.

Поэтому неудивительно, что стратеги с обеих сторон ссылаются на модели поведения и исторический опыт, предсказывая неизбежность конфликта между двумя обществами. Китайцы интерпретируют многие американские действия как стремление воспрепятствовать подъему Китая, а американская пропаганда прав человека трактуется как подрыв китайской внутривластной структуры. Некоторые крупные фигуры именуют так называемую «политику переориентации»^[95] Америки провозвестником решающей схватки, призванной навеки обречь Китай на второстепенную роль; это тем более примечательно, потому что на момент написания книги никаких крупных передислокаций воинских частей не проводилось и не планировалось.

С американской стороны есть опасения, что новый Китай будет систематически оспаривать превосходство США и тем самым подрывать безопасность Америки. Многие рассматривают Китай, по аналогии с Советским Союзом времен холодной войны, как государство, рвущееся к военному, а также экономическому доминированию во всех близлежащих регионах, следовательно, помышляющее о гегемонии.

Обе стороны укрепляются в своих подозрениях военными маневрами и оборонными программами. Даже когда те выглядят «нормальными», то есть включают меры, которые любая разумная страна предпринимает в защиту национальных интересов, такие маневры и программы анализируются в терминах сценариев конфликта. При этом каждая сторона совершает определенные шаги,

чтобы односторонние действия не вылились в очередную гонку вооружений.

Сторонам следует вспомнить десятилетие перед Первой мировой войной, когда постепенное нарастание подозрительности и скрытых конфронтаций в конце концов привело к катастрофе. Лидеры Европы загнали себя в ловушку своим военным планированием и нежеланием разделять стратегию и тактику.

Два других фактора также способствуют сохранению напряженности в китайско-американских отношениях. Китай отвергает предположение, что международный порядок должен строиться на распространении либеральной демократии и что международное сообщество обязано навязывать всем данную концепцию и особенно идею прав человека. Соединенные Штаты вполне в состоянии толковать свои взгляды на права человека максимально широко – ради стратегических приоритетов. С учетом истории и убеждений ее народа, Америка, конечно, никогда не отречется от этих принципов как таковых. Что касается Китая, точку зрения китайской элиты на этот вопрос высказал Дэн Сяопин:

«На самом деле национальный суверенитет куда важнее прав человека, но Большая семерка (или восьмерка) часто нарушает суверенитет бедных и слабых стран третьего мира. Рассуждения о правах человека, свободе и демократии предназначены лишь для маскировки интересов сильных и богатых стран, которые используют эти лозунги, чтобы запугивать слабых, и которые добиваются гегемонии, проводя силовую политику».

Между столь полярными воззрениями никакой официальный компромисс невозможен; но не допустить перерастания разногласий в конфликт – одна из важнейших задач лидеров обеих стран.

Другой насущный фактор – это Северная Корея, к которой, безусловно, применим афоризм девятнадцатого века – как сказал Бисмарк: «Мы живем в замечательное время, когда сильный слаб из-за своих сомнений, а слабый становится сильнее, потому что дерзает». Северная Корея не признает никаких принципов легитимности правления, даже заявляемых коммунистических. Ее главное стремление состоит в создании нескольких атомных бомб. У нее нет

достаточного военного потенциала, чтобы воевать с Соединенными Штатами. Но наличие ядерного оружия имеет политическое значение, намного превышающее его военную полезность. Оно стимулирует Японию и Южную Корею на разработку собственного ядерного арсенала. Оно позволяет Пхеньяну «дерзить» сверх всякой меры, подталкивая к новой войне на Корейском полуострове.

Для Китая Северная Корея – серьезная проблема. С точки зрения многих китайцев, Корейская война олицетворяет решимость Китая покончить со «столетием унижения» и «подняться с колен» на мировой арене, а еще служит доказательством того, что не следует вовлекаться в войны, чьи причины Китаю безразличны и чьи результаты могут иметь принципиальные, масштабные, непредсказуемые последствия. Именно поэтому Китай и Соединенные Штаты Америки параллельно и резко выступают в Совете Безопасности ООН, требуя, чтобы Северная Корея отказалась – а не просто свернула – от своей ядерной программы.

Для Пхеньяна отказ от ядерного оружия может означать политический крах. Но именно на полном прекращении работ настаивают Соединенные Штаты и Китай в резолюциях Совета Безопасности ООН. Обе страны должны скоординировать свою политику на случай, если – когда? – поставленные цели будут достигнуты. Удастся ли объединить разделенную ныне Корею и какой ценой? В состоянии ли Китай и США выработать совместную стратегию относительно безъядерной объединенной Кореи, стратегию, которая обеспечит общую безопасность и стабильность? Вот это действительно большой шаг в направлении «нового типа отношений», столь часто упоминаемых и столь медленно формируемых.

Новые руководители Китая признают, что реакция китайского населения на эту обширную повестку дня непредсказуема; они «плывут в неизведанные воды». Им не нужны зарубежные «авантюры», однако они будут решительно сопротивляться любым попыткам вмешательства в то, что Китай определяет как свои ключевые интересы, причем тверже, чем предшественники, – именно потому, что считают себя обязанными объяснять коррективы курса, неразрывно связанные с реформами, дополнительным акцентом на национальных интересах. Всякий международный порядок с участием США и Китая должен предусматривать баланс сил, но традиционное

регулирование этого баланса надлежит смягчить соглашением о нормах и подкрепить сотрудничеством.

Лидеры Китая и США публично озвучивают взаимное стремление к контактам и конструктивному диалогу. Два американских президента (Барак Обама и Джордж Буш) договорились с китайскими коллегами (Си Цзиньпином и Ху Цзиньтао) о стратегическом партнерстве в Тихоокеанском регионе; это способ сохранения баланса сил при одновременном снижении степени военной угрозы. Пока, увы, заявления о намерениях не подкреплены конкретными шагами.

Партнерство нельзя обеспечить голыми декларациями. Никакое соглашение не гарантирует определенный международный статус США. Если Соединенные Штаты начнут восприниматься как «былая сила» (по собственному выбору), Китай и другие страны присвоят себя значительную часть полномочий, которыми Америка располагала после Второй мировой войны, после «интерлюдии» кризисов и потрясений.

Многие китайцы усматривают в США сверхдержаву на спаде. Тем не менее в руководстве Китая принято мнение, что Соединенные Штаты в обозримом будущем сохраняют существенный потенциал мирового лидерства. Суть конструктивного мирового порядка в том, что ни одна страна, ни Китай, ни США, не в состоянии присвоить себе ведущую роль, подобную роли Соединенных Штатов непосредственно по завершении холодной войны, когда они остались «одни на вершине».

В Восточной Азии США – не столько «балансирист», сколько составная часть баланса сил. В предыдущих главах была показана непрочность такого баланса в ситуации с малым количеством участников, когда любое смещение лояльности может оказаться решающим. Сугубо военный подход к равновесию в Восточной Азии, скорее всего, приведет к разделению еще более жесткому, чем то, которое оформилось в последнюю мировую войну

В Восточной Азии некое подобие баланса сил существует между Китаем, Кореей, Японией и США, с Россией и Вьетнамом на периферии. Но эта структура отличается от исторических балансов в том отношении, что один из ключевых ее участников, Соединенные Штаты, имеет собственный «центр притяжения», расположенный недалеко от географического центра Восточной Азии; вдобавок, что

важнее всего, руководители обеих стран, вооруженные силы которых считают себя противниками, в публичных заявлениях говорят о сотрудничестве по политическим и экономическим вопросам. Получается, что США являются союзником Японии и добиваются партнерства с Китаем; очень похоже на ситуацию, в которой Бисмарк заключил союз с Австрией, чтобы «уравновесить» договор с Россией. Как ни парадоксально, именно подобная двойственность обеспечила гибкость европейского равновесия. И отказ от нее – во имя прозрачности отношений – привел к росту конфронтации, кульминацией которой стала мировая война.

Более столетия – от политики «открытых дверей» и посредничества Теодора Рузвельта в завершении Русско-японской войны – Америка прилагала все усилия, чтобы не допустить возникновения чьей-либо гегемонии в Азии. В современных условиях китайская политика неизбежно сводится к тому, чтобы удерживать потенциально враждебные силы как можно дальше от своих границ. Обе страны лавируют в этом пространстве. Сохранение мира зависит от сдержанности, с которой они преследуют свои цели, и от их способности не позволить политической и дипломатической конкуренции перерасти в военную.

В холодной войне разделительные линии пролегли между военными блоками. Сегодня такие линии ни в коем случае не должны определяться милитаристскими соображениями. Военный компонент нельзя воспринимать как единственный – или даже основной – элемент равновесия. Концепции партнерства должна стать, как ни парадоксально, основой современного баланса сил, особенно в Азии; данный подход, при удачной реализации, станет беспрецедентным и судьбоносным. Сочетание стратегии баланса сил и партнерской дипломатии не сможет устранить все аспекты конкуренции, но позволит смягчить их эффект. Прежде всего оно наделит китайских и американских лидеров опытом конструктивного сотрудничества и укажет обоим обществам дорогу к мирному будущему.

Порядок всегда – тонкое и хрупкое равновесие сдержанности, силы и легитимности. В Азии он должен объединить баланс сил и концепцию партнерства. Сугубо военное определение баланса чревато конфронтацией. Сугубо психологический подход к партнерству заставляет опасаться гегемонии. Мудрая государственная политика

призвана отыскать «промежуточный» баланс. Ибо любой переко-
сулит катастрофу.

Глава 7

«Выступая за все человечество»: Соединенные Штаты Америки и концепция мирового порядка

Ни одна страна не сыграла столь же решающей роли в формировании современного мирового порядка, как США, и не проявила при том столь же двойственного отношения. Проникнутая убеждением, что избранный ею курс призван определить судьбу человечества, Америка играла, на всем протяжении своей истории, парадоксальную роль в формировании мирового порядка: Соединенные Штаты увеличивались за счет североамериканского континента, расширяя свою территорию во имя «божественного предопределения» и в то же время отрекаясь от всяких имперских амбиций; оказывали решающее воздействие на важные события, вместе с тем отрицая существование всяких побуждений, вызванных национальными интересами; и стали сверхдержавой, отвергая при этом всякое стремление к осуществлению политики с позиции силы. Внешняя политика Америки отражает убежденность в том, что принципы проводимой ею внутренней политики являются самоочевидно универсальными и их применение во все времена благотворно; в том, что реальным вызовом американским обязательствам за рубежом является не внешняя политика в традиционном смысле, а проект распространения ценностей, которые, как считается, все прочие народы стремятся воспроизвести.

Неотъемлемым элементом этой доктрины служит представление о чрезвычайной уникальности и привлекательности. Пока Старый Свет рассматривал Новый как арену для завоеваний, которые позволят накопить богатство и обрести еще большее могущество, в Америке возникла новая нация, утверждающая свободу вероисповедания, самовыражения и действий как сущность национального опыта и характера.

В Европе система миропорядка была основана на аккуратном отделении моральных ценностей от политической деятельности – хотя бы потому, что попытки навязать одну религию или систему моральных принципов многообразию народов континента окончились столь катастрофичным образом. В Америке дух прозелитизма опирался на твердо укоренившееся недоверие к официальным институтам и церковным иерархам. Потому английский философ и член парламента Эдмунд Берк мог бы напомнить своим коллегам, что колонисты экспортировали «свободу в соответствии с английскими идеями»^[96] наряду с различными нонконформистскими религиозными

сектами, подвергаемыми гонениям в Европе («протестантизм в протестантской религии») и «согласными только в одном – в исповедании духа свободы». Эти силы, перемешиваясь за океаном, породили отличительную национальную точку зрения: «В этом любовь к свободе является преобладающей чертой характера американцев, которая отмечает и отличает целое».

Алексис де Токвиль, французский аристократ, который приехал в Соединенные Штаты в 1831 году и написал книгу, остающуюся одной из наиболее проникательных и рассказывающую о духе и настроении народа Америки, схожим образом прослеживает американский характер до того, что называет «исходным положением». В Новой Англии «мы видим зарождение и развитие той общинной независимости, которая и в наши дни по-прежнему является основой американской свободы и инструментом ее воплощения в жизнь»^[97]. Пуританизм, как он писал, «был не только религиозной доктриной; по своим идеям это религиозное течение во многом смыкалось с самыми смелыми демократическими и республиканскими теориями». Это, заключал де Токвиль, было результатом «двух совершенно различных начал, которые, кстати говоря, весьма часто находились в противоборстве друг с другом, но которые в Америке удалось каким-то образом соединить одно с другим и даже превосходно сочетать. Речь идет о *приверженности религии* и о *духе свободы*».

Открытость американской культуры и ее демократические принципы превратили Соединенные Штаты в образец и прибежище для миллионов. В то же самое время убежденность, что американские принципы являются универсальными, привнесло спорный элемент в международную систему, поскольку она предполагает, что правительства, которые не придерживаются таких принципов, не вполне легитимны. Этот догмат – настолько укоренившийся в американском мышлении, что он только от случая к случаю выдвигается как положение официальной политики, – предполагает, что существенная часть мира живет по условиям некоего неудовлетворительного, пробационного соглашения и однажды будет избавлена от него; в то же время их взаимоотношения с сильнейшим государством в мире должны иметь некий латентный элемент соперничества.

Эти натянутости с самого начала присущи американской политике. Для Томаса Джефферсона Америка была не только великой страной, движущейся по пути становления, но «империей свободы» – вечно распространяющейся силой, действующей от лица всего человечества в том, что касается отстаивания принципов надлежащего управления. Как Джефферсон писал во время своего пребывания на посту президента:

«Мы полагаем, что действуем сообразно обязательствам, которые не ограничены исключительно рамками нашего собственного общества. Невозможно не осознавать, что мы выступаем за все человечество; что обстоятельства, в которых отказано другим, но которые дарованы нам, налагают на нас обязанность показать, что такое на самом деле та степень свободы и самоуправления, каковой общество осмеливается наделить отдельных своих членов».

Определенные таким образом, расширение Соединенных Штатов и успех их предприятий соседствовали с интересами человечества. Увеличив территориально вдвое размер новой страны посредством прозорливо организованной покупки Луизианы в 1803 году, Джефферсон, отойдя от дел, «откровенно признался» президенту Монро: «Я даже обращал свой взгляд на Кубу как на наиболее привлекательное дополнение, которое могло бы когда-нибудь сделано к нашей системе Штатов». А Джеймсу Мэдисону Джефферсон писал: «Нам тогда всего лишь стоило включить Север [Канаду] в нашу конфедерацию... и у нас была бы такая империя во имя свободы, каковую последняя никогда не видела со дня творения; и я убежден, что никакая конституция никогда прежде не была так замечательно составлена, как наша, для обширной империи и самоуправления». Империя, которую представляли себе Джефферсон и его коллеги, отличалась, по их мнению, от европейских империй – последние они мнили основанными на покорении и подавлении других народов. Империя, возникавшая перед мысленным взором Джефферсона, являлась, в сущности, североамериканской и представлялась как распространение свободы. (И фактически, что ни говори о противоречиях этого проекта или о личной жизни отцов-основателей, по мере того, как расширялись и преуспевали Соединенные Штаты,

так происходило и с демократией, и стремление к ней распространялось и укоренялось по всему полушарию и по всему миру.)

Несмотря на подобные немалые амбиции, благоприятное географическое положение Америки и ее громадные ресурсы содействовали осознанию того, что внешняя политика является необязательной сферой деятельности. Чувствуя себя в безопасности за двумя великими океанами, Соединенные Штаты находились в таком положении, которое позволяло относиться к внешней политике скорее как к череде эпизодических вызовов, чем к долговременному предприятию. Дипломатия и применение силы, в рамках подобной концепции, представляли особыми, отдельными этапами деятельности, и каждая определялась своими независимыми правилами. Доктрина всеобщего охвата образовывала пару с двойственным отношением к тем странам – неизбежно менее удачливым по сравнению с Соединенными Штатами, – которые вынуждены проводить внешнюю политику как нечто постоянное и основанное на следовании национальным интересам и на равновесии сил.

Даже после того как в девятнадцатом веке Соединенные Штаты приобрели статус великой державы, указанные традиции сохранялись. Трижды за многие поколения – в двух мировых войнах и в эпоху холодной войны – США предпринимали решающие действия, дабы укрепить мировой порядок, противодействуя враждебным и потенциально смертельным угрозам. Во всех случаях Америка сохраняла Вестфальскую систему и баланс сил, одновременно возлагая на самые институты этой системы вину за вспышки враждебных действий и провозглашая желание построить совершенно новый мир.

Большую часть этого периода подразумеваемой целью американской стратегии за пределами Западного полушария было стремление трансформировать мир в той манере, которая сделала бы ненужной стратегическую роль Америки.

С самого начала вмешательство Америки в европейское сознание ускорило пересмотр общепринятой разумности, житейской мудрости; бывшая колония открывала новые перспективы для личностей, обещающих коренным образом перестроить мировой порядок. Для первых поселенцев^[98] Нового Света американский континент был

границей, «фронтиром» западной цивилизации, чье единство получило трещину, новой сценой, на которой разыгрывается драма возможности установления морального порядка. Эти поселенцы оставили Европу не только потому, что больше не верили в ее центральное положение, но и потому, что считали, что Европа пала, не ответив своему призванию. Религиозные распри и кровавые войны привели Европу к Вестфальскому миру и к болезненному выводу, что ее идеал – континент, объединенный единственной божественной властью, – никогда не будет достигнут, Америка представлялась тем местом, где это можно сделать на отдаленных берегах. В то время как Европа примирилась с достижением безопасности через равновесие сил, американцы (как эти поселенцы начали думать о себе) поддерживали мечту о единстве и управлении, делающих возможной поставленную цель. Ранние пуритане говорили о проявлении добродетели на новом континенте как о способе преобразовать земли, с которыми они распрощались. Как проповедовал в 1630 году на борту следующей к берегам Новой Англии «Арбеллы» Джон Уинтроп, пуританский законовед, который покинул Восточную Англию, дабы избежать религиозных притеснений, Господь уготовил Америку в качестве примера для «всех людей»:

«Мы обнаружим, что Господь Израиля – среди нас, когда десятерым из нас будет под силу противостоять тысяче врагов; когда Он заставит нас вознести благодарность и хвалу за то, что эти мужи скажут о процветающих колониях: «Пусть Господь сделает их похожими на Новую Англию». Ибо мы должны полагать, что мы будем как город на горе. Взоры всех людей обращены на нас».

Никто не сомневался, что неким образом в Америке будут раскрыты и реализованы лучшие качества человека и самое его предназначение.

Америка на мировой арене

Преисполненные намерения упрочить свою независимость, Соединенные Штаты определили себя как новый вид силы. Декларация независимости провозгласила новые принципы и заявила, что обращается ко «мнению человечества». Во вступительном очерке в сборнике «Федералист», опубликованном в 1787 году, Александр Гамильтон характеризовал новую республику как «во многих отношениях самую интересную в мире империю»^[99], успех или неудача которой должны продемонстрировать, жизнеспособно или нет самоуправление вообще. Гамильтон относился к этому заявлению не как к оригинальной интерпретации, а как к общеизвестному факту, к тому, что «часто отмечалось» – утверждение тем более примечательное, учитывая, что Соединенные Штаты того времени занимали всего лишь Восточное побережье, от Мэна до Джорджии.

Даже провозглашая подобные доктрины, отцы-основатели оставались искушенными людьми, понимавшими европейскую политику баланса сил и действовавшими в ее рамках на благо новой страны. В ходе Войны за независимость от Британии был подписан союз с Францией, впоследствии распавшийся, когда во Франции произошла революция и французские армии предприняли европейский поход, в котором Соединенные Штаты не имели непосредственной заинтересованности. Когда президент Вашингтон в своем «Прощальном послании» 1796 года – увидевшем свет в разгар революционных войн Франции – высказывал рекомендацию, что для Соединенных Штатов «верным политическим курсом будет воздержание от постоянных союзов с любой частью зарубежного мира», вместо чего следует «надежно полагаться на временные альянсы в случаях чрезвычайной необходимости», он оглашал не столько моральное заключение, сколько практичное и проницательное суждение о том, как использовать относительное преимущество Америки: Соединенные Штаты, молодое государство, безопасно отделенное океанами, не имело ни потребности, ни ресурсов, чтобы впутываться в континентальные споры о балансе сил. Оно вступает в союзы не для того, чтобы защитить концепцию международного порядка, но просто для того, чтобы те послужили строго

определенным национальным интересам. До тех пор, пока сохранялся европейский баланс сил, Америке лучше всего служила стратегия сохранения свободы маневра и консолидации на родине – по существу, подобному курсу полтора столетия спустя следовали бывшие колониальные страны (например, Индия) после обретения независимости.

Данная стратегия оставалась преобладающей на протяжении века после недолгой и ставшей последней войны с Великобританией в 1812 году, что позволило Соединенным Штатам совершить то, чего ни одна другая страна не имела возможности добиться: они стали великой державой и нацией континентального масштаба посредством быстрого накопления «домашней» мощи, с внешней политикой, сфокусированной почти всецело на негативной цели – держаться как можно дальше от событий, происходящих в остальном мире.

Вскоре Соединенные Штаты вознамерились расширить эту максимум на обе Америки. Молчаливое примирение с Великобританией, главной военно-морской державой, позволило Соединенным Штатам провозгласить доктрину Монро, утверждавшую, что все Западное полушарие закрыто для иностранной колонизации; причем случилось это в 1823 году – за десятки лет до того, как страна обрела хоть в какой-то мере достаточную мощь, позволявшую силой навязать столь радикальное заявление. В самих США доктрина Монро рассматривалась как продолжение войны за независимость, оберегающая Западное полушарие от воздействия европейского баланса сил. Ни с одной из латиноамериканских стран не консультировались (и не в малой степени потому, что немногие из них существовали в то время). По мере того как «фронт» нации понемногу двигался через континент, на экспансию Америки смотрели как на деятельность, схожую с действием закона природы. Когда Соединенные Штаты практиковали то, что повсюду определялось как империализм, американцы дали этому другое название: «исполнение нашего «божественного предопределения» – распространиться по континенту, предоставленному Провидением для свободного развития наших ежегодно умножающихся миллионов». Завладение обширными пространствами трактовалось как коммерческая сделка – при покупке Территории Луизиана у Франции и как неизбежное следствие этого самого «предначертания судьбы» – в случае с Мексикой. И только в

самом конце девятнадцатого века, в ходе испано-американской войны 1898 года, Соединенные Штаты вступили в полномасштабные военные действия за пределами своей территории с другой мировой державой.

На протяжении всего девятнадцатого века Соединенным Штатам сопутствовала удача: они имели возможность решать возникающие перед ними проблемы последовательно, и зачастую – едва ли не окончательно. Выход к Тихому океану и установление удовлетворяющих США границ на севере и на юге; победа союза в Гражданской войне; вооруженное выступление против Испанской империи и приобретение многих ее владений – все это происходило как отдельные события, некие дискретные фазы, после которых американцы возвращались к своей деятельности, направленной на дальнейшее процветание страны и развитие демократии. Американский опыт поддерживал предположение, что мир – естественное состояние человечества, которое нарушается неразумными действиями или недоброй волей других стран. Европейский стиль управления государственными делами, с изменчивыми альянсами и хитроумным маневрированием на международной арене, с широким спектром действий от мира до открытой вражды, представлялся американскому сознанию извращенным отходом от здравого смысла. С этой точки зрения вся система внешней политики и международного порядка Старого Света была естественным следствием деспотических капризов или злокачественной и обусловленной принятой культурой предрасположенности к аристократической церемонии и тайным маневрам. От подобной практики Америка намеревалась отказаться, отрицая существование интереса к обладанию колониями, настороженно дистанцируясь от разработанной европейцами международной системы и выстраивая отношения с другими странами на основе взаимных интересов и добросовестных соглашений.

Подобные мнения Джон Куинси Адамс подытожил в 1821 году, в тоне на грани раздражения, вызванного решимостью других стран идти более замысловатыми и окольными путями:

«Америка, с тех пор как она была принята в собрание наций, неизменно, хотя зачастую и безуспешно, протягивает им руку честной дружбы, равной свободы, великодушной взаимности. С ними она

постоянно говорит на языке равной свободы, равного правосудия и равных прав, хотя нередко глас ее высокомерно и пренебрежительно отказываются слышать. На протяжении почти полувека, без единого исключения, Америка уважала независимость других наций, утверждая и поддерживая собственную независимость. Она воздерживалась от вмешательства в дела других стран, даже когда конфликт касался принципов, которым она остается верна так, будто те являются для нее последней каплей крови».

Поскольку Америка стремится «не к господству, а к свободе», следует избегать, утверждал Адамс, вовлеченности в любые споры и соперничество европейского мира. Америка должна сохранить свою уникально разумную и незаинтересованную позицию, ставя целью свободу и человеческое достоинство, предлагая издалека моральную поддержку. Утверждение универсальности американских принципов сопровождалось отказом отстаивать их за пределами Западного (то есть американского) полушария:

«[Америка] не устремлена за свои рубежи в поисках чудовищ, чтобы уничтожать их. Из добрых побуждений она желает свободы и независимости для всех. Она отстаивает и защищает лишь собственные свободу и независимость».

В Западном полушарии никаких подобных ограничений не существовало. Уже в 1792 году Джедайда Морзе, священник и географ из Массачусетса, утверждал, что Соединенные Штаты – чье существование было признано на международной арене менее чем десятилетие назад и чьей конституции было всего четыре года – знаменуют собой апогей истории. Новая страна, пророчил он, будет расширяться на запад, распространяя принципы свободы по всему американскому континенту, и станет венцом человеческой цивилизации:

«Кроме того, хорошо известно, что империя распространялась с востока на запад^[100]. Возможно, ее последним, и главнейшим подвигом будет Америка... [Мы] не можем не предвидеть то время,

сколь бы далеким оно ни было, когда в Американской империи будут насчитываться миллионы душ к западу от Миссисипи».

Все это время Америка пылко утверждала, что ею руководило не стремление к территориальной экспансии в традиционном смысле, но предопределенное свыше распространение принципов свободы. В 1839 году, когда официальная Исследовательская экспедиция США обследовала дальние границы Западного полушария и южной части Тихого океана, журнал «Юнайтед Стейтс мэгэзин энд демократик ревью» опубликовал статью, которая провозглашала Соединенные Штаты Америки «великой нацией будущего», не связанной с предшествовавшей историей и превосходящей все, что было в прошлом:

«Американский народ ведет свое происхождение от многих других наций, Декларация о национальной независимости всецело основывается на великом принципе равенства людей, и вместе эти факты демонстрируют наше обособленное положение по отношению к любой другой стране; то, что у нас есть в действительности, практически не имеет связи с прошлым и историей любой из них, а еще меньше – со всей античностью, их славой или их преступлениями. Напротив, наше рождение как нации стало началом новой истории».

Успех США, как уверенно предрекал автор, будет служить вечным укором всем прочим формам правления, возвещая о будущей демократической эре. Великий, свободный союз, одобренный свыше и превосходящий все остальные государства, станет распространять свои принципы по всему Западному полушарию – держава, которой самой судьбой предначертано превзойти по размерам и в моральных устремлениях любое другое деяние в истории человечества:

«Мы – нация прогресса человечества, и кто установит – что в состоянии установить? – предел нашему продвижению вперед? Провидение – с нами, и никакая сила на земле этого не сумеет».

Таким образом, Соединенные Штаты оказывались не просто страной, но движущей силой Божьего замысла и воплощением мирового порядка.

В 1845 году, когда американская экспансия на Запад ввергла страну в споры с Великобританией о Территории Орегон и с Мексикой – о Республике Техас (которая отделилась от Мексики и заявила о своем намерении войти в состав Соединенных Штатов), журнал пришел к выводу, что аннексия Техаса является оборонительной мерой, направленной против врагов свободы. Автор рассуждал, что «Калифорния, вероятно, следующей отпадет» от Мексики, а впоследствии американцы, по-видимому, устремятся в Канаду. Континентальная мощь Америки, утверждал он, со временем возместит европейский баланс сил – несущественный благодаря громадному компенсационному противовесу за океаном. Более того, автор статьи в «Демократик ревью» предвидел день, который наступил сто лет спустя – а именно в 1945 году, – когда США «перевесили» даже объединенную, враждебную Европу:

«Хоть им и придется бросить на другую чашу весов все штыки и пушки, причем не одни лишь французские и английские, но всей Европы в целом, разве сумеют они противостоять монолитному весу двухсот пятидесяти или трехсот миллионов – американских миллионов, – судьбой предназначенных собраться под развевающимся звездно-полосатым стягом в быстротечном году 1945-м от Рождества Господа нашего!»

Так на самом деле и произошло (за исключением того, что демаркация границы с Канадой была мирной, а Великобритания в 1945 году оказалась не частью враждебной Европы, а союзником). Напыщенное и пророческое видение Америки, превосходящей и уравнивающей суровые доктрины Старого Света, наверняка оказало вдохновляющее воздействие на нацию – а в остальном мире оно по большей части нередко игнорировалось или вызывало испуг, – и изменило ход истории.

Когда в Гражданскую войну Соединенные Штаты на собственном опыте познали всеобщую, «тотальную» войну – в неведении о которой Европа пребывала еще полвека, – и когда ставки были настолько отчаянны, что и Север, и Юг отказались от принципа изоляции Западного полушария и привлекли к своим военным усилиям другие страны, в особенности Францию и Великобританию, американцы

интерпретировали случившийся конфликт как единичное событие трансцендентного нравственного значения. Рассматривая этот конфликт как заключительную попытку, как обоснование «последней надежды земли», Соединенные Штаты сформировали на тот период самую большую и грозную в мире армию и использовали ее для ведения тотальной войны, а затем, в течение полутора лет после окончания войны, практически распустили ее – численность армии была сокращена более чем с одного миллиона до примерно 65 тысяч человек^[101]. В 1890 году американская армия была в мире четырнадцатой, после Болгарии, и военно-морской флот США уступал итальянскому, хотя промышленная мощь Италии составляла одну тринадцатую от американской. Еще в своей инаугурационной речи в 1885 году президент Гровер Кливленд характеризовал американскую внешнюю политику как проводимую с позиции беспристрастного нейтралитета и совершенно отличную от той своекорыстной политики, которой придерживаются более старые, но менее просвещенные страны. Он отвергал «любое отклонение от этой внешней политики, получившей одобрение истории, традиций и процветания нашей республики. Это – политика независимости, которой благоприятствует наше положение, которую оправдывает наше известное стремление к справедливости и на страже которой стоит наша мощь. Это – политика мира, которая соответствует нашим интересам. Это – политика нейтралитета, которая отвергает участие в распрях за рубежом, которая отказывается от притязаний по отношению к странам на других континентах и которая готова противостоять их вторжению в это полушарие».

Десятилетие спустя роль Америки в мире возросла, голос ее зазвучал более настойчиво, и соображения, касающиеся власти, вырисовывались все отчетливее. В 1895 году, во время пограничного спора между Венесуэлой и Британской Гвианой, госсекретарь Ричард Олни предупредил Великобританию – тогда по-прежнему считавшуюся главной мировой державой – о неравенстве военных сил в Западном полушарии: «Сегодня Соединенные Штаты практически полновластны на этом континенте, и их указание является законом». «Неисчерпаемые природные богатства вкупе с изолированным географическим местоположением Америки делают ее хозяйкой

положения и практически неуязвимой для любой другой страны или даже для всех прочих стран».

Теперь Америка была мировой державой, а не едва возникшей республикой на периферии мировой арены. Политика США отныне не ограничивалась нейтралитетом; Америка почувствовала себя обязанной перевести давно провозглашенную моральную значимость в более широкую геополитическую роль. Когда позднее в том же году колониальные подданные Испанской империи подняли на Кубе восстание, нежелание видеть полыхающий на пороге Америки антиимперский мятеж смешалось с убеждением, что Соединенным Штатам пора продемонстрировать способность и волю вести себя как великая держава – в то самое время, когда о значимости европейских государств судили отчасти по обширности их заморских империй. Когда в 1898 году в порту Гаваны при невыясненных обстоятельствах взорвался американский броненосец «Мэн», широкая поддержка требований военного вмешательства привела к объявлению президентом Мак-Кинли войны Испании, что стало первым случаем военного столкновения Соединенных Штатов с другой мировой державой за пределами своих границ.

Немногие американцы представляли себе, насколько иным окажется мировой порядок после этой «блестящей маленькой войны», как назвал ее Джон Хэй, тогдашний американский посол в Лондоне, в письме Теодору Рузвельту (только начинавшему приобретать вес политику-реформатору из Нью-Йорка). Всего через три с половиной месяца военного конфликта США изгонят Испанскую империю из стран Карибского бассейна, оккупируют Кубу и присоединят Пуэрто-Рико, Гавайи, Гуам и Филиппины. Оправдывая предпринятые действия, президент Мак-Кинли держался непреложных истин. Без тени смущения он представил войну, превратившую Америку в великую державу на двух океанах, как однозначно бескорыстную миссию. «Американский флаг установили на чужой земле не ради территориальных приобретений, – объяснял он фразой, которая красовалась на плакате, напечатанном по случаю его перевыборной кампании 1900 года, – а ради блага человечества».

Испано-американская война ознаменовала вступление Америки в ряды великих держав с их политикой и соперничеством, которыми она так долго пренебрегала. По своим масштабам американское

присутствие ощущалось уже не на одном континенте: оно распространилось от Карибского региона до морей, омывающих Юго-Восточную Азию. В силу своих размеров, географического положения и ресурсов Соединенные Штаты наверняка оказались бы среди наиболее заметных глобальных игроков. Отныне другие державы, более «старые» и традиционные, уже ведущие споры о территориях и морских путях, на которые теперь распространились американские интересы, будут внимательно следить за поведением США и при случае противостоять их действиям.

Теодор Рузвельт: Америка как мировая держава

Первым президентом, которому пришлось систематически сталкиваться с последствиями той роли, которую начала играть в мире Америка, стал Теодор Рузвельт, занявший высший пост после убийства Мак-Кинли; должность вице-президента иначе была бы кульминацией его поразительно стремительной политической карьеры. Целеустремленный, энергичный и чрезвычайно амбициозный, высокообразованный и начитанный, космополит, культивирующий образ этакого трудяги с ранчо, хитроумный и проницательный – последних качеств не смогли по достоинству оценить его современники, – Рузвельт видел Соединенные Штаты потенциально величайшей страной, которая своим нежданно обретенным политическим, географическим и культурным богатством призвана играть главенствующую в мире роль. Во внешней политике он придерживался концепции, в основе которой – что для Америки было беспрецедентным – лежали геополитические соображения. Согласно представлениям Рузвельта, Америка в двадцатом веке должна исполнять глобальную версию той роли, которую в течение девятнадцатого века исполняла в Европе Великобритания: обеспечивать мир, выступая гарантом равновесия, нависая возле берегов Евразии и склоняя общий баланс сил против любой страны, угрожающей доминировать в стратегически важном регионе. Как заявил Рузвельт в своей речи на инаугурации в 1905 году:

«Нам, как народу, было даровано заложить основы нашей национальной жизни на новом континенте... Многое нам было дано, и от нас по праву ожидают многого. У нас есть обязанности перед другими и обязанности перед собой; и мы не можем уклониться от их исполнения. Мы стали великой нацией, вынужденной фактом своего положения и мощи вступить во взаимоотношения с другими народами мира, и мы должны вести себя как и подобает народу, на которого возложена подобная ответственность».

Образование Рузвельт получил в том числе и в Европе, он хорошо знал историю континента (в молодые годы он написал авторитетную работу о военно-морской составляющей войны 1812 года),

поддерживал близкие отношения с видными представителями элит Старого Света и неплохо разбирался в традиционных принципах европейской стратегии баланса сил. Рузвельт разделял мнение соотечественников об особой миссии Америки. Однако он был убежден, что для осуществления своего призвания Соединенным Штатам нужно вступить в мир, где ходом событий управляют могущество и сила, а не один лишь моральный принцип.

По мнению Рузвельта, система международных отношений пребывала в постоянном изменении. Честолюбивые амбиции, корысть и война были не просто производными глупых заблуждений, от которых американцы могли бы убедить избавиться правителей иных, более старых стран; это естественные состояния человечества, которые требуют целенаправленного вмешательства Америки в международные дела. Международное сообщество походило на поселение эпохи фронта, не имеющее эффективного полицейского подразделения:

«В новых и диких сообществах, где существует насилие, честный человек должен защищать себя; и покуда вырабатываются иные меры, призванные обеспечить безопасность, одинаково глупо и губительно убеждать его сложить оружие, в то время как оно остается в руках тех людей, которые представляют опасность для общества».

Этот по сути своей гоббсовский анализ, преподнесенный не где-нибудь, а в лекции по случаю вручения Нобелевской премии мира, знаменовал собой отказ Америки от предположения, что для утверждения мира достаточно нейтралитета и миролюбивых устремлений. Для Рузвельта было очевидно, что если какая-либо нация не способна или не желает действовать в защиту собственных интересов, то она не вправе ожидать, что их станут уважать другие страны.

Разумеется, Рузвельта не могла не раздражать нравоучительная риторика, господствовавшая в американской внешней политике. В заключение речи он заявил, что международное право, сфера которого недавно была расширена, не может быть действенным, если оно не подкреплено силой, а разоружение, ставшее предметом обсуждения на международном уровне, является иллюзией:

«Поскольку нет никакой вероятности установления какой-либо международной силы... которая сумеет эффективно пресекать нарушения, и при таких обстоятельствах для великой и свободной страны было бы и глупостью, и грехом лишить себя способности отстаивать собственные права, а в исключительных случаях даже вставать на защиту прав других. Ничто не будет более способствовать беззаконию... чем то, если свободные и просвещенные народы... по собственной воле окажутся бессильными, тогда как деспотия и варварство будут вооружены».

Либеральные общества, полагал Рузвельт, как правило, недооценивают элементы антагонизма и враждебности в международных отношениях. Имея в виду дарвиновскую концепцию выживания наиболее приспособленных, Рузвельт писал английскому дипломату Сесилу Спрингу Райсу:

«Это... прискорбный факт, что страны, которые наиболее привержены гуманистическим принципам, которые более всего заинтересованы во внутреннем совершенствовании, как правило, становятся слабее по сравнению с теми странами, для которых характерна менее альтруистическая цивилизация...

Я ненавижу и презираю тот псевдогуманизм, который полагает, будто развитие цивилизации обязательно и объективно обуславливает ослабление боевого духа и который, следовательно, способствует уничтожению развитой цивилизации какой-то иной, уступающей ей в развитии».

Если Америка откажется от признания стратегических интересов, это означает лишь, что более агрессивные державы захватят мир, в конце концов подорвав основы американского процветания. Поэтому «нам нужен большой военно-морской флот, состоящий не только из крейсеров, но включающий в себя мощные линкоры, которые способны противостоять таким же боевым кораблям любой другой страны», а также необходимо продемонстрировать готовность использовать этот флот.

По мнению Рузвельта, внешняя политика есть искусство приспособления американской политики к тому, чтобы осмотрительно

и твердо уравнивать глобальную силу, склоняя ход событий в пользу своих национальных интересов. Он считал, что Соединенные Штаты – страна экономически динамичная, единственная, кому не угрожают региональные конкуренты, и играющая заметную роль как в районе Атлантики, так и на Тихом океане, – занимают уникальное положение для того, чтобы «захватить выгодные позиции, которые позволят нам иметь собственный голос в принятии судьбоносных решений об океанах Востока и Запада». Оберегая Западное полушарие от вмешательства извне со стороны прочих держав, а во всех других регионах вмешиваясь ради сохранения равновесия сил, Америка превратится в непререкаемого хранителя мирового баланса сил и, через это, мира во всем мире.

Удивительно амбициозное представление^[102] для страны, которая до тех пор считала политику изоляции определяющей для себя характеристикой и которая создавала флот в первую очередь как инструмент береговой обороны. Но благодаря блестящей реализации соответствующей внешней политики Рузвельту удалось – по крайней мере, на какое-то время – переопределить роль Америки на международной арене. По отношению к Северной и Южной Америке он заметно переступил рамки доктрины Монро в заявленном противодействии иностранному вмешательству. Он пообещал, что Соединенные Штаты не только будут противостоять любым иностранным колониальным проектам в Западном полушарии – лично пригрозив войной, чтобы сдержать намечавшееся вторжение Германии в Венесуэлу, – но также, по сути, станут предотвращать их. Таким образом, им было провозглашено «дополнение Рузвельта» к доктрине Монро, заключавшееся в том, что Соединенные Штаты Америки имеют право превентивно вмешиваться во внутренние дела других стран Западного полушария, дабы принять надлежащие меры в вопиющих случаях «противоправных действий или проявления бессилия». Рузвельт описал этот принцип следующим образом:

«Единственное, чего желает наша страна, – это видеть соседние страны стабильными, спокойными и процветающими. Любая страна, народ которой ведет себя хорошо, может рассчитывать на нашу чистосердечную дружбу. Если государство демонстрирует, что оно знает, как действовать с разумом, умением и приличием в социальных

и политических вопросах, если оно соблюдает порядок и выполняет свои обязательства, ему не следует опасаться вмешательства со стороны Соединенных Штатов. Непрерывающиеся незаконные действия или проявления бессилия, приводящие к общему ослаблению уз цивилизованного общества, будь то в Америке или где бы то ни было, в конечном счете требуют вмешательства со стороны какого-либо цивилизованного государства. В Западной полушарии следование Соединенными Штатами доктрине Монро может вынудить их, возможно, и против своей воли, в вопиющих случаях нарушения законности или проявления бессилия взять на себя выполнение обязанностей международной полицейской силы».

Как и в случае с первоначальным вариантом доктрины Монро, ни с одной из латиноамериканских стран не проконсультировались. Поправка Рузвельта также раскрыла над Западной полушарием зонтик безопасности США. Отныне никакое постороннее государство не могло прибегнуть к силе, чтобы выместить свои обиды на странах Северной и Южной Америки; такому государству придется действовать через Соединенные Штаты, которые взяли на себя задачу поддержания порядка.

Подтверждением этой амбициозной концепции^[103] стал новый Панамский канал, который позволил Соединенным Штатам перебрасывать свой флот из Атлантического океана в Тихий, избегая продолжительного плавания вокруг мыса Горн на южной оконечности Южной Америки. Панамский канал, строительство которого было начато в 1904 году на американские средства и американскими инженерами на территории, отторгнутые у Колумбии в результате восстания местного населения, поддержанного США, и который находится под контролем США на основании долгосрочной аренды Зоны Панамского канала, официально открыли в 1914 году. Канал станет мощным стимулом для торговли, в то же время предоставив Соединенным Штатам решающее преимущество в любом военном конфликте в регионе. (Это также лишало любой иностранный флот возможности использовать данный маршрут иначе, как с разрешения США.) Безопасность Западного полушария превратилась в стержень роли Америки в мире, основанной на утверждении национальных интересов США с позиции силы.

Пока Великобритания оставалась доминирующей военно-морской державой, она следила за равновесием сил в Европе. Во время русско-японского конфликта 1904–1905 годов Рузвельт продемонстрировал, каким образом он будет применять свою концепцию дипломатии по отношению к балансу сил в Азии, а при необходимости – и в глобальном масштабе. Для Рузвельта вопрос заключался в балансе сил на Тихом океане, а не в недостатках российского самодержавия (хотя никаких иллюзий в этом отношении он не питал). Поскольку беспрепятственное продвижение на восток, в Маньчжурию и Корею, России – страны, которая, по словам Рузвельта, «проводит политику постоянного противодействия нам на Востоке и политику к тому же буквально бездонного лицемерия», – было враждебно американским интересам, Рузвельт сначала приветствовал военные победы Японии. О полном уничтожении российского флота, который, перед тем как погибнуть в Цусимском сражении, преодолел половину земного шара, он сказал, что Япония «играет в нашу игру». Однако когда японские победы начали угрожать окончательно сокрушить позиции России в Азии, мнение Рузвельта изменилось. Хотя он восхищался японской модернизацией – и, возможно, именно из-за нее, – Рузвельт стал относиться к экспансионистской Японской империи как к потенциальной угрозе положению США в Юго-Восточной Азии и пришел к выводу, что когда-нибудь она сможет «предъявить требования на Гавайские острова».

Рузвельт, хотя и был, в сущности, сторонником России, предпринял посреднические усилия по урегулированию конфликта в далекой Азии, тем самым подчеркнув роль Америки как азиатской державы. Портсмутский договор 1905 года стал квинтэссенцией рузвельтовской дипломатии баланса сил. Договор ограничивал японскую экспансию, предотвращал крах России, и в результате, как это описывал Рузвельт, Россия «будет оставлена лицом к лицу с Японией, чтобы каждая сторона могла оказывать сдерживающее влияние на другую». За свое посредничество Рузвельт был вознагражден Нобелевской премией мира, став первым американцем, удостоенным подобной чести.

К своему достижению Рузвельт относился не как к установлению прочного мира, а как к *начальному этапу* в управлении равновесием в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Когда Рузвельт начал получать тревожные разведывательные сведения о японской «партии войны», то

решил дать знать ее представителям о решимости Америки, но проделал это с изысканной утонченностью. Он отправил шестнадцать линкоров, выкрашенных, дабы продемонстрировать мирный характер их миссии, в белый цвет, – так называемую «Великую белую флотилию», – в «кругосветное плавание»; боевые корабли должны были посетить с дружественными визитами иностранные порты и послужить напоминанием, что ныне Соединенные Штаты в состоянии развернуть в любом регионе мира превосходящие силы военно-морского флота. Как Рузвельт писал своему сыну, демонстрация силы должна стать предупреждением для агрессивной фракции в Японии и таким образом обеспечить достижение мира посредством демонстрации силы: «Не думаю, что будет война с Японией, но считаю, что вероятность войны достаточно велика, чтобы в высшей степени разумным было бы застраховаться от нее, создав такой флот, который не позволит Японии надеяться на успех».

С Японией, которой с таким размахом демонстрировалась американская военно-морская мощь, в то же время следовало обращаться с предельной вежливостью. Рузвельт предупредил командовавшего флотилией адмирала, что тому нужно приложить все силы, чтобы не оскорбить чувства страны, которую он направлен сдерживать.

«Хотел бы указать Вам – хотя я и не полагаю это необходимым – проследить за тем, чтобы никто из наших людей не совершил ничего неуместного во время пребывания в Японии. Если вы отпустите членов экипажа в увольнение на берег в Токио или в другом городе Японии, то тщательно отбирайте только тех, на кого можете положиться в полной мере. На нас не должно пасть и тени подозрения в дерзости или грубости... Если не считать случая потери корабля, то при таких особенных условиях мы скорее будем оскорблены сами, чем нанесем оскорбление кому бы то ни было».

Как любил говаривать сам Рузвельт, Америка должна «не повышать голоса, но держать наготове большую дубинку».

В Атлантическом регионе мрачное предчувствие Рузвельта в первую очередь вызывали растущие амбиции и мощь Германии,

особенно ее крупная программа военно-морского строительства. Если господство Великобритании на море будет подорвано, то вместе с этим Великобритания утратит способность поддерживать европейское равновесие. Рузвельт рассматривал Германию как противостоящую силу, постепенно подавляющую своих соседей. Когда разразилась Первая мировая война, Рузвельт, к тому времени отошедший от активной политической деятельности, призвал Америку увеличить военные расходы и поскорее принять участие в разгорающемся конфликте на стороне Антанты – Великобритании, Франции и России, – чтобы не допустить угрозы его распространения на Западное полушарие. Как он писал в 1914 году своей стороннице, американке немецкого происхождения:

«Разве Вы не считаете, что если Германия выиграт в этой войне, разгромит английский флот и уничтожит Британскую империю, то через год-два она будет настойчиво добиваться доминирующего положения в Южной Америке?.. Я считаю, что будет именно так. На самом деле я в этом уверен. Потому что немцы, с которыми мне как-то однажды довелось поговорить начистоту, разделяют подобную точку зрения с откровенностью, граничащей с цинизмом».

В конечном счете характер мирового порядка, полагал Рузвельт, будет определяться противостоянием великих держав, через соперничество их амбиций и устремлений. Сохранению гуманистических ценностей лучше всего послужит геополитический успех либеральных стран, которые преследуют свои интересы и поддерживают возможность реализации собственных угроз. Там, где они одерживали верх в международной конкурентной борьбе, цивилизация развивалась и укреплялась, оказывая благотворное воздействие.

Рузвельт разделял в целом скептический взгляд на абстрактные призывы к доброй воле в международных отношениях. Он утверждал, что для Америки не будет ничего хорошего – а чаще это ей только повредит, – если Америка провозгласит важные принципы, а сама окажется не в состоянии обеспечить их соблюдение в случае решительного противодействия. «Наши слова должно судить по нашим делам». Когда промышленник Эндрю Карнеги убеждал

Рузвельта расширить участие США в процессе разоружения и в международной борьбе за права человека, Рузвельт ответил, сославшись на ряд принципов, которые одобрил бы и Каутилья:

«Мы должны всегда помнить, что для великих свободных народов было бы роковым довести себя до бессилия и оставить вооруженными деспотизм и варварство. Безопаснее было бы так поступить, если бы существовала какая-то система международной полиции; но подобной системы нет... Единственное, чего бы я не стал делать, так это «брать на пушку», когда не в силах сдержать слово; блефовать и угрожать, а потом, если нужно подкрепить свои слова, не иметь возможности действовать».

Если бы на смену Рузвельту пришел ученик – или, быть может, он сам победил на выборах в 1912 году, – то, вероятно, Америка оказалась бы включена в Вестфальскую – или в какую-то похожую на нее – систему мирового порядка. При таком развитии событий Америка почти наверняка предприняла бы усилия для более раннего завершения Первой мировой войны, подходящего для европейского баланса сил, – по аналогии с русско-японским договором, – в результате чего Германия осталась бы побежденной, но обязанной Америке за сдержанную позицию, и к тому же окружавшие ее страны имели бы достаточно сил, чтобы не допустить в будущем агрессивного поведения Германии. Такой исход событий, до того, как кровопролитие приобрело нигилистический размах, изменил бы течение истории и предотвратил бы полную утрату Европой уверенности в собственных силах, культурных и политических.

Так или иначе, Рузвельт умер уважаемым государственным деятелем и приверженцем консерватизма, однако так и не создав какой бы то ни было школы внешнеполитической мысли. Не нашлось ни одного видного последователя его идей – ни среди общественных деятелей, ни в числе преемников на посту президента. И выборы в 1912 году Рузвельт не сумел выиграть, потому что голоса консерваторов он разделил с Уильямом Говардом Тафтом, действующим президентом.

Вероятно, попытка Рузвельта сохранить свое наследие, добившись третьего президентского срока, практически неизбежно уничтожила

бы все шансы для достижения этой цели. Традиция важна, поскольку обществам не дано пройти через историю так, будто у них нет прошлого и будто они имеют возможность действовать в любом направлении. Взятый ими курс может отличаться от предыдущей траектории только в определенных пределах. Великие государственные деятели действуют на внешней границе этого поля возможностей. Если они терпят неудачу, то общество поражает стагнация. Если они переступают пределы этого поля, то утрачивают возможность формировать будущее последующих поколений. Теодор Рузвельт действовал на абсолютной границе возможностей своего общества. Когда его не стало, американская внешняя политика вернулась к видению сияющего града на холме – не участвуя и уж тем более не доминируя в формировании геополитического равновесия. Тем не менее еще при жизни Рузвельту довелось увидеть, как Америка парадоксальным образом исполнила-таки в мировой политике главную роль – которую он для нее и предрекал. Но произошло это на основе тех принципов, которые Рузвельт осмеивал, и под руководством президента, которого Рузвельт презирал.

Вудро Вильсон: Америка как совесть мира

Одержавший победу на выборах 1912 года всего с 42 процентами голосов избирателей и всего лишь через два года после того, как он оставил ученый мир и появился на арене национальной политики, Вудро Вильсон превратил образ, который Америка в основном декларировала для себя, в программу действий применительно для всего мира. Для мира подобная концепция иногда служила источником вдохновения, порой от нее мир испытывал недоумение, но нельзя было не обращать внимания как на могущество Америки, так и на масштабы идеи Вильсона.

Когда США вступили в Первую мировую войну – конфликт, который породил процесс, уничтоживший систему государственного устройства Европы, – то совершили этот шаг не на основе геополитического видения Рузвельта, а под знаменем нравственного универсализма – невиданного в Европе со времен религиозных войн три столетия тому назад. Этот новый универсализм, выдвинутый президентом США, был направлен на унификацию системы управления, которая существовала только в странах Северной Атлантики, а в том виде, который был провозглашен Вильсоном, – только в Соединенных Штатах Америки. Воодушевленный историческим содержанием моральной миссии, возложенной на Америку, Вильсон заявил, что Америка вмешалась в войну не для того, чтобы восстановить соотношение сил в Европе, а для того, чтобы «сделать мир безопасным для демократии», другими словами, выстроить мировой порядок на основе совместимости внутренних институтов, являющихся отражением американского примера. Хотя такая концепция противоречила сложившимся в Европе традициям, лидеры европейских стран приняли ее как цену вступления Америки в войну.

Выдвигая свое видение мира, Вильсон осудил систему баланса сил, ради сохранения которой его новые союзники изначально и вступили в войну. Он отверг признанные дипломатические методы (порицая «тайную дипломатию»), приписывая им главный вклад в развязывание конфликта. Вместо них Вильсон сформулировал в ряде визионерских выступлений новую концепцию международного мира, основанного на

традиционных американских предположениях и на новом настойчивом требовании в дальнейшем осуществлять их во всем мире и самым решительным образом. С тех пор эта идея, с незначительными вариациями, стала американской программой мирового порядка.

Как и многие американские лидеры до него, Вильсон утверждал, что Божьим произволением Соединенные Штаты созданы страной совсем иного рода. «Это как если бы, – заявил Вильсон в 1916 году перед выпускниками Вест-Пойнта, – Божественным Провидением континент сохраняли нетронутым, в ожидании, пока туда не явится и не создаст бескорыстное государство мирный народ, который любит свободу и права людей превыше всего прочего».

Под подобным утверждением с готовностью подписались бы едва ли не все предшественники Вильсона на президентском посту. Заявление Вильсона отличалось тем, что он был убежден: установить международный порядок, основанный на этих предложениях, возможно уже в обозримом будущем, даже во время его президентства. Джон Куинси Адамс превозносил особую американскую приверженность к самоуправлению и к «честной игре» на международной арене, однако предостерегал соотечественников от стремления навязывать эти добродетели другим странам за пределами Западного полушария, странам, которые не склонны их разделять. Вильсон же вел игру с более высокими ставками и добивался более актуальной цели. Великая война, заявил он конгрессу, будет «кульминацией и последней войной за свободу человека».

Когда Вильсон приносил президентскую присягу, он заявил, что стремится к тому, чтобы Америка оставалась нейтральной в международных делах, предлагая свои услуги в качестве незаинтересованного посредника и укрепляя систему международного арбитража ради предотвращения войны. Вновь заняв пост президента в 1913 году, Вудро Вильсон положил начало «новой дипломатии», поручив своему государственному секретарю Уильяму Дженнингсу Брайану провести переговоры о заключении ряда международных арбитражных соглашений. Благодаря усилиям Брайана в 1913 и 1914 годах было заключено более тридцати подобных договоров. В целом они предусматривали, что всякий в том или ином отношении неразрешимый спор должен быть вынесен на рассмотрение незаинтересованной комиссии; не следует прибегать к оружию, пока

сторонам – участникам конфликта не будут представлены рекомендации комиссии. Должен быть установлен «период обдумывания»^[104], в который дипломатические решения смогут взять верх над националистическими страстями. Нет исторических свидетельств, что подобные соглашения когда-либо были применены на деле при разрешении какого-либо конкретного вопроса. К июлю 1914 года Европа, как и большая часть остального мира, находилась на пороге войны.

Когда в 1917 году Вильсон заявил, что вопиющие акты насилия со стороны одной из стран-участниц, а именно Германии, вынуждают Соединенные Штаты Америки вступить в войну в «ассоциации» с воюющими государствами другой стороны (Вильсон не пожелал использовать слова «союз» или «альянс»), то решил уточнить, что Америка преследует отнюдь не корыстные цели, а направленные на всеобщее благо:

«У нас нет никаких эгоистических целей. Мы не стремимся ни к завоеваниям, ни к господству. Мы не ищем ни прибыли для себя, ни материальной компенсации за жертвы, которые добровольно принесем. Мы хотим защитить права человечества».

Исходной предпосылкой «большой» стратегии Вильсона было то, что все народы мира руководствуются теми же мотивами и моральными ценностями, что и Америка:

«Это – американские принципы, американская политика. Выступать в защиту иных принципов мы и не могли бы. Но они также – принципы и политика смотрящих в будущее мужчин и женщин во всем мире, принципы и политика всех современных наций, всех просвещенных сообществ».

Именно интриги автократий, а не какое-либо внутреннее противоречие между различными национальными интересами или устремлениями породило конфликт. Если бы все факты были известны и общественности был предложен выбор, то обычные люди выбрали бы мир – такого мнения также придерживался философ эпохи Просвещения Иммануил Кант (как описано выше) и современные

защитники открытого Интернета. Как заявил Вильсон в апреле 1917 года в своем обращении к Конгрессу об объявлении войны Германии:

«Самостоятельные нации не наводняют соседние страны шпионами и не плетут интриги, чтобы добиться определенного критического состояния дел, которое даст им возможность нанести удар ради завоевания. Подобные замыслы могут быть успешными, только будучи тайными и только там, где никто не вправе задавать вопросов. Хитроумно разработанные планы, ставящие целью обман и агрессию, осуществляемые, возможно, на протяжении жизни не одного поколения, могут реализовываться и оставаться секретом лишь под покровом тайны монархических дворов или огражденными тщательно оберегаемой конфиденциальностью среди узкого круга представителей привилегированного класса. К счастью, подобное невозможно там, где главенствует общественное мнение, требующее полной осведомленности обо всех делах страны».

Следовательно, процессуальный подход к балансу сил, нейтральность по отношению к моральному достоинству сражающихся сторон аморальны, равно как и опасны. Мало того, что демократия является лучшей формой правления; она также служит единственной гарантией для сохранения постоянного мира. Таким образом, американское вмешательство имело целью не просто сорвать военные планы Германии, но, как Вильсон объяснил в последующей речи, изменить систему правления Германии. Цель не являлась изначально стратегической, так как стратегия была выражением правления:

«Худшее, что может пойти в ущерб германскому народу, – это то, что он, после того как кончится война, все равно продолжит жить под пятой амбициозных и строящих козни властителей, стремящихся нарушить мир во всем мире, людей или классов, которым прочие народы мира не могут доверять. Наверное, было бы невозможным признать их в качестве партнеров государств, которые в дальнейшем должны будут гарантировать мир во всем мире».

Когда Германия заявила о готовности заключить перемирие, Вильсон, в соответствии со своими убеждениями, отказывался от

переговоров до тех пор, пока кайзер не отречется от престола. Для сохранения мира между странами требуется «уничтожение повсеместно всякой автократической власти, которая способна сама по себе, тайно и по одному своему усмотрению нарушить мир во всем мире; или если в настоящее время уничтожить ее невозможно, то по крайней мере низвести ее, по сути, до бессилия». Основанного на правилах, миролюбивого порядка во всем мире вполне можно достичь, но поскольку «ни одному автократическому правительству нельзя доверять, что оно будет оставаться лояльным такому союзу или будет соблюдать его договоры», то для сохранения мира требуется, «чтобы автократия первой продемонстрировала крайнюю тщетность своих претензий на господство или лидерство в современном мире».

По убеждению Вильсона, распространение демократии станет автоматическим следствием реализации принципа самоопределения. Со времен Венского конгресса войны заканчивались соглашением о восстановлении баланса сил путем территориальных изменений. Концепция мирового порядка, по Вильсону, требовала вместо этого «самоопределения» – каждой нации, определяемой этническим и языковым единством, следует иметь свое государство. Только через самоуправление, как он определял, народы могут выразить свое основополагающее желание гармонии в международной сфере. И стоит им обрести независимость и национальное единство, утверждал Вильсон, у них больше не будет стимула прибегать к агрессивной или эгоистической политике. Следуя принципу самоопределения, государственные деятели не «осмелятся вступать в любые договоры эгоизма и компромисса, наподобие тех, что были заключены на Венском конгрессе», где представители элиты великих держав тайно перекроили границы государств, отдавая при этом предпочтение равновесию сил, а не чаяниям народов. Тем самым мир вступит «в эпоху... которая отвергает нормы национального эгоизма, чем некогда руководствовалась высшая власть государств, и потребует, чтобы они уступили дорогу новому порядку вещей, при котором единственными вопросами будут: «Правильно ли это?», «Это справедливо?», «В интересах ли это человечества?».

Мало нашлось подтверждений в пользу предположения Вильсона о том, что общественное мнение с большей готовностью воспримет

некие общие «интересы человечества», чем обычные политики, которых тот столь яростно осуждал. Все европейские страны, которые вступили в 1914 году в войну, имели представительные институты, пускай и обладавшие различной степенью влияния. (Германский парламент был избран на основе всеобщего избирательного права.) Во всех этих странах война была встречена всеобщим воодушевлением, ни один из выборных органов не столкнулся ни с малейшей, хотя бы даже символической, оппозицией. После войны общественность демократических Франции и Великобритании потребовала карательного договора о мире, игнорируя свой исторический опыт, свидетельствующий, что устойчивого порядка в Европе нельзя достичь иначе, кроме как через окончательное примирение победителя и проигравшей стороны. Сдержанность оказалась гораздо более свойственна аристократам, которые вели переговоры на Венском конгрессе, пускай даже лишь потому, что они разделяли общие для своего класса ценности и имели схожий исторический опыт. Лидеры, которых сформировала внутренняя политика балансирования между многими группами давления, по всей вероятности, куда более склонны приспособливаться к настроениям текущего момента или к диктату национального достоинства, чем следовать абстрактным принципам блага человечества.

Идея одолеть войну, наделив каждый народ своим государством, столь же восхитительна, сколь и всякое обобщенное понятие, столкнувшееся на практике с аналогичными трудностями. Как ни иронично, но перекройка границ Европы согласно новому принципу национального самоопределения на основе языка, главным образом, по воле Вильсона, только расширяла геополитические перспективы Германии. Перед войной Германия граничила с тремя ведущими державами (Францией, Россией и Австро-Венгрией), сдерживающими любую территориальную экспансию. Теперь же ей противостоял ряд небольших государств, созданных по принципу самоопределения, – но только частично, поскольку в Восточной Европе и на Балканах народы столь перемешаны, что все новообразованные страны включали в себя представителей иных национальностей, что усугубляло их стратегическую слабость идеологической уязвимостью. На восточном фланге Европы охваченная волнениями центральная сила больше не была огромной массой, – что на Венском конгрессе сочли

необходимым для сдерживания тогдашнего агрессора, Франции, – однако, как с сожалением отозвался английский премьер-министр Ллойд Джордж, представляла собой «ряд мелких государств, многие из которых населены людьми, которые никогда прежде не создавали устойчивой формы правления для себя, но в каждом из которых живет большое число немцев, требующих воссоединения с родной для себя землей».

Проведению в жизнь концепции Вильсона должно было благоприятствовать создание новых международных институтов и обычаев, направленных на мирное разрешение споров и конфликтов. Прежний союз держав призвана была заменить Лига Наций. Отказываясь от традиционного представления о балансе конкурирующих интересов, члены Лиги Наций должны были стремиться «не к балансу, а к сообществу сил; не к организованному соперничеству, а к организованному всеобщему миру». Вполне понятно, что после войны, вызванной конфронтацией двух негибких систем альянсов, политики могли искать альтернативу получше. Но «сообщество сил», о котором говорил Вильсон, сменило ригидность на непредсказуемость.

То, что Вильсон подразумевал под сообществом сил, было новой концепцией, которая позднее получила известность как «коллективная безопасность». В традиционной международной политике государства, интересы которых совпадают или опасения которых схожи, могут взять на себя особую роль в обеспечении мира и сформировать союз – как это имело место, например, после поражения Наполеона. Подобные договоренности всегда были направлены на отражение конкретных стратегических угроз, явно названных или подразумеваемых: к примеру, реваншистская Франция после Венского конгресса. Напротив, Лига Наций должна была опираться на моральный принцип – на всеобщее противодействие военной агрессии как таковой, независимо от ее источника, преследуемых целей или заявленных оправданий. Во внимание принимался не какой-то конкретный вопрос, а нарушение норм. Поскольку определение норм оказалось предметом, допускающим различные толкования, то обеспечение коллективной безопасности было в этом смысле непредсказуемым.

Исходя из самой идеи Лиги Наций, все страны обязуются мирно разрешать споры и подчиняться нейтральному применению правил честного поведения, которые все разделяют. Если в том, что касается их прав или обязанностей, взгляды государств различаются, то они выносят предмет расхождений на арбитраж комиссии из представителей незаинтересованных сторон. Если же страна нарушит этот принцип и применит силу в подкрепление своих претензий, то тем самым заклеит себя как агрессор. Затем члены Лиги должны объединиться в борьбе с воинственной стороной как с нарушителем всеобщего мира. В рамках Лиги недопустимы ни альянсы, ни «особые интересы», ни тайные соглашения, ни «заговоры внутренних кругов», потому что подобное станет препятствием для незаинтересованного применения правил системы. В отношениях между государствами будет установлен новый порядок, взамен «достигнутых открытых договоренностей о мире».

Различие, которое Вильсон проводил между союзами и коллективной безопасностью – ключевым элементом системы Лиги Наций, – выходило на центральное место в дилеммах, возникавших впоследствии. Альянс возникает как соглашение относительно конкретных фактов или ожиданий. Он обуславливает формальную обязанность действовать точно оговоренным образом в определенных дополнительных обстоятельствах. Договор порождает стратегическое обязательство, которое должно быть выполнено в согласованном порядке. Он возникает из осознания общности интересов, и чем более совпадают эти интересы, тем более сплоченным будет возникший союз. Коллективная безопасность, напротив, является юридическим конструктом, который не является ответом на какую-либо определенную ситуацию. Она не налагает конкретных обязательств, за исключением требования совместных действий в том или ином виде, когда будут нарушены правила международного порядка сохранения мира. На практике это означает, что в каждом конкретном случае о совместных действиях необходимо договариваться.

Очертить альянсы, возникающие из осознания определенной общности интересов, возможно заблаговременно. Коллективная безопасность провозглашается системой, направленной против любых агрессивных действий в рамках компетенции стран-участниц, а в эту сферу, согласно предложениям о Лиге Наций, включались все

признанные государства. В случае нарушения такая система коллективной безопасности должна определить общую цель уже постфактум, вычленив ее из пестроты национальных интересов. Однако представление о том, что в подобных ситуациях страны-участницы определяют нарушение мира одинаковым образом и предпримут согласованные действия по его пресечению, опровергается опытом истории. Начиная со времен Вильсона и по настоящий момент, в рамках Лиги Наций или ее преемницы, Организации Объединенных Наций, только войну в Корее и первую войну в Ираке возможно отнести к случаям, демонстрирующим действие системы коллективной безопасности в концептуальном смысле. И в обоих случаях так произошло потому, что Соединенные Штаты Америки ясно дали понять, что при необходимости станут действовать в одностороннем порядке (фактически в обоих случаях США начали развертывание войск еще до официального решения ООН). Вместо того чтобы побудить Америку принять решение, резолюция ООН ратифицировала его^[105]. Обязательство поддержать Соединенные Штаты больше являлось возможностью приобрести влияние на действия Америки – которые уже предпринимались, – чем выражением морального консенсуса.

Система баланса сил рухнула с началом Первой мировой войны, потому что союзы, которые были ею порождены, не отличались гибкостью, и она неразборчиво применялась во второстепенных вопросах, тем самым усугубляя конфликты. Система коллективной безопасности потерпела полное фиаско уже на первых шагах на пути, который привел ко Второй мировой войне. Лига Наций оказалась бессильна в таких случаях, как расчленение Чехословакии, нападение Италии на Абиссинию, отказ Германии от соблюдения Локарнских договоров и японское вторжение в Китай. Принятое определение агрессии было настолько расплывчатым, а нежелание предпринимать совместные действия настолько громадным, что Лига Наций оказалась недееспособна даже при вопиющих угрозах миру. Система коллективной безопасности неоднократно давала сбой и не работала в ситуациях, которые самым серьезным образом угрожали миру и международной безопасности. (Например, во время войны на Ближнем Востоке в 1973 году заседания Совета Безопасности ООН в результате тайного соглашения между его постоянными членами не проходили до

тех пор, пока между Вашингтоном и Москвой не были проведены переговоры о прекращении огня.)

Тем не менее наследие Вильсона столь сильно повлияло на американское мышление, что американские лидеры объединили систему коллективной безопасности с системой союзов. Объясняя осторожному конгрессу зарождающуюся после Второй мировой войны систему Атлантического альянса, представители президентской администрации настаивали на характеристике союза стран – членов НАТО как безупречной реализации доктрины коллективной безопасности.

Они представили на рассмотрение анализ сенатского комитета по иностранным делам, в котором прослеживалось различие между историческими альянсами и Североатлантическим договором и который постановлял, что НАТО не имеет отношения к защите территории (несомненно, новость для европейских союзников Америки). Комитет заключил, что Североатлантический договор «не направлен против кого бы то ни было; он направлен исключительно против агрессии. Договор не ставит целью как-либо изменить «баланс сил», но служит для укрепления «баланса принципа»». (Можно себе представить, как блеснули глаза госсекретаря Дина Ачесона – проницательный знаток истории, он-то многое знал и понимал куда лучше, – когда тот представлял конгрессу договор, составленный так, чтобы обойти слабости доктрины коллективной безопасности в качестве средства для ее реализации.)

Экс-президент Теодор Рузвельт выразил сожаление по поводу попыток Вильсона в начале Первой мировой войны оставаться в стороне от разворачивающегося в Европе конфликта. Затем, под занавес войны, он поставил под сомнение заявления, сделанные от имени Лиги Наций. После того как в ноябре 1918 года было объявлено перемирие, Рузвельт писал:

«Я – за такую Лигу, при условии, что мы не станем ожидать от нее слишком многого... Не хочу играть роль, которую даже Эзоп подверг осмеянию, когда писал о том, как волки и овцы согласились разоружиться и как овцы в залог честных намерений отослали сторожевых псов, а затем были тотчас же съедены волками».

Вильсонианство не было подвергнуто проверке: неизвестно, можно ли сберечь мир соблюдением подробно разработанных правил, согласованных достаточно большим количеством подписавшихся под ними стран. Главный вопрос состоит в том, как быть, когда эти правила нарушены или – что является большим испытанием – когда правилами манипулируют в целях, идущих вразрез с их духом. Если международный порядок представляет собой правовую систему, действующую перед судом общественного мнения, что будет, если агрессор решит развязать конфликт по вопросу, который демократическая общественность полагает слишком непонятным или неясным, чтобы служить основанием для вмешательства – например, пограничный спор между итальянскими колониями в Восточной Африке и независимой Абиссинской империей?^[106] Если две стороны нарушили запрет на использование силы и, как следствие, международное сообщество запретило поставки оружия обеим воюющим странам, тогда, скорее всего, восторжествует более сильная сторона. Если какая-то сторона «по закону» откажется от участия в механизме соблюдения мира и международного порядка и объявит, что более не связана его строгими узами, – как было при окончательном выходе из Лиги Наций Германии, Японии и Италии, в случаях с Вашингтонским морским договором 1922 года или пактом Келлога – Бриана в 1928 году или, уже в наши дни, с нарушением рядом стран Договора о нераспространении ядерного оружия, – надо ли уполномочить страны, поддерживающие статус-кво, на применение силы, чтобы наказать за нарушение, или следует попытаться уговорить страну-отступницу вернуться в рамки системы? Или лучше просто проигнорировать вызывающее деяние? И не послужит ли тогда курс на умиротворение вознаграждением для нарушителя? Прежде всего, «законны» ли были результаты, когда, тем не менее, требовалось оказать противодействие, потому что нарушались другие принципы военного или политического равновесия – например, всенародно одобренное «самоопределение» Австрии и присоединение немецкоязычных областей Чехословацкой Республики к нацистской Германии в 1938 году, или порожденное в 1932 году по задумке Японии на территории Северо-Восточного Китая якобы самоопределившееся Маньчжоу-Го («Маньчжурское государство»)? Определяли ли *сами* правила и принципы международный порядок

или же они представляли собой подмости на вершине геополитической структуры, способной – а в действительности требующей – более сложного механизма управления?

«Старая дипломатия» стремилась уравновесить интересы соперничающих стран и умерить страсти антагонистических национализмов, установив равновесие противостоящих сил. Именно в духе «старой дипломатии» Франция была возвращена в европейский миропорядок после поражения Наполеона – ее пригласили участвовать в Венском конгрессе, даже когда гарантировали, что ее окружение будет сдерживать любые возможные в будущем призывы к территориальным расширениям. Для новой дипломатии, обещавшей изменить порядок международных отношений на принципах морали, а не стратегии, подобные расчеты были непозволительны.

Такой подход поставил политиков в 1919 году в сложное положение. Германия не была приглашена на мирную конференцию, в итоговом договоре ее назвали единственной виновницей войны и агрессором, и на нее возложили все финансовое и моральное бремя конфликта. К востоку от Германии, однако, версальским политикам с трудом удавалось выступать посредниками между многочисленными народами, которые утверждали «право на самоопределение» на одних и тех же территориях. Это привело к возникновению между двумя потенциально великими державами – Германией и Россией – десятка слабых, этнически раздробленных государств. Так или иначе, там оказалось слишком много наций, чтобы их независимость была реалистичной или гарантированной; более того, была предпринята неуверенная попытка выступления за права меньшинств. Зарождающийся Советский Союз, также не представленный в Версале, превратился в антагониста, но не был уничтожен – интервенция союзных государств на севере России окончилась неудачей, а после он оказался в изоляции. И, в довершение этого и к громадному разочарованию Вильсона, Сенат США отклонил резолюцию о вступлении Америки в Лигу Наций.

В годы, прошедшие после президентства Вильсона, в его неудачах винили, как правило, не недостатки концепции международных отношений, а связывали их со стечением обстоятельств – с изоляционистски настроенным конгрессом (а попыток обратиться к

его представителям или успокоить их Вильсон почти не предпринимал) – или со случившимся у президента параличом, который поразил его во время поездки по стране с выступлениями в поддержку Лиги.

Как бы по-человечески трагичны ни были эти события, необходимо сказать, что идея Вильсона провалилась не из-за недостаточной приверженности Америки вильсонизму. Преемники Вильсона пытались осуществить его прозорливую программу с помощью дополнительных, а по сути, вильсонизанских средств. В 1920-х и 1930-х годах Америка и ее демократические партнеры предпринимали значительные усилия в области дипломатии разоружения и мирного арбитража. На Вашингтонской морской конференции 1921–1922 годов США пытались предотвратить гонку вооружений, внося предложение списать на слом тридцать военных кораблей ради того, чтобы установить определенную пропорцию в ограничениях на тоннаж американского, английского, французского, итальянского и японского флотов. В 1928 году Фрэнк Келлог, государственный секретарь в администрации президента Калвина Кулиджа, выступил инициатором так называемого пакта Келлога – Бриана, заявлявшего об отказе от войны в качестве «орудия национальной политики»^[107]. В числе подписавших договор государств, к которым относилось подавляющее большинство независимых стран мира, оказались все участницы Первой мировой войны и все будущие державы Оси; они дали обещание только мирными средствами урегулировать «все могущие возникнуть между ними споры или конфликты, какого бы характера или какого бы происхождения они ни были». До нашего времени ни одна значимая часть этих инициатив не дожила.

И все же Вудро Вильсон, чья политическая деятельность представляется больше сюжетом шекспировской трагедии, чем темой для учебников внешней политики, затронул важные струны американской души. Хотя Вильсон и не относится к числу наиболее прозорливых и геополитически мыслящих или искушенных в дипломатии деятелей американской внешней политики двадцатого века, он, согласно результатам современных опросов общественного мнения, постоянно входит в списки «величайших» президентов США. Мерой интеллектуального триумфа Вильсона может служить то, что даже Ричард Никсон, внешняя политика которого в действительности

во многом была воплощением заповедей Теодора Рузвельта, считал себя последователем вильсоновского интернационализма и повесил в Овальном кабинете портрет Вильсона времен Первой мировой войны.

В конечном счете величие Вудро Вильсона должно измеряться той степенью, в какой он сумел сплотить традицию американской исключительности под знаменем идеи, которая пережила эти недостатки. Его чтили как пророка, к мечте которого Америка, как она полагала, обязана стремиться. Всякий раз, как Америке предстояло пройти через испытание кризисом или конфликтом – будь то Вторая мировая война, холодная война или происходящие в нашу эпоху потрясения в исламском мире, – она тем или иным способом возвращалась к сформированному Вудро Вильсоном представлению о мировом порядке, который обеспечивает мир посредством демократии, открытой дипломатии и совершенствования общих правил и стандартов.

Гениальность этой идеи заключается в способности поставить американский идеализм на службу важнейшим внешнеполитическим обязательствам в деле сохранения мира, в сфере защиты прав человека и в сотрудничестве при разрешении различных проблем, а также в способности наполнить применение американской мощи надеждой на лучший и более прочный и безопасный мир. В немалой степени влиянию концепции Вильсона обязано распространение за минувший век по всему миру представительной системы управления, а также те исключительные убежденность и оптимизм, которые Америка привнесла своими обязательствами в мировые дела. Трагедия же вильсоновства состоит в том, что оно завещало решающей силе двадцатого века возвышенную внешнеполитическую доктрину, освобожденную от чувства истории или геополитики.

Франклин Рузвельт и новый мировой порядок

Принципы Вильсона оказались настолько обширно и глубоко связаны с восприятием Америкой самой себя, что, когда два десятилетия спустя опять встал вопрос о мировом порядке, неудачи межвоенного периода не помешали их триумфальному возвращению. В разгар новой мировой войны Америка снова обратилась к задаче формирования нового мирового порядка главным образом на вильсоновских принципах.

Когда в августе 1941 года около Ньюфаундленда на борту английского линкора «Принц Уэльский» впервые в качестве лидеров своих стран встретились Франклин Делано Рузвельт (двоюродный брат Теодора Рузвельта и на тот момент уже избранный президентом на исторический третий срок) и Уинстон Черчилль, они сформулировали то, что назвали совместным видением, обнародовав Атлантическую хартию из восьми «общих принципов» – их всецело одобрил бы Вильсон, хотя со всеми пунктами этой декларации без душевного дискомфорта не согласился бы ни один британский премьер-министр прошлых лет. Провозглашенные принципы включали в себя «право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить»; неприятие территориальных приобретений против воли заинтересованных народов; «свободу от страха и нужды»; программу международного разоружения, которая предшествует окончательному «отказу от применения силы» и «установлению более широкой и надежной системы всеобщей безопасности». Не все эти пункты – в особенности тот, который касался деколонизации, – были приняты по инициативе Уинстона Черчилля, и вряд ли бы он согласился с ними, если бы не полагал важным заручиться американским партнерством, которое для Великобритании было лучшей, а может, и единственной надеждой избежать поражения.

В изложении своих представлений о фундаменте международного мира Рузвельт даже заходил дальше Вильсона. Выходец из академических кругов, Вильсон в построении международного порядка исходил из философских, по существу, принципов. Пришедший в Белый дом из водоворотов американской политики, где

корыстные интересы переплетаются с манипулированием, Рузвельт возлагал немалые надежды на умение управлять людьми.

Таким образом, Рузвельт выразил убеждение, что новый международный порядок будет выстроен на основе личного доверия:

«Тот вид миропорядка, которого мы, миролюбивая нация, обязаны добиться, должен существенным образом опираться на дружественные отношения между людьми, на знакомства, на терпимость, на подлинную искренность, добрую волю и честные намерения».

К этой теме Рузвельт вернулся в 1945 году в своей четвертой инаугурационной речи:

«Мы усвоили ту простую истину, которую высказал Эмерсон: «Единственный способ иметь друга – быть другом самому». Мы не обеспечим продолжительного мира, если будем относиться к нему с подозрением, недоверием и страхом».

Когда во время войны Рузвельт общался со Сталиным, он на практике придерживался этих убеждений. Столкнувшись со свидетельствами нарушений Советским Союзом соглашений и антизападной враждебностью, Рузвельт, как сообщается, заверял бывшего посла США в Москве Уильяма К. Буллита:

«Билл, я не спорю с Вашими фактами; они точны. Я не спорю с логикой Ваших рассуждений. Просто у меня есть предчувствие, что Сталин не такой человек... Полагаю, если я дам ему все, что я, наверное, могу дать и не попрошу у него ничего взамен, то, *noblesse oblige*, он не будет пытаться ничего аннексировать и станет работать на благо мира и демократии».

Во время первой встречи двух глав государств^[108] в 1943 году в Тегеране, где проходила конференция союзников, Рузвельт вел себя соответственно своим заявлениям. Когда Рузвельт прибыл в Тегеран, советский лидер предупредил его о нацистском заговоре, о котором узнала советская разведка и который угрожает жизни президента, и предложил ему расположиться в хорошо укрепленном комплексе зданий советского посольства, утверждая, что в американском

посольстве менее безопасно и находится оно слишком далеко от предполагаемого места проведения заседаний конференции. Рузвельт принял советское предложение, отказавшись переезжать в расположенное неподалеку английское посольство, чтобы не создалось впечатление, будто руководители Великобритании и США что-то затевают против Сталина. Более того, в дальнейшем на совместных встречах со Сталиным Рузвельт демонстративно поддразнивал Черчилля и в целом старался показать, будто между ним и британским лидером существует некая разобщенность.

Непосредственной задачей было определить концепцию послевоенного мира. По каким принципам будут строиться отношения мировых держав? Какой вклад потребуется от Соединенных Штатов Америки в разработку и обеспечение международного порядка? Будет ли Советский Союз умиротворен или перейдет к противодействию? И какой облик приобретет мир, если эти задачи будут успешно выполнены? Будет ли мир зафиксирован документом или это будет некий процесс?

Геополитическая задача, вставшая в 1945 году перед американским президентом, была не менее сложной, чем любая другая, с которой ему пришлось иметь дело. Даже жестоко пострадавший от войны Советский Союз мог стать препятствием на пути к построению послевоенного международного порядка. Его размеры и размах завоеваний опрокинули баланс сил в Европе. А его идеологическая суть ставила под сомнение легитимность любой западной институциональной структуры: отвергая все существующие институты как формы незаконной эксплуатации, коммунизм призывал к мировой революции, чтобы свергнуть правящие классы и установить власть тех, кого Карл Маркс называл пролетариями всех стран.

Когда в 1920-х годах большая часть первых коммунистических восстаний в Европе была разгромлена или лишилась поддержки у «священного» пролетариата, Иосиф Сталин, непримиримый и беспощадный, обнародовал доктрину о построении «социализма в одной стране». За десятилетие чисток он устранил остальных лидеров, совершивших революцию, и провел, в основном за счет мобилизованной рабочей силы, наращивание промышленного потенциала России. Стремясь отклонить надвигающийся с запада нацистский шторм, в 1939 году Сталин подписал договор о

нейтралитете с Гитлером, разделивший Северную и Восточную Европу на советскую и германскую сферы влияния. Когда в июне 1941 года Гитлер все-таки напал на Россию, Сталин вспомнил о русском национализме, вернул его из идеологического небытия и провозгласил «Великую Отечественную войну», соединив коммунистическую идеологию с оппортунистическим обращением к русским имперским чувствам. Впервые за годы коммунистического правления Сталин воззвал к русской душе, которая создала русское государство и защищала его на протяжении веков, невзирая на тиранию властителей, иноземные вторжения и разграбления.

Победа в войне поставила мир перед вызовом со стороны России, аналогичным тому, который встал после Наполеоновских войн, только на сей раз кризис был острее. Какова будет реакция раненого гиганта – который потерял по крайней мере двадцать миллионов человеческих жизней и у которого треть западной части огромной территории опустошена войной – на открывшийся перед ним политический вакуум? Ответ можно было получить, внимательно изучив заявления Сталина, но во время войны большинство разделяло иллюзию – которую Сталин старательно поддерживал, – что он скорее обуздывал коммунистических идеологов, а не подстрекал их.

Глобальная стратегия Сталина отличалась сложностью. Он был убежден, что капиталистическая система неизбежно порождает войны; следовательно, окончание Второй мировой войны в лучшем случае будет означать перемирие. Он считал Гитлера пусть своеобразным, но типичным представителем капиталистической системы, а вовсе не ее аномалией. После поражения Гитлера капиталистические государства остались противниками, что бы там ни говорили или даже ни думали их руководители. Вот как Сталин презрительно высказался о лидерах Великобритании и Франции 1920-х годов:

«Говорят о пацифизме, говорят о мире между европейскими государствами. Бриан и Чемберлен лобызаются... Это все пустяки. Из истории Европы мы знаем, что каждый раз, когда заключались договоры о расстановке сил для новой войны, они, эти договоры, назывались мирными. Заключались договоры, определяющие элементы будущей войны...»^[109]

В рамках сталинского мировоззрения решения определялись объективными факторами, а не личными взаимоотношениями. Таким образом, добрая воля военного времени была «субъективной», и на смену ей пришли новые обстоятельства, обусловленные победой в войне. Целью советской стратегии было добиться максимальной безопасности перед неизбежной решающей схваткой. Это означало продвижение границ безопасности России как можно дальше на запад и ослабление стран за пределами этих границ безопасности с помощью коммунистических партий и тайных операций.

Пока шла война, западные лидеры отказывались признавать оценку подобного рода: Черчилль – поскольку ему необходимо было идти в ногу с Америкой; Рузвельт – потому что он защищал «генеральный план» по обеспечению справедливого и прочного мира, который, в сущности, был кардинальным изменением того, чем являлся европейский мировой порядок, – и он бы не одобрил ни систему баланса сил, ни реставрацию империй. Официальная программа Рузвельта требовала правил для мирного урегулирования споров и параллельно – усилий великих держав, так называемых «четырёх полицейских»: Соединенных Штатов Америки, Советского Союза, Великобритании и Китая. Возглавить выявление нарушений мира должны были главным образом Соединенные Штаты и Советский Союз.

Чарльз Боулен, тогда – молодой сотрудник дипломатической службы и личный переводчик Рузвельта на встречах со Сталиным, позднее ставший архитектором американской политики холодной войны, – порицал Рузвельта за «американскую уверенность в том, что собеседник – «хороший парень», который станет отвечать вам честно и прилично, если вы отнесетесь к нему должным образом»:

«Он [Рузвельт] считал, что Сталин видит мир примерно в том же свете, что и он, и что враждебность и недоверие Сталина... связаны с пренебрежением, с которым к Советской России в течение многих лет после революции относились другие страны. Он не понимал того, что в основе неприязни Сталина лежали глубокие идеологические убеждения».

Другие придерживаются того мнения^[110], что Рузвельт, зачастую проявлявший свою политическую ловкость и коварство самым беспощадным образом – достаточно вспомнить, какими маневрами он привел американский народ, настроенный в сущности нейтрально, к войне, которую мало кто из современников считал необходимой, – никак не мог быть обманут даже таким вероломным лидером, как Сталин. Согласно этой интерпретации, Рузвельт выжидал благоприятного момента и ублажал советского лидера, чтобы удержать его от заключения сепаратного соглашения с Гитлером. Он, должно быть, знал – или вскоре бы обнаружил, – что советское представление о мировом порядке прямо противоположно американскому; призывы к демократии и самоопределению хороши для сплочения американской общественности, но в конечном счете они оказались бы неприемлемыми для Москвы. Когда же была бы достигнута безоговорочная капитуляция Германии и Советы продемонстрировали бы свою непримиримость и нежелание компромиссов, то Рузвельт, согласно этой точке зрения, объединил бы демократические страны вокруг Америки с той же решительностью, с которой он противостоял Гитлеру.

С деятельностью великих лидеров нередко связаны большие неопределенности. Когда президент Джон Ф. Кеннеди погиб от пуль убийцы, не был ли он в шаге от решения увеличить американское присутствие во Вьетнаме или же намеревался уйти оттуда? Вообще говоря, в чем-чем, а в наивности критики никогда Рузвельта не упрекали. Наверное, ответ заключается в том, что Рузвельт, как и его сотрудники, выказывал двойственный подход к двум сторонам международного порядка. Он высказывал надежду на мир, основанный на законности, а именно – на доверии между индивидуумами, на уважении международного законодательства, на гуманитарных целях и на доброй воле.

Однако, столкнувшись с упрямо исповедуемым Советским Союзом силовым подходом, Рузвельт, по всей вероятности, обратился бы к своей макиавеллиевской стороне, которая привела его к руководству страной и превратила в наиболее влиятельную фигуру своего времени. Вопрос, о каком бы балансе сил он договорился, остался без ответа – президент скончался на четвертом месяце своего четвертого президентского срока, так и не успев завершить разработку плана в

отношении Советского Союза. В этой роли неожиданно, словно подброшенный катапультой, оказался Гарри С. Трумэн, до того исключенный Рузвельтом из всех процессов принятия решений.

Глава 8

Соединенные Штаты Америки: противоречивая сверхдержава

Все двенадцать послевоенных президентов США публично и энергично заявляли об исключительной роли Америки в мире^[111]. Каждый считал аксиомой, что Соединенные Штаты бескорыстно стремятся к разрешению конфликтов и утверждению равенства всех государств, причем главным ориентиром и мерилom успеха должны быть мир во всем мире и всеобщее согласие.

Все президенты, к какой бы партии – демократической или республиканской – они ни принадлежали, – провозглашали, что американские принципы применимы для всего мира, о чем, вероятно, наиболее красноречивым (однако ни в коем случае не уникальным) образом выразился в своей инаугурационной речи президент Джон Ф. Кеннеди 20 января 1961 года. Кеннеди призвал страну «заплатить любую цену, вынести любое бремя, пройти через любое испытание, поддержать любого друга, воспрепятствовать любому врагу, утверждая жизнь и достижение свободы». Он не провел никакого различия между угрозами; он не определил никаких приоритетов, обуславливающих вовлеченность Америки. Особо он подчеркнул отказ от изменчивых расчетов традиционного баланса сил. То, к чему призывал Кеннеди, было «попыткой создания не нового баланса сил, а нового мира, где царит закон». Им должен стать «великий всемирный союз» против «общих врагов человека». То, что в других странах сочли бы за риторически красивую фразу, в американском дискурсе было преподнесено как определенная программа действий во всемирном масштабе. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН через месяц после убийства Кеннеди, Линдон Джонсон подтвердил ту же безусловную глобальную приверженность:

«Любой человек и любая нация, которые стремятся к миру и ненавидят войну и готовы бороться за справедливое дело против голода, болезней и страданий, обнаружат рядом с собой Соединенные Штаты Америки – готовые идти с ними, готовые пройти вместе с ними каждый шаг на этом пути».

Такое чувство ответственности за мировой порядок и убежденность в незаменимости американской мощи, подкрепленные тем единодушием, которое лежало в основании морального универсализма лидеров, опиравшихся на преданность американского народа идеям свободы и демократии, привели к исключительным достижениям времен холодной войны и после нее. Америка помогла восстановить разрушенную экономику европейских стран, создала Атлантический альянс и сформировала глобальное сообщество ради безопасности и экономического партнерства. Она прошла путь от изоляции Китая к политике сотрудничества с ним. Она разработала систему открытой мировой торговли, которая обеспечивает эффективность и процветание, и находилась (как было в течение прошлого века) на переднем крае почти всех технологических революций того времени. Она поддерживала политику прямого участия в управлении как в дружественных, так и в противостоящих странах; она играла ведущую роль в формулировании новых гуманитарных принципов и, чтобы исполнить взятые на себя обязательства, с 1945 года проливала американскую кровь в пяти войнах и в целом ряде других случаев. Ни одна другая страна не исповедовала подобный идеализм и не обладала такими ресурсами, чтобы ответить на столь разные и многочисленные вызовы, как не обладала и способностью добиться успеха в столь многих случаях. Американские идеализм и исключительность были движущими силами при возведении здания нового международного порядка.

На протяжении нескольких десятилетий наблюдалось примечательное соответствие между традиционной верой Америки и историческим опытом и миром, в котором она оказалась. Для поколения лидеров, которые брали на себя ответственность за строительство послевоенного порядка, двумя великими свершениями были преодоление спада 1930-х годов и победа над агрессией в 1940-х. Обе задачи требовали определенных решений: в экономической сфере – восстановления роста и принятия новых программ социального обеспечения; в войне – безоговорочной капитуляции противника.

В конце войны Соединенные Штаты Америки, как единственная крупная страна, вышедшая из конфликта без особых потерь, производили около 60 процентов мирового ВВП. Тем самым

открывалась возможность определять: лидерство – по практическому прогрессу, ориентиром для которого служат достижения Америки внутри страны; союзы – через вильсонские концепции коллективной безопасности; управление – посредством программ восстановления экономики и демократических реформ. Холодная война была начата США как оборонительная мера для защиты тех стран, которые имели общие с Америкой взгляды на мировой порядок. Считалось, что их противник, Советский Союз, будто бы «отбил» от международного сообщества, в которое он в конце концов вернется.

Америку, следовавшую такому видению, поджидали столкновения с иными историческими взглядами на мировой порядок. С окончанием эпохи колониализма на международной арене стали появляться страны с различным историческим опытом, с другими культурами. Природа коммунизма усложнилась, а его влияние стало неоднозначным. Значительные трудности приводили к власти правительства и порождали доктрины, отвергавшие американские концепции внутривосточного и международного мироустройства. Как ни велики были американские возможности, очевидной становилась их ограниченность. Настоятельно требовалось определить приоритеты.

Столкновение Америки с этими реалиями подняло новый вопрос, который перед США до той поры не вставал: является ли американская внешняя политика историей с началом и финалом, когда возможны окончательные победы? Или же она представляет собой процесс, обусловленный необходимостью отвечать на постоянно возникающие вызовы и справляться с ними? Есть ли у внешней политики цель или же это процесс, не имеющий завершения?

Отвечая на эти вопросы, Америке пришлось проходить через болезненные и неприятные споры и преодолевать внутренние расколы, связанные с определением сущности своей роли в мире. Все это было обратной стороной исторического идеализма. Очерчивая рамки вопроса о мировой роли Америки в качестве проверки нравственного совершенства, она подвергала себя за свои неудачи суровой критике – что порой оказывало сильнейшее воздействие. Упования на финальную кульминацию прилагаемых усилий – безопасный, демократический, основанный на правилах мир, какой предсказывал Вильсон, – зачастую плохо соотносились с ожиданиями внешней политики как постоянного стремления к возможному, обусловленным

конкретными обстоятельствами целям. Учитывая то, что почти каждый президент настойчиво заявлял, что Америка исходит из универсальных *принципов*, в то время как все прочие страны преследуют лишь национальные интересы, Соединенные Штаты рисковали испытать такие крайности, как перенапряжение и разочарование провалом.

После окончания Второй мировой войны, в процессе поисков своего видения мирового порядка, Америка начала пять войн, преследуя громадные цели, первоначально принятые почти единодушно общественностью, однако затем общество резко расходилось во взглядах – причем нередко балансируя на грани насилия. В случае трех таких войн поддержка истеблишмента внезапно сменялась готовностью согласиться с программой фактически безоговорочного одностороннего отступления. Трижды за срок жизни двух поколений Соединенные Штаты, «меняя коней на переправе», выходили из войн в самый разгар боевых действий, охарактеризовав их как не отвечающие преобразованиям, либо неправильно спланированными или недостаточно обоснованными: в случае Вьетнама это произошло в результате решений конгресса, в случаях Ирака и Афганистана – по указанию президента.

Победа в холодной войне сопровождалась изначально свойственной Америке двойственностью. Соединенные Штаты старались обрести свой дух в моральной ценности прилагаемых усилий, для которой с трудом отыщутся исторические параллели. Но либо поставленные Америкой цели были невыполнимы, либо Америка не следовала стратегической линии, совместимой с достижением таких целей. Критики станут приписывать эти неудачи недостаткам, моральным и интеллектуальным, лидеров Америки. Историки, вероятно, придут к выводу, что они проистекают из невозможности разрешить неоднозначность, связанную с соотношением силы и дипломатии, реализма и идеализма, власти и легитимности, – той самой двойственности, которая пронизывает все общество.

Начало холодной войны

Ничто в политической карьере Гарри С. Трумэна не предполагало, что однажды он станет президентом, а тем более что он встанет у истоков создания структуры международного порядка, которая сумеет

выдержать всю холодную войну и поможет ее завершить. Однако именно ему, этому образчику типичного американца, «простому человеку», суждено было превратиться в одного из самых плодотворных президентов США.

Никто из президентов не сталкивался с более сложной задачей. Война завершилась, а ни одна из победивших в ней держав не предприняла никакой попытки реформировать мировой порядок, как было в случае вестфальских договоренностей 1648 года или Венского конгресса 1815 года. Таким образом, первой задачей Трумэна стало придание конкретной формы идее Рузвельта о реалистичном международном институте под названием Организация Объединенных Наций (ООН). В уставе ООН, подписанном в Сан-Франциско в 1945 году, оказались слиты вместе два способа принятия решений на международном уровне. Генеральная Ассамблея должна быть коллективным органом со свободным доступом, а ее деятельность основывается на доктрине равенства государств – «одна страна, один голос». В то же время Организация Объединенных Наций призвана осуществлять политику коллективной безопасности на основе единогласия Совета Безопасности, в который, в качестве постоянных членов, владеющих правом вето, входят пять великих держав: США, Великобритания, Франция, СССР и Китай. (Великобритания, Франция и Китай были включены в число постоянных членов как из уважения к их значительным достижениям, так и в признание той роли, которую они играли в то время.) Вместе с еще девятью странами – переизбираемыми непостоянными членами – Совет Безопасности наделялся особой ответственностью «за поддержание международного мира и безопасности».

Организация Объединенных Наций имела бы возможность добиться поставленной цели, если бы постоянные члены разделяли общую концепцию мирового порядка. В отношении вопросов, где между ними не имелось согласия, всемирная организация, скорее, закрепляла различия, а не смягчала их. Последняя встреча глав союзных государств прошла в Потсдаме в июле – августе 1945 года, и на ней Трумэн, Уинстон Черчилль и Сталин определили границы зон оккупации Германии. (В ходе Потсдамской конференции Черчилля, потерпевшего поражение на выборах, сменил Клемент Эттли, его заместитель в годы войны.) На этой встрече также было решено, что

Берлин перейдет под совместное управление четырех держав-победительниц, с гарантированным доступом в западные зоны оккупации через территорию, занятую Советским Союзом. Как оказалось, это была последняя важная договоренность между союзниками по Второй мировой войне.

Переговоры по реализации договоренностей между западными союзниками и Советским Союзом быстро зашли в тупик. Советский Союз настаивал на формировании новой международной и социально-политической структуры Восточной Европы по принципу, изложенному Сталиным в 1945 году: «Кто оккупирует территорию, тот навязывает ей собственную социальную систему. Каждый навязывает свою собственную систему настолько далеко, насколько может продвинуться его армия. По-другому и быть не может»^[112]. Отказываясь от всякого упоминания о вестфальских принципах в пользу «объективных факторов», Сталин теперь безжалостно, пусть и постепенно, насаждал по всей Восточной Европе марксистско-ленинскую систему.

Первое прямое военное противостояние между прежними союзниками по войне произошло из-за подъездных путей к Берлину — столице поверженного врага. В 1948 году, в ответ на объединение трех оккупационных зон западных союзников, Сталин перекрыл наземное и водное транспортное сообщение с Западным Берлином, снабжение которого до конца блокады обеспечивалось во многом благодаря американскому «воздушному мосту».

Как Сталин анализировал «объективные» факторы, можно проиллюстрировать моим разговором с Андреем Громыко, состоявшимся в 1989 году. На протяжении двадцати восьми лет он был министром иностранных дел СССР, пока пришедший к власти Михаил Горбачев не назначил его на должность президента^[113], хоть и высокую, но во многом являвшуюся церемониальной. Поэтому у него было достаточно времени для обсуждения событий русской истории, свидетелем которых он был, и он мог без опасений высказывать свое мнение. Я спросил, как бы мог, учитывая понесенные за годы войны огромные потери и разрушения, действовать Советский Союз в случае военного ответа Америки на блокаду Берлина. Громыко сказал, что на подобные вопросы подчиненных Сталин дал такой ответ: он сомневался, что Соединенные Штаты применят ядерное оружие в

случае локальной проблемы. Если бы западные союзники предприняли попытку открыть доступ в Берлин с помощью обычных сухопутных сил, то советские войска получили приказ оказать сопротивление, для этого им не требовалось решение Сталина. Если бы американские войска вознамерились атаковать по всему фронту, Сталин оставлял право принятия окончательного решения за собой. Другими словами, Сталин чувствовал себя достаточно сильным для ведения локальной войны, но не рискнул бы ввязаться в глобальную войну с Соединенными Штатами Америки.

Отныне два силовых блока принялись «играть в гляделки» друг с другом, так и не решая проблемы, лежащей в основе кризиса. Европе, освобожденной от нацизма, угрожала опасность оказаться под контролем новой гегемонистской державы. Ставшие независимыми страны Азии, общественно-государственные институты которых были еще неустойчивы и которые испытывали глубокие внутренние и нередко этнические противоречия, возможно, получили бы самоуправление лишь для того, чтобы оказаться лицом к лицу с чуждой Западу доктриной и враждебной идеям плюрализма как во внутренней политике, так и на международной арене.

На этом этапе Трумэн сделал стратегический выбор, ставший фундаментальным для американской истории и для эволюции международного порядка. Он положил конец историческому соблазну «действовать в одиночку», и его действиями Америка была вовлечена в постоянное формирование нового международного порядка. Он выдвинул ряд важнейших инициатив. Греко-турецкая программа помощи 1947 года заменила субсидии, которыми Великобритания поддерживала эти ключевые средиземноморские страны и которые англичане уже не могли себе позволить; в 1948 году был предложен план Маршалла, благодаря которому со временем должна была быть восстановлена экономическая жизнеспособность Европы. В 1949 году Дин Ачесон, госсекретарь в администрации Трумэна, председательствовал на церемонии, посвященной созданию НАТО (Организация Североатлантического договора) – краеугольного камня нового международного порядка под эгидой Америки.

НАТО стало новой отправной точкой в процессе установления европейской безопасности. Международный порядок больше не характеризовался традиционным европейским равновесием, в

конечном виде определяемым изменчивыми коалициями многочисленных государств. Скорее, какой бы баланс ни преобладал, он сводился к тому, какой существовал между двумя ядерными сверхдержавами. Если какая-то из них исчезнет либо откажется от своей роли, то равновесие будет потеряно и оппонент станет доминировать. Первое случилось в 1990 году, с распадом Советского Союза; второе в годы холодной войны было источником постоянных страхов союзников Америки – они боялись, что Соединенные Штаты могут утратить интерес к защите Европы. Нации, объединившиеся в Организации Североатлантического договора, обладали некоторыми вооруженными силами, но их наличие, по сути своей, служило таким «пропуском», позволявшим укрыться под ядерным зонтиком Америки, и не могло стать инструментом местной обороны. Конструкция, выстроенная Америкой в эпоху Трумэна, являлась односторонней гарантией в виде традиционного альянса.

С формированием структуры вновь возникли дебаты о конечной цели американской внешней политики. Являлись ли цели нового союза моральными или стратегическими? Сосуществование или изнеможение противника? Стремилась ли Америка «обратить» противника на «путь истинный» или добивалась его эволюции? Логическим следствием «обращения» должно стать условие, что противник обязан порвать со своим прошлым одним всеобъемлющим действием или жестом. Эволюция же предполагает постепенный процесс – готовность добиваться конечной внешнеполитической цели через промежуточные этапы и иметь дело с противником как с реальностью, пока этот процесс идет своим чередом. Какой курс избрала Америка? Выказывая свою историческую двойственность, Америка выбрала оба.

Стратегии порядка в эпоху холодной войны

Наиболее всеобъемлющий американский стратегический план действий в холодной войне был выдвинут малоизвестным тогда сотрудником дипломатической службы Джорджем Кеннаном, возглавлявшим политический отдел посольства США в Москве. Прежде ни один дипломатический работник не формировал в такой степени полемику в США относительно роли Америки в мире. Пока Вашингтон пребывал в эйфории, оставшейся от военных лет и проистекавшей из веры в добрую волю Сталина, Кеннан предсказывал приближение конфронтации. Соединенным Штатам, как доказывал он в 1945 году в личном письме коллеге, необходимо признать тот факт, что по окончании войны СССР превратится из союзника в противника:

«Основной конфликт возникает, таким образом, в Европе между интересами атлантической морской силы, которые требуют сохранения активной и самостоятельной политической жизни на Европейском полуострове, и интересами ревнивой евразийской сухопутной державы, которая всегда должна стремиться к расширению в западном направлении и для которой никогда не найдется безопасного, с ее точки зрения, рубежа, не считая Атлантического океана, где она может остановиться».

Кеннан предложил недвусмысленно стратегический ответ: «собрать немедленно в наших руках все карты, которые имеются, и начать их разыгрывать по полной». В Восточной Европе, заключал Кеннан, будет доминировать Москва: этот регион находился ближе к русским центрам силы, чем Вашингтон, и, как это ни печально, русские войска добрались туда первыми. Посему Соединенным Штатам следует укреплять свою сферу влияния в Западной Европе, находящейся под защитой Америки, – с линией раздела, проходящей через Германию, – и наделить эту сферу достаточными силами и сплоченностью для поддержания геополитического баланса.

Это пророческое предсказание послевоенных итогов было отвергнуто коллегой Кеннана, Чарльзом «Чипом» Боуленом, исходившим из вильсонского убеждения, что «для демократии внешняя политика подобного рода недопустима. Только тоталитарные

государства могут принимать и проводить подобный политический курс». Вашингтон мог бы принимать баланс сил как факт, однако его не следовало использовать в качестве политики.

В феврале 1946 года в американском посольстве в Москве получили из Вашингтона запрос о том, не означает ли доктринерская речь, с которой выступил Сталин, начало перемен в приверженности Советов к гармоничному международному порядку. Кеннану, на тот момент заместителю главы миссии, выпала возможность, о которой мечтают многие сотрудники дипломатической службы: представить свое мнение непосредственно на самый верхний уровень, не испрашивая одобрения посла^[114]. Кеннан ответил телеграммой из пяти частей общим объемом в девятнадцать машинописных страниц через один интервал. Суть так называемой «длинной телеграммы» сводилась к тому, что вся американская дискуссия о намерениях Советского Союза требует полного переосмысления. Советские лидеры видели отношения между Востоком и Западом как соревнование между противоположными концепциями мирового порядка. Они восприняли «традиционное и инстинктивное для России чувство незащищенности» и перенесли его на революционную доктрину глобального масштаба. Любой аспект международных отношений Кремль станет интерпретировать в свете советской доктрины о ведущейся борьбе за превосходство между «двумя центрами мирового значения», как их назвал Сталин: между капитализмом и коммунизмом, чье глобальное соперничество неизбежно, и победитель в нем может быть только один. Руководители Советского Союза считали, что сражение неминуемо, и, соответственно, двигались в этом направлении.

В следующем году позиция Кеннана, ставшего начальником отдела Государственного департамента США по внешнеполитическому планированию, стала известна общественности благодаря статье, опубликованной в журнале «Форин афферс» за подписью некоего «Икс». На первый взгляд статья приходит к тому же выводу, что и «длинная телеграмма»: давление Советов на Запад – реально и неизбежно, но его можно «сдерживать лишь с помощью искусного и бдительного противодействия в различных географических и политических точках, постоянно меняющихся»^[115].

С подобным анализом наверняка без труда согласился бы Теодор Рузвельт. Но, описывая свое представление о том, как мог бы закончиться конфликт, Кеннан возвращался на вильсонскую территорию. На определенном этапе напрасной конфронтации Москвы с внешним миром, предсказывал он, советские руководители почувствуют необходимость заручиться поддержкой не одного лишь партийного аппарата, но более широких масс, которые политически незрелы и неопытны, так как обществу не позволено развивать в себе независимое политическое чувство. Но если «единство и эффективность партии как политического инструмента» когда-либо будут нарушены, то «Советская Россия может мгновенно превратиться из одной из сильнейших в одну из самых слабых и жалких стран мира». Это предсказание – по сути верное – было вильсонским по духу, основанным на убеждении, что в конце концов восторжествуют демократические принципы, что легитимность превзойдет власть и силу.

Именно этого убеждения придерживался Дин Ачесон, многоопытный государственный секретарь США, бывший образчиком для многих своих преемников (в том числе и для меня). С 1949 по 1953 год он посредством НАТО сосредоточенно выстраивал то, что называл «ситуациями силы»; дипломатия «Восток – Запад» должна более или менее автоматически отражать баланс сил. Преемник Ачесона в администрации Эйзенхауэра, Джон Фостер Даллес, расширил систему альянсов через СЕАТО – на Юго-Восточную Азию (1954) и через Багдадский пакт – на Ближний Восток (1955). В сущности, политика сдерживания свелась к сколачиванию военных союзов по всей советской периферии на двух континентах. Мировой порядок заключался в противостоянии двух несравнимых сверхдержав – каждая из которых организовывала международный порядок в пределах своей сферы влияния.

Оба госсекретаря рассматривали власть и дипломатию как последовательные этапы: сначала Америка должна консолидировать союзников и показать свою силу; тогда Советский Союз вынужден будет отказаться от претензий и прийти к разумному компромиссу с некоммунистическим миром. Однако, если дипломатии необходимо опираться на военную силу, зачем нужно исключать ее на стадии формирования атлантических взаимоотношений? И как о силе

свободного мира следовало известить другую сторону? Тем более что в действительности ядерная монополия Америки в сочетании с разрушительными для Советского Союза последствиями войны гарантировала, что уже в начале холодной войны фактический баланс сил однозначно склонялся в пользу Запада. Ситуацию силы не нужно было выстраивать; она и так существовала.

Уинстон Черчилль признал сложившееся положение в своей речи, произнесенной в октябре 1948 года, когда утверждал, что позиция Запада на переговорах никогда не будет прочнее, чем была в то время. Переговоры следовало форсировать, а не приостанавливать:

«Возникает вопрос: что будет, если Советы получат атомную бомбу, да еще и не одну? Глядя на происходящее сейчас, вы сами можете судить о том, к чему это приведет. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?..^[116] Всякий здравомыслящий человек понимает, что у нас не так много времени. Мы должны поставить вопрос ребром, чтобы решить его раз и навсегда... Вероятность того, что западным странам удастся достигнуть долгосрочного урегулирования ситуации без кровопролития, будет намного выше, если они четко сформулируют свои обоснованные требования сейчас, когда у них уже есть ядерное оружие, а у русских коммунистов его еще нет...»^[117]

Несомненно, Трумэн и Ачесон считали, что риск слишком велик, и противились всесторонним переговорам из опасения, что они могут подорвать сплоченность союзников. Прежде всего Черчилль, когда призывал дать решительный бой – по крайней мере, дипломатический, – был лидером оппозиции, а не премьер-министром, а занимавший этот пост Клемент Эттли и его министр иностранных дел Эрнест Бевин выступали против планов, подразумевающих угрозу войны.

В этой ситуации США взяли на себя руководство глобальными усилиями по сдерживанию советского экспансионизма – но исходя главным образом из моральных соображений, а не из геополитических. Обоснованные интересы существовали в обеих сферах, но за тем, как их описывали, обычно скрывались попытки определить стратегические приоритеты. Даже секретная директива СНБ-68, в

которой систематизированно излагалась политика администрации Трумэна в области национальной безопасности и которая в значительной мере была составлена сторонником жесткой линии Полом Нитце, избегала упоминаний о национальных интересах и конфликт рассматривала в рамках традиционных моральных, почти поэтических категорий. Борьба шла между силами «свободы, в основе которой лежит законность» (которая имела своим результатом «разносторонность, глубокую терпимость и законопослушность свободного общества... где каждый человек имеет возможность реализовать свои способности») и силами «рабства под мрачной деспотией Кремля». Для Америки, руководствующейся собственной системой принципов, холодная война, в которую она вступила, представляла собой вовсе не геополитическое соперничество относительно пределов власти русских; для Америки это был моральный крестовый поход во имя свободного мира.

В подобном начинании американская политика преподносилась как бескорыстное стремление отстаивать общие интересы человечества. Джон Фостер Даллес, практичный и проницательный политик в кризисные моменты и несговорчивый представитель американской силы тем не менее характеризовал американскую внешнюю политику как своего рода распространяющиеся на весь мир добровольные усилия, определяемые принципами, которые коренным образом отличаются от подхода любого другого государства в истории. Он отмечал, что, хотя «многим трудно понять», но для Соединенных Штатов «на самом-то деле... мотивом служат иные соображения, чем краткосрочная целесообразность». С этой точки зрения, воздействие Америки не восстанавливает геополитический баланс, но выходит за его пределы: «На протяжении многих веков для стран было привычно действовать лишь ради продвижения собственных насущных интересов, ради причинения ущерба своим соперникам, поэтому не так-то легко согласиться, что может наступить новая эпоха, когда нации будут руководствоваться принципом».

Невысказанная посылка, что другие страны имеют «свокорыстные интересы», а у Америки есть «принципы» и «предопределение», стара, как сама республика. Новым было то, что геополитическое соперничество, в котором Соединенные Штаты выступали как лидер, а не как сторонний наблюдатель, оправдывалось в первую очередь с

позиции моральных ценностей, а следование американским национальным интересам всячески отрицалось. Такое обращение к всеобщей ответственности подкрепляло твердую приверженность Америки к восстановлению разрушенного послевоенного мира и удерживанию «линии фронта» против советской экспансии. Однако когда пришло время «горячей войны» – открытого вооруженного столкновения – на периферии коммунистического мира, подобный ориентир оказался не столь уж надежным.

Война в Корее

Война в Корее окончилась безрезультатно. Но порожденная ею полемика предрекала вопросы, которые станут мучить страну десять лет спустя.

В 1945 году Корею, до того бывшую японской колонией, освободили победоносные союзники. Северную половину Корейского полуострова оккупировал Советский Союз, южную – Соединенные Штаты Америки. Перед тем как вывести войска – соответственно в 1948 и 1949 годах, – СССР и США установили в своих зонах собственные формы правления. В июне 1950 года северокорейская армия вторглась в Южную Корею. Администрация Трумэна рассматривала происшедшее как классический случай советско-китайской агрессии, аналогами которой до Второй мировой войны были действия Германии и Японии. Хотя в предыдущие годы вооруженные силы США были значительно сокращены, Трумэн пошел на смелый шаг, решив противостоять нападению, в основном теми американскими войсками, которые были размещены в Японии.

Современные исследования демонстрируют, что коммунистической стороной двигали смешанные мотивы. Когда северокорейский лидер Ким Ир Сен перед вторжением, предпринятым в апреле 1950 года, обратился за одобрением к Сталину, советский диктатор его поддержал. После отступничества Тито, случившегося два года назад, Сталин осознал, что коммунистические лидеры первого поколения с большим трудом вписываются в советскую систему стран-сателлитов, которую он считал безусловно необходимой для национальных интересов СССР. Начиная с визита Мао Цзэдуна в Москву в конце 1949 года – менее чем через три месяца после провозглашения Китайской Народной Республики, – Сталин испытывал тревогу в отношении нарастающего потенциала Китая, возглавляемого человеком с таким властолюбивым характером, как у Мао. Вторжение в Южную Корею способно было отвлечь Китай (ведь кризис возникал возле его границ), переключить внимание Америки с Европы на Азию и в любом случае – вынудить Америку потратить какую-то часть своих ресурсов. Если при советском содействии планы Пхеньяна по воссоединению страны осуществляются, тогда Советскому Союзу,

вероятно, будет обеспечено доминирующее положение в Корее и, учитывая имеющую исторические корни взаимную подозрительность этих двух стран, в Азии сформируется противовес Китаю. Мао следовал примеру Сталина – о поддержке которого ему, почти наверняка в преувеличенных выражениях, поведал Ким Ир Сен, – но по совершенно противоположной причине: китайский лидер боялся оказаться окруженным Советским Союзом, чьи эгоистичные интересы в отношении Кореи не составляли секрета уже несколько веков и стали еще более очевидны после требований Сталина об идеологическом подчинении, которое тот выдвинул в качестве платы за китайско-советский союз.

Как-то один выдающийся китаец сказал мне, что, дав Сталину втянуть себя в развязывание войны в Корее, Мао допустил тем самым единственную стратегическую ошибку за всю свою политическую карьеру, потому что в конечном счете корейская война задержала объединение Китая на столетие, благо успело оформиться тесное сотрудничество Америки с Тайванем. Как бы то ни было, своим началом война в Корее куда менее была обязана китайско-советскому заговору против Америки, чем трехстороннему маневрированию в поисках доминирующей позиции в системе коммунистического международного порядка, причем Ким Ир Сен постоянно увеличивал ставки, дабы заручиться поддержкой завоевательных планов, глобальные последствия которых в итоге удивили всех основных участников.

Непростые стратегические расчеты лидеров коммунистического мира не соответствовали соображениям американской стороны. В сущности, Соединенные Штаты боролись за принцип, отражая агрессию, и способом, которым они реализовывали свою цель, стала Организация Объединенных Наций. Америка смогла получить одобрение ООН, потому что советский представитель, в знак протеста против исключения коммунистического Китая из ООН, бойкотировал заседание Совета Безопасности и отсутствовал при решающем голосовании. Куда меньше ясности было в значении выражения «отражение агрессии». Означало ли оно безоговорочную победу? А если нечто меньшее, то что именно? Короче говоря, как предполагалось положить конец войне?

Так случилось, что жизнь опередила теорию. В результате неожиданной высадки генерала Дугласа Макартура в Инчхоне в 1950 году северокорейская армия очутилась в ловушке на юге и потерпела крупное поражение. Должна ли победоносная армия, перейдя бывшую линию раздела вдоль 38-й параллели, вступить в Северную Корею и добиться объединения?^[118] Если бы она так сделала, то вышла бы за границы буквального толкования принципов коллективной безопасности, потому что юридическая цель отражения агрессии была достигнута. Однако каков бы оказался урок с геополитической точки зрения? Если агрессору не придется опасаться иных последствий, за исключением возвращения к *status quo ante*^[119], разве не представляется вероятным повторение событий подобного рода где-нибудь еще?

Сразу были выдвинуты несколько альтернатив: например, продолжить наступление на узком перешейке полуострова до линии, соединяющей города Пхеньян и Вонсан, – до рубежа, отстоящего примерно на 150 миль от китайской границы. Это уничтожило бы большую часть военных возможностей Севера, а девять десятых северокорейского населения оказалось бы в объединенной Корее, но до китайской границы было бы еще достаточно далеко.

Теперь известно, что задолго до того, как американские штабисты подняли вопрос, где следует остановить продвижение войск, Китай уже готовился к возможной интервенции. Еще в июле 1950 года Китай сосредоточил 250 тысяч солдат на границе с Кореей. К августу китайские стратеги в своих планах исходили из предположения, что продолжающееся на тот момент наступление северокорейского союзника потерпит неудачу, как только американские войска, качественно превосходящие армию Северной Кореи, будут полностью развернуты на театре военных действий (в действительности они точно предсказали внезапную десантную операцию Макартура в Инчхоне). 4 августа – в то время, когда линия фронта проходила далеко на юге Корейского полуострова, по так называемому Пусанскому периметру, – Мао заявил на заседании Политбюро: «Если американские империалисты победят, у них голова закружится от успехов, а потом они окажутся в состоянии угрожать нам. Мы должны помочь Корее; мы должны прийти им на выручку. Помощь можно оказать частями добровольцев, и мы сами выберем время, когда их

послать, но нужно начинать готовиться». Тем не менее он сказал Чжоу Эньлаю, что, если Соединенные Штаты останутся на линии Пхеньян – Вонсан, китайским войскам не нужно сразу же атаковать; следует выждать и проводить интенсивное обучение. То, что могло бы произойти во время или после приостановки наступления американцев, остается предметом умозрительных рассуждений.

Ибо на достигнутом американские войска не остановились; Вашингтон одобрил пересечение Макартуром 38-й параллели и не стал устанавливать для его наступления никаких рубежей – за исключением китайской границы.

Для Мао продвижение американцев к границе Китая означало, что на кону не только корейская ставка. Еще в самом начале войны в Корее Трумэн отправил Седьмой флот в Тайваньский пролив, который разделял двух участников китайской гражданской войны, обосновав свои действия тем, что защита обеих враждующих сторон друг от друга продемонстрирует искреннее стремление Америки к установлению мира в Азии. Это случилось менее чем через девять месяцев после провозглашения Китайской Народной Республики. Если итоговым результатом войны в Корее станет присутствие многочисленного контингента американских войск на китайской границе, а американский флот окажется размещенным между Тайванем и материковым Китаем, то поддержка северокорейского вторжения в Южную Корею обернется стратегической катастрофой.

При столкновении между двумя различными концепциями мирового порядка Америка, исходя из вестфальских и международно-правовых принципов, стремилась сохранить статус-кво. Ничто так не противоречило пониманию Мао своей революционной задачи, как поддержание статус-кво. Китайская история свидетельствовала о том, что Корею неоднократно использовали как плацдарм для организации вторжения в Китай, и Мао этого не забывал. Его собственный революционный опыт основывался на предположении, что гражданские войны заканчиваются либо победой, либо поражением, но никак не патом. И Мао убедил себя, что когда Америка обоснуется на берегу реки Ялуцзян, отделяющей Китай от Кореи, то следующим шагом станет завершение окружения Китая, для чего американские войска будут развернуты во Вьетнаме. (Это было за четыре года до того, как США действительно оказались вовлечены в дела Индокитая.)

Этот анализ был озвучен Чжоу Эньлаем, когда он указал на ту огромную роль, которую играет Корея в китайском стратегическом мышлении, заявив 26 августа 1950 года на заседании Центрального военного совета, что Корея является «на самом деле фокусом ведущейся в мире борьбы... После завоевания Кореи Соединенные Штаты Америки непременно обратят свое внимание на Вьетнам и другие колониальные страны. Поэтому корейская проблема является по меньшей мере ключом к Востоку».

Соображения подобного рода убедили Мао применить ту же стратегию, какую использовали правители Китая в 1593 году против вторгшихся японских войск, которыми руководил Тоетоми Хидэеси. Вести войну со сверхдержавой было делом крайне непростым и внушающим немалые опасения; по меньшей мере два китайских фельдмаршала отказались командовать частями, которым суждено было выступить против американских войск. Но Мао был настойчив, и неожиданное наступление китайцев отбросило американские войска от реки Ялуцзян.

Однако теперь, после вмешательства Китая, какой стала цель войны и какой стратегической линии нужно было придерживаться ради ее достижения? Эти вопросы породили оживленные споры в Америке, что предвещало гораздо более острые противоречия, вскрывшиеся в последующие десятилетия в случаях войн с участием США. (Отличие состояло в том, что, в противоположность противникам войны во Вьетнаме, критики войны в Корее обвиняли администрацию Трумэна в недостаточном использовании силы; им нужна была победа, а не вывод войск.)

Достоянием общественности стали разногласия между командующим американскими войсками в Корее и администрацией Трумэна, которую поддерживал Объединенный комитет начальников штабов. Макартур упрямо держался традиционной точки зрения, утверждая, что по своей сути идущая война ничем не отличается от прочих боевых действий с участием США: целью войны является победа, и достигнута она должна быть с применением всех необходимых средств, включая авиационные удары по самому Китаю; патовая ситуация означает стратегический провал; коммунистической агрессии нужно дать отпор там, где она имеет место, а именно в Азии; американский военный потенциал требуется использовать во всем

необходимом объеме, а не беречь для гипотетического «непредвиденного случая» в географически отдаленных регионах, например, в Западной Европе.

Администрация Трумэна ответила двояко. Демонстрируя гражданский контроль над американскими военными, президент Трумэн 11 апреля 1951 года освободил Макартура от должности командующего за высказывания, противоречащие политике администрации. По существу, Трумэн сделал акцент на концепции «сдерживания»: главную угрозу представляет Советский Союз, чьей стратегической целью является доминирование в Европе. Поэтому военное завершение боевых действий в Корее, а тем более распространение их на территорию Китая было бы, по словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Омара Брэдли, боевого командира в войне с Германией, «не той войной, не в том месте, не в то время и не с тем врагом».

Через несколько месяцев, в июне 1951 года, линия фронта стабилизировалась примерно вдоль 38-й параллели, где эта война и началась, – так же, как все случилось и полутысячелетием ранее. В этот момент китайцы предложили провести переговоры, США приняли предложение. Через два года было достигнуто соглашение, действие которого, на время написания этой книги, длится уже более шестидесяти лет, хотя и случались недолгие периоды напряженности.

На переговорах, как и в том, что касалось истоков войны, друг другу противостояли два различных стратегических подхода. Администрация Трумэна исходила из американского представления о взаимосвязи власти и легитимности. В соответствии с ним война и мир являются отдельными фазами политики; когда начинаются переговоры, применение силы прекращается и вступает в действие дипломатия. В каждом виде деятельности принято действовать согласно правилам. Сила необходима, чтобы стороны сели за стол переговоров, а затем прибегать к ней незачем; результат переговоров будет зависеть от атмосферы доброй воли, которую военное давление разрушит. Поэтому американские войска получили приказ на время переговоров ограничиться в основном оборонительными действиями и не предпринимать крупномасштабные наступательные операции.

Китайское отношение к переговорам было прямо противоположным. Война и мир являются двумя сторонами одной

медали. Переговоры – это продолжение сражения. Как писал в своем трактате «Искусство войны» древнекитайский стратег Сунь-цзы, важнейшим противоборством будет психологическое – необходимо влиять на планы противника и подрывать его уверенность в успехе. Свертывание противником боевых действий – не что иное, как признак слабости, которую нельзя упускать, и следует наращивать собственное военное преимущество. Коммунистическая сторона воспользовалась сложившейся тупиковой ситуацией, чтобы усилить обеспокоенность американской общественности безрезультатной войной. Фактически во время переговоров Америка несла такие же потери, как и в ходе наступательной фазы войны.

В конце концов каждая сторона достигла своей цели: Америка оставила в силе доктрину сдерживания и сохранила территориальную целостность союзника, который с тех пор превратился в одну из ведущих стран Азии; Китай доказал решимость защищать подступы к своим границам и продемонстрировал пренебрежение к международным правилам, в разработке которых он не принимал никакого участия. Результатом была ничья. Однако она обнажила потенциальную уязвимость возможности Америки увязывать стратегию с дипломатией, власть – с легитимностью и определять важнейшие цели. Корея в конечном счете «провела черту». Это была первая война, когда Америка явным образом отказалась от победы как цели, и в этом было предвестие того, что случится в будущем.

Как выяснилось, больше всех проиграл Советский Союз. Он поддержал первоначальное решение о вторжении, и ему пришлось испытать последствия такого шага, в значительной мере снабжая и обеспечивая своих союзников. Однако он утратил их доверие. Именно в корейскую войну были посеяны семена китайско-советского раскола, потому что Советы настаивали на оплате оказанной материально-технической помощи и отказались предоставить поддержку войсками. Война также спровоцировала быстрое и масштабное перевооружение США, которое моментально восстановило неопределенность в Западной Европе, сформировав ситуацию силы, это неременное условие американской доктрины сдерживания.

Каждая сторона потерпела неудачу. Ряд китайских историков полагает, что страна лишилась возможности воссоединить Тайвань с континентальным Китаем, вместо этого поддержав ненадежного

союзника; Соединенные Штаты Америки утратили и ореол непобедимости, который воссиял над ними после Второй мировой войны, и – до некоторой степени – чувство направления. Другие революционеры усвоили урок, что если втянуть Америку в безрезультатную войну, то есть шансы подрвать готовность американской общественности ее поддерживать. В том, что касалось стратегии и международного порядка, в общественном сознании Америки возникла «брешь», которая стала очевидной в джунглях Вьетнама.

Вьетнам и кризис национального согласия

Даже среди неприятностей войны в Корее сочетание вильсонских принципов и рузвельтовской геостратегии дало удивительный импульс, действовавший первые полтора десятилетия политики холодной войны. Несмотря на начавшиеся внутривнутриполитические дискуссии, Америка организовала Берлинский «воздушный мост» 1948–1949 годов, сорвав советский ультиматум по Западному Берлину, прошла через войну в Корее, отразила попытку Советов в 1962 году разместить ядерные баллистические ракеты средней дальности на Кубе. Затем последовало заключение в 1963 году договора с Советским Союзом об отказе от ядерных испытаний в атмосфере: соглашение стало символом того, что сверхдержавам необходимо обсудить и ограничить свои возможности по уничтожению человечества. В конгрессе касательно политики сдерживания в основном существовало единодушие – ее поддерживали обе партии. Взаимоотношения между политиками и интеллектуальными сообществами были профессиональными и, как считалось, основывались на общих долгосрочных целях.

Однако национальный консенсус начал разрушаться – по времени, очень приблизительно, это совпало с убийством Джона Ф. Кеннеди. Одной из причин раскола стало потрясение, постигшее нацию после убийства молодого президента, который призывал Америку воплотить в жизнь ее идеалистические традиции. Хотя преступление совершил коммунист Освальд, какое-то время проживший в Советском Союзе, многих представителей молодого поколения тяжелая потеря заставила задаться вопросами о моральной обоснованности американского пути.

Холодная война началась с призыва поддержать демократию и свободу во всем мире, повторенного Кеннеди с еще большей страстностью в инаугурационной речи. Тем не менее с течением времени военные доктрины, питавшие стратегию сдерживания, начали оказывать губительное воздействие на восприятие общественности. Разрыв между разрушительной способностью оружия и целями, для достижения которых оно может быть использовано, оказался непреодолимым. Все теории ограниченного применения военных атомных технологий продемонстрировали свою неосуществимость.

Принятая к реализации стратегия основывалась на способности нанести такой ущерб, что жертвы среди гражданского населения будут считаться недопустимыми, но при этом потери с обеих сторон в считанные дни непременно составят десятки миллионов человек. Подобные расчеты накладывали отпечаток на уверенность национальных лидеров в себе и подрывали доверие к ним со стороны общественности.

Кроме того, перенесенную на окраины Азии политику сдерживания требовалось проводить в условиях, полностью противоположных тем, которые сложились в Европе. Плану Маршалла и созданию НАТО сопутствовал успех, поскольку в Европе сохранилась, пусть и была временно прервана, политическая традиция управления. Восстановление экономики могло бы возродить политическую жизнеспособность. Однако в большинстве слаборазвитых стран политические структуры были хрупкими или же недавно возникшими, и экономическая помощь приводила к развитию коррупции не реже, чем содействовала стабильности.

Подобные дилеммы встали во время войны во Вьетнаме. Для борьбы с партизанами Южного Вьетнама Трумэн в 1951 году отправил туда гражданских советников; в 1954 году Эйзенхауэр добавил к ним военных советников; в 1962 году Кеннеди санкционировал отправку регулярных боевых подразделений США в качестве вспомогательных частей; в 1965 году Джонсон развернул экспедиционные силы, численность которых в итоге возросла более чем до полумиллиона человек. Администрация Кеннеди была на грани участия в войне, а для администрации Джонсона ведение войны уже стояло на повестке дня, поскольку администрация была убеждена, что нападение северовьетнамцев на Южный Вьетнам является началом китайско-советского наступления, ставящего целью всемирное господство, а значит, ему надо дать отпор с помощью американских войск, иначе вся Юго-Восточная Азия окажется под властью коммунистов.

При защите Азии Америка собиралась действовать так же, как в Западной Европе. В соответствии с «теорией домино» президента Эйзенхауэра, потеря одной страны и ее переход под контроль коммунистов вызовут последовательное падение других стран, и эта теория использовала доктрину сдерживания для препятствования агрессору (по образцу НАТО) и программу экономического и

политического восстановления (как в случае с планом Маршалла). В то же время, чтобы избежать «расширения войны», Соединенные Штаты воздерживались от ударов по религиозным святыням на территории Камбоджи и Лаоса, откуда войска Ханоя предпринимали нападения, оставлявшие после себя тысячи жертв, и куда они отступали, уклоняясь от преследования.

Ни одна из администраций не удосужилась предложить план завершения войны, предусматривавший нечто иное, чем сохранение независимости Южного Вьетнама, уничтожение сил, вооруженных и развернутых Ханоем с целью свергнуть южновьетнамский режим, и массированные бомбардировки Северного Вьетнама, направленные на то, чтобы заставить Ханой пересмотреть свою завоевательную политику и сесть за стол переговоров. Подобная программа не считалась чем-то необычным или противоречивым до середины второго президентского срока Джонсона. А потом волна протестов и критических выступлений в средствах массовой информации, – достигшая кульминации после Тетского наступления 1968 года, в общепринятых военных терминах обернувшегося для Северного Вьетнама сокрушительным поражением, но преподанного западной прессой как ошеломляющая победа и свидетельство провала Америки, – задела некую чувствительную струнку в душе у представителей администрации.

Ли Куан Ю, основатель государства Сингапур и, вероятно, наиболее мудрый азиатский лидер своего времени, открыто высказывал твердую убежденность – и он нисколько не изменил свою позицию на момент написания этой книги, – что американское вмешательство было необходимо, чтобы сохранить возможность существования независимой Юго-Восточной Азии. Анализ последствий для региона в случае победы коммунистов во Вьетнаме во многом был верным. Но ко времени полномасштабного участия США во вьетнамской войне китайско-советского единства уже не существовало, отношения между этими странами испытывали заметный кризис на всем протяжении 1960-х годов. Китай, опустошенный «большим скачком» и «культурной революцией», все больше и больше смотрел на Советский Союз как на опасного и угрожающего ему противника.

Используемые в Европе принципы сдерживания оказались гораздо менее применимыми в Азии. Нестабильность в Европе возникла тогда, когда вызванный войной экономический кризис угрожал подорвать традиционные внутривнутриполитические институты. В Юго-Восточной Азии, после столетия колонизации, подобные учреждения еще нужно было создавать – особенно это касалось Южного Вьетнама, который исторически никогда не существовал как государство.

Америка попыталась заполнить пробел, начав, одновременно с военными усилиями, кампанию гражданского строительства. Ведя войну против полчищ Северного Вьетнама традиционными средствами и сражаясь в джунглях против партизан Вьетконга, Америка с энтузиазмом взялась за политическое строительство в регионе, который многие столетия не знал самоуправления и никогда – демократии^[120].

После целого ряда государственных переворотов (первый из которых, осуществленный в ноябре 1963 года, фактически получил одобрение в американском посольстве и с которым молча согласились в Белом доме – в надежде, что военное правление окажется более эффективным, чем либеральные институты), генерал Нгуен Ван Тхиеу стал президентом Южного Вьетнама. В начале холодной войны некоммунистическая ориентация правительства воспринималась – возможно, в излишне широком смысле, – как доказательство того, что его стоит сохранять для противодействия советским замыслам. Теперь, в формирующейся атмосфере взаимных обвинений, неспособность Южного Вьетнама выступить в качестве полноценной и работоспособной демократии (в разгар кровавой гражданской войны) привела к резкому осуждению. Война, которую на первых порах поддерживало значительное большинство и которая свои масштабы приобрела благодаря усилиям президента, ссылавшегося на универсальные принципы свободы и прав человека, теперь осуждалась как свидетельство исключительной американской моральной глупости. Не было недостатка в обвинениях в безнравственности и обмане; излюбленным прилагательным стало слово «варварский». Участие американских войск характеризовалось как некая форма «безумия», вскрывающая глубочайшие недостатки в американском образе жизни; обычным делом сделались обвинения в беспричинных убийствах мирных жителей.

Ожесточенная полемика, связанная с войной во Вьетнаме, оставила в американской истории один из самых глубоких и болезненных рубцов. В администрации, которая вовлекла Америку в Индокитай, работали люди порядочные и незаурядного ума, но вдруг обнаружившие, что их обвиняют едва ли не в преступной глупости и в сознательном обмане. То, что начиналось как разумная дискуссия об осуществимости планов и о стратегии, превратилось в уличные демонстрации, обличительные выступления и насилие.

Критики были правы, указывая на то, что американская стратегия, в частности, на первых этапах войны, плохо соответствовала реалиям асимметричного конфликта. Бомбардировки, сменяющиеся «паузами» для того, чтобы проверить готовность Ханоя идти на переговоры, как правило, приводили к тупику – Америка применяла достаточно силы, чтобы вызвать осуждение и сопротивление, но недостаточно, чтобы добиться у противника желания серьезных переговоров. Дилеммы, порожденные Вьетнамом, во многом являлись следствием академических теорий о постепенной эскалации, которая поддерживала холодную войну; будучи концептуально последовательными с точки зрения противостояния между ядерными сверхдержавами, подобные теории куда меньше годились для асимметричного конфликта, когда противник проводит стратегию партизанской войны. Определенные надежды на взаимосвязь экономических реформ с политической эволюцией оказались в Азии нереализуемыми. Но эти вопросы могли быть предметом серьезной дискуссии, а вовсе не причиной для поношений и тем более для нападений на университетские и правительственные здания – как случилось при наиболее экстремистских проявлениях протестного движения.

Крах высоких устремлений разрушил уверенность, без которой истеблишмент не мог найти для себя опоры. Лидеров, которые прежде поддерживали американскую внешнюю политику, особенно задевали яростные протесты студентов. Ненадежность представителей старшего поколения превратила недовольство, обычное для переживающей взросление молодежи, в институционализированный гнев и национальную травму. Демонстрации достигли такого размаха, что последний год своего пребывания на посту президент Джонсон – который продолжал описывать войну в традиционных терминах

защиты свободных людей от наступающего тоталитаризма – вынужден был ограничить появления на публике и выступать главным образом на военных базах.

В течение нескольких месяцев после завершения в 1969 году президентских полномочий Джонсона целый ряд ключевых архитекторов войны публично отказался от своих позиций и призвал положить конец военным операциям и начать вывод американских войск. Эти темы получили разработку, пока истеблишмент не остановился на программе «завершить войну», предполагавшую односторонний вывод американских войск в обмен всего лишь на возвращение пленных.

Ричард Никсон стал президентом, когда в боевых действиях во Вьетнаме – на противоположном конце земного шара – участвовало 500 тысяч американских солдат, и это число только росло, согласно расписанию, утвержденному предыдущей администрацией президента Джонсона. С самого начала предвыборной кампании Никсон обещал прекратить войну. Но он также считал своей обязанностью закончить ее в контексте глобальных обязательств Америки по поддержанию послевоенного мирового порядка. Никсон вступил в должность спустя пять месяцев после ввода советских войск в Чехословакию, в то время, когда Советский Союз изготавливал межконтинентальные ракеты темпами, угрожавшими американским силам сдерживания, – кое-кто даже рассуждал о возможности советского ракетного превосходства. Китай же оставался по-прежнему непоколебимо и вызывающе враждебным. Америка не могла отказаться от своих обязательств по обеспечению безопасности в одной части мира с тем, чтобы не породить из-за этого трудностей с решением подобных проблем в других его частях. Неотъемлемой частью замысла Никсона оставалось сохранение доверия к Америке как к надежному защитнику союзников и глобальной системы порядка – к той самой роли, каковую Соединенные Штаты играли в течение двух десятилетий.

Вывод американских войск Никсон осуществлял по 150 тысяч человек в год и в 1971 году завершил участие США в наземных боевых действиях. Он санкционировал переговоры, поставив одно неперемное условие: он никогда не примет требования о том, чтобы мирный процесс начался с замены правительства Южного Вьетнама – союзника Америки – так называемым коалиционным правительством,

которое в действительности составлено из фигур, выдвинутых Ханоем. Эту позицию Америки категорически отвергали на протяжении четырех лет, пока наконец в 1972 году неудачное северовьетнамское наступление (отбитое без помощи сухопутных войск США) не заставило Ханой согласиться на прекращение огня и на политическое урегулирование, от которого тот решительно отказывался несколько лет.

В Соединенных Штатах главной темой дискуссии было широко распространенное желание покончить с травмой, причиненной войной населению Индокитая, словно бы Америка была причиной его страданий. Тем не менее Ханой настаивал на продолжении боевых действий – не потому, что сомневался в стремлении Америки к миру, а потому, что рассчитывал измотать Америку, подорвать готовность американцев нести потери. Ведя психологическую войну, Северный Вьетнам безжалостно эксплуатировал в собственных интересах поиски Америкой компромисса и стремился к доминированию, и в этом, как выяснилось, никаких разногласий в Ханое не было.

Военные операции, провести которые приказал президент Никсон и которые я, будучи при нем советником по национальной безопасности, поддерживал, вкупе с политикой дипломатической гибкости, привели к урегулированию в 1973 году. Администрация Никсона была убеждена, что Сайгон собственными силами справится с рядовыми нарушениями соглашения; что Соединенные Штаты окажут помощь военно-воздушными и военно-морскими силами в случае, если северовьетнамцы предпримут нападение с привлечением всех ресурсов; и что со временем правительство Южного Вьетнама сумеет, с американской экономической помощью, построить функционирующее общество и эволюционировать в сторону более прозрачных властных институтов (как происходило в Южной Корее).

Предметом жарких споров останутся вопросы: можно ли было ускорить этот процесс и возможно ли было дать другое определение надежности Америки в качестве союзника? Главным препятствием стали трудности, которые испытывала американская сторона в понимании того, как думали и как принимали решения в Ханое. Администрация Джонсона переоценивала влияние американской военной мощи. Вопреки общепринятому мнению, администрация Никсона переоценила возможности переговоров. Для закаленных

боями вьетнамских руководителей в Ханое, которые всю свою жизнь сражались за победу, компромисс ничем не отличался от поражения, а плюралистическое общество было практически немыслимым.

Анализ упомянутой дискуссии выходит за рамки этой книги; для всех участников она оказалась весьма болезненным процессом. Никсону удалось добиться полного вывода войск и урегулирования, которое, по его убеждению, давало Южному Вьетнаму достойную возможность определить собственную судьбу. Но через десять лет споров и в весьма напряженной после Уотергейтского скандала обстановке конгресс в 1973 году серьезно ограничил предоставление помощи южновьетнамцам и полностью отказал в ней в 1975 году. Северный Вьетнам завоевал Южный Вьетнам, отправив через общепризнанную границу почти всю свою армию. Международное сообщество молчало, и конгресс наложил запрет на американскую военную интервенцию. Вскоре после коммунистических мятежей пали правительства Лаоса и Камбоджи, причем в Камбодже «красные кхмеры» предали почти невообразимой жестокости.

Америка проиграла свою первую войну, а заодно потеряла и путеводную нить своей концепции мирового порядка.

Ричард Никсон и международный порядок

После кровавых 1960-х годов, с их громкими убийствами, гражданскими беспорядками и безрезультатными войнами, в 1969 году в наследство Ричарду Никсону досталась задача восстановить как единство американского политического целого, так и последовательность и обоснованность внешней политики США. Очень сообразительный, но отличавшийся ненадежностью, с какой не ожидаешь обнаружить в столь опытном публичном политике, Никсон не был идеальным лидером для решения задач по восстановлению внутривнутриполитического мира. Но нужно также не забывать, что тактика массовых демонстраций, приемы запугивания и гражданское неповиновение как крайнее проявление мирных протестов были хорошо известны в то время, когда 20 января 1969 года Никсон принес президентскую присягу.

Тем не менее для реализации задачи по переопределению содержания американской внешней политики Никсон был удивительно хорошо подготовлен. Как сенатор от штата Калифорния и вице-президент при Дуайте Д. Эйзенхауэре, а также как «вечный» кандидат в президенты, он много путешествовал. Иностранные лидеры, с которыми судьба сводила Никсона, при встречах с ним воздерживались от личной конфронтации и вовлекали в содержательный диалог, где он показывал себя с лучшей стороны. Поскольку природа наделила Никсона тягой к одиночеству, у него оказалось куда больше свободного времени, чем у обычных претендентов на политическое поприще, и он обнаружил, что ему по характеру очень подходит чтение. Читал он много, и подобное сочетание качеств превратило его в наиболее подкованного в вопросах внешней политики президента, вступающего в должность со времен Теодора Рузвельта.

После Теодора Рузвельта ни один из президентов не обращался к проблеме международного порядка как к глобальной концепции и на такой систематической и концептуальной основе. В беседе с редакторами «Таймс» в 1971 году Никсон сформулировал следующую идею. По его мнению, в мире будут действовать пять основных центров политической и экономической силы, на основе

неофициальных обязательств каждой из сторон преследовать свои интересы с определенной сдержанностью. Результатом их взаимосвязанных устремлений и сдерживания будет равновесие:

«Мы должны помнить, что единственным условием продолжительных исторических периодов мира было равновесие сил. Ведь именно тогда, когда одна из наций становится значительно сильнее своего потенциального соперника, возникает опасность войны. Поэтому я полагаюсь на мир, где Соединенные Штаты обладают могуществом. Я думаю, что такой мир будет и лучше и безопаснее, когда у нас будут здоровые и сильные Соединенные Штаты, Европа, Советский Союз, Китай, Япония, взаимно уравновешивающие друг друга, не действующие друг против друга, создающие баланс сил».

Примечательно в этом изложении то, что две страны из названных в составе «концерта» держав фактически выступали противниками США: с СССР Америка вела холодную войну, а с Китаем только возобновила дипломатические контакты – после разрыва, продлившегося два десятилетия, когда Соединенные Штаты не имели в Китае посольства и не поддерживали с ним официальных дипломатических отношений. Теодор Рузвельт сформулировал идею мирового порядка, при котором Соединенные Штаты стоят на страже глобального равновесия. Никсон пошел дальше, утверждая, что США должны быть неотъемлемой частью постоянно меняющегося, подвижного баланса, причем не как балансир, а как составной элемент этой системы.

Приведенный отрывок также демонстрирует тактическое мастерство Никсона, а именно – когда он отрицал всякое намерение противопоставлять одну из образующих баланс частей другой. Элегантный способ предупредить потенциального противника – отказаться от имеющейся возможности, о которой другой стороне известно и которая ничуть не изменится после заявленного отказа. Свои высказывания Никсон сделал, собираясь отправиться в Пекин: его визит служил показателем значительного улучшения отношений между двумя странами – и это был первый раз, когда действующий президент США посещал Китай. Выставить Китай противовесом

Советскому Союзу, занимая позицию, в которой Америка была ближе к обоим коммунистическим гигантам, чем они находились по отношению друг к другу, – это в точности соответствовало плану реализуемой стратегии. В феврале 1971 года в ежегодном докладе Никсона о внешней политике Китай упоминался как Китайская Народная Республика – впервые в официальном американском документе ему была дарована подобная степень признания, – и заявлялось, что Соединенные Штаты Америки «готовы установить диалог с Пекином»^[121] на основе национальных интересов.

Родственное этим словам замечание о внутренней политике Китая Никсон высказал в июле 1971 года, когда я находился на пути в Китай, во время так называемой тайной поездки. Обращаясь к аудитории в Канзас-Сити, Никсон заявил, что «внутренние проблемы Китая» – имея в виду «культурную революцию» – не следует воспринимать «с каким-то чувством удовлетворения, что всегда так и будет. Потому что если взглянуть на китайцев как на народ – а я многих китайцев встречал в поездках по миру... – то это созидательные и умеющие работать люди, это один из самых способных народов в мире. И 800 миллионов китайцев неизбежно станут представлять огромную экономическую силу, со всем, что это означает в том смысле, какими они могут быть и в других областях, если пойдут в том направлении».

Эти слова, обычные для сегодняшнего дня, в то время были революционными. Поскольку они были сказаны экспромтом – и я не имел связи с Вашингтоном, – мое внимание на них обратил не кто иной, как Чжоу Эньлай, когда я приступил к первому за более чем двадцать лет диалогу с Пекином. Никсон, закоренелый антикоммунист, решил, что императивы геополитического равновесия куда важнее требований идеологической безгрешности – точно так же, по воле случая, считали и его коллеги в Китае.

В президентскую избирательную кампанию 1972 года противник Никсона, Джордж Макговерн, выступил с язвительно-насмешливым призывом: «Вернись домой, Америка!» Никсон ответил в том смысле, что если Америка уклоняется от своей ответственности на международной арене, то дома у нее наверняка не все в порядке. Он заявил, что «только если мы благородно действуем согласно взятым на себя обязательствам за рубежом, мы останемся великой нацией, и

только если мы остаемся великой нацией, мы благородно станем встречать трудности у себя дома». В то же время он стремился обуздать «наше инстинктивное чувство, будто нам известно, что лучше для других», которое, в свою очередь, приводило к тому, что «они испытывали искушение положиться на наши рекомендации».

С этой целью Никсон ввел практику ежегодных докладов о положении дел в мире. Подготовкой черновых вариантов этих докладов – как и всех прочих президентских документов – занималась администрация Белого дома, в данном же случае – сотрудники Совета национальной безопасности под моим руководством. Но общий стратегический настрой этих документов определял Никсон, и он же просматривал текст после завершения работы. Ежегодные доклады служили ориентирами для правительственных учреждений, связанных с внешнеполитической деятельностью, и – что важнее – зарубежным странам они указывали стратегическое направление американской политики.

Никсон в достаточной мере был реалистом, чтобы подчеркнуть: Соединенные Штаты не могут доверять свою судьбу доброй воле других стран – ни полностью, ни даже в значительной степени. Как выделено в его докладе за 1970 год, достижение мира требует готовности к переговорам и поиска новых форм партнерства, но одного этого недостаточно: «Вторым элементом прочного мира должна стать сила Америки. Мира, как мы узнали, нельзя добиться с помощью одной лишь доброй воли». Помогать укреплению мира, а отнюдь не мешать этому, полагал он, будет постоянная демонстрация американской мощи и проверенная готовность действовать в глобальном масштабе – что напоминало решение Теодора Рузвельта отправить «Большой белый флот» в кругосветное плавание в 1907–1909 годах. Также Соединенные Штаты не могут ожидать, что другие страны отдадут собственное будущее на произвол судьбы, опираясь в своей внешней политике прежде всего на добрую волю прочих. Руководящим принципом является стремление сформировать международный порядок, который связывает власть с легитимностью, – в том смысле, что все основные участники такого соглашения сочтут его справедливым:

«Все нации, противники и друзья, должны быть кровно заинтересованы в сохранении международной системы. Они должны чувствовать, что к их принципам относятся с уважением, а их национальные интересы обеспечены... Если международная обстановка отвечает их жизненно важным интересам, они будут прилагать усилия ради ее поддержания».

Именно представление о подобном международном порядке обеспечило первый шаг к «открытию» Китая, который Никсон рассматривал как неотъемлемый элемент такого порядка. Одним из аспектов «открытия» Китая была попытка переступить через внутривнутриполитические раздоры последнего десятилетия. Никсон стал президентом страны, переживающей глубокий шок от потрясений внутри и на международной арене и от безрезультатной войны. Важно было донести до нации видение мира и международной справедливости, чтобы воодушевить страну мечтами, достойными ее истории и моральных ценностей. Не менее важным было заново определить американскую концепцию мирового порядка. Нормализация взаимоотношений Америки с Китаем будет постепенно все больше изолировать Советский Союз или же вынудит его к улучшению отношений с Соединенными Штатами. До тех пор, пока США смогут держаться к каждой из коммунистических держав ближе, чем те находятся по отношению друг к другу, можно не беспокоиться о призраке совместных китайско-советских усилий по завоеванию мировой гегемонии, о призраке, который на протяжении двух десятилетий преследовал американскую внешнюю политику. (С течением времени Советский Союз оказался не в состоянии поддерживать эту неразрешимую, в значительной мере саму собой возникшую дилемму противостояния врагам как в Европе, так и в Азии, в том числе и в собственном идеологическом лагере.)

Попытка Никсона сделать американский идеализм практичным, а американскому прагматизму придать долгосрочность подверглась атакам с обеих сторон, что вполне отражает американскую двойственность, метания между силой и принципом. Идеалисты критиковали Никсона за проведение внешней политики, основанной на геополитических принципах. Консерваторы оспаривали его действия на том основании, что ослабление напряженности с Советским

Союзом означало в той или иной форме уступку коммунистическому вызову, брошенному западной цивилизации. И те и другие критики будто забывали, что Никсон гарантировал прочность обороны вдоль всей советской периферии, что он стал первым американским президентом, который посетил с визитом Восточную Европу (Югославию, Польшу и Румынию), символически поставив под сомнение советский контроль над нею, и что именно он возглавлял Соединенные Штаты во время целого ряда кризисов в отношениях с Советским Союзом, причем в двух из них (в октябре 1970-го и в октябре 1973 года), не дрогнув, привел американские вооруженные силы в состояние боевой готовности.

Никсон выказал необычайное мастерство в геополитическом аспекте выстраивания мирового порядка. Он терпеливо увязывал различные компоненты стратегии друг с другом и продемонстрировал исключительное мужество в противостоянии кризисам и большую настойчивость в достижении долгосрочных целей во внешней политике. Одним из часто повторяемых им правил работы было следующее: «Вы платите одну и ту же цену за то, что сделано наполовину, и за то, что сделано до конца. Поэтому лучше делать до конца». Как результат, в течение восемнадцати месяцев 1972–1973 годов Никсон завершил войну во Вьетнаме, «открыл» Китай, провел встречу на высшем уровне с Советским Союзом, даже расширяя при этом военные усилия Америки в ответ на северовьетнамское наступление, сумел привлечь Египет, до того бывший союзником Советов, к тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами, добился заключения двух договоров о разъединении на Ближнем Востоке: первый – между Израилем и Египтом, второй – с Сирией (последнее соглашение соблюдается даже во время написания этой книги, несмотря на жестокую гражданскую войну), – и он же стоял у истоков Европейского совещания по безопасности, итоги которого в долгосрочной перспективе серьезно ослабили советский контроль над Восточной Европой.

Но в тот момент, когда тактический успех мог быть преобразован в перманентную концепцию мирового порядка, связывающую воедино вдохновляющее видение с реальным равновесием, произошла трагедия. Война во Вьетнаме истощила энергию обеих сторон. Уотергейтское дело, которое нанесло огромный ущерб администрации

и которым безжалостно воспользовались давние критики Никсона, парализовало исполнительную власть. При обычном течении событий различные направления политики Никсона были бы объединены вместе в новой долгосрочной стратегии США. Никсону довелось мельком узреть землю обетованную, где встретятся надежды и реальность, – окончание холодной войны, переопределение задач Атлантического альянса, подлинное партнерство с Китаем, огромный шаг на пути к миру на Ближнем Востоке, начало реинтеграции России в систему международного порядка, но у него не было времени, чтобы свести вместе геополитическое видение и благоприятную возможность. Другим выпало проделать этот путь.

Начало обновления

После мучительных 1960-х годов и падения авторитета президентской власти Америке прежде всего необходимо было восстановить единство. Можно считать везением, что человеком, призванным решать эту беспрецедентную задачу, оказался Джеральд Форд. Вознесенный на высокую должность, к которой он вовсе не стремился, Форд никогда не был впутан в сложные коловращения президентской политики. По этой причине, свободный от одержимости мнениями фокус-групп и установления связей с общественностью, он мог исполнять обязанности президента, опираясь на моральные ценности доброй воли и веры в свою страну, на которых он был воспитан. Многолетний опыт работы Форда в палате представителей, где он заседал в ключевых подкомитетах по оборонной политике и по делам разведки, позволял ему хорошо ориентироваться во внешнеполитических задачах и вызовах.

Историческое служение Форда состояло в том, чтобы превозмочь разногласия внутри Америки. Во внешней политике он стремился – и во многом ему это удалось – связать власть с принципом. Его администрация стала свидетелем подписания первого соглашения между Израилем и арабским государством – в данном случае с Египтом, – положения этого договора были по большей части политическими. Второе Синайское соглашение о разъединении отмечало окончательный поворот политики Египта к мирному урегулированию. Форд выступил инициатором активной

дипломатической работы, направленной на то, чтобы на юге Африки реализовалось правление большинства – и первым из американских президентов столь явно заявил об этом. Испытывая сильное давление оппозиции внутри страны, он присутствовал при подписании акта Сопещения по безопасности в Европе. Среди множества статей этого документа были пункты, закреплявшие права человека в качестве одного из европейских принципов безопасности. Впоследствии эти положения использовали такие героические личности, как Лех Валенса в Польше и Вацлав Гавел в Чехословакии, стремившиеся принести в свои страны демократию и начать сокрушение коммунизма.

На похоронах президента Форда свою речь я предварил следующими словами:

«Согласно древней традиции, Бог сохраняет человечество, несмотря на все его многочисленные грехи, потому что в любой отрезок времени есть десять праведников, которые, не ведая о своей роли, искупают вину человечества. Таким человеком и был Джеральд Форд».

Джимми Картер стал президентом, когда воздействие, оказанное поражением Америки в Индокитае, начало трансформироваться в вызовы, которые были немыслимы в те времена, когда Америка еще имела ауру непобедимости. Иран, до того опора регионального ближневосточного порядка, оказался в руках группы аятолл, которые, по сути, объявили политическую и идеологическую войну Соединенным Штатам Америки. Тем самым была опрокинута сложившаяся на Ближнем Востоке расстановка сил. Символом этого стала блокада американского дипломатического представительства в Тегеране, продолжавшаяся свыше четырехсот дней. Примерно в то же время Советский Союз почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы осуществить вторжение в Афганистан и оккупировать страну.

Во всей этой суматохе Картер нашел в себе моральные силы направлять процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, завершившийся церемонией подписания соглашения в Белом доме. Мирный договор между Израилем и Египтом стал событием

историческим. Хотя его истоки лежат в ликвидации советского влияния и в запуске процесса переговоров о мире, в чем заслуга предыдущих администраций, заключение договора при Картере стало кульминацией упорных и решительных усилий дипломатии. Картер укрепил «открытие» Китая установлением полномасштабных дипломатических отношений, консолидировав двухпартийный консенсус касательно нового политического курса. И он резко отреагировал на советское вторжение в Афганистан, оказывая поддержку тем, кто сопротивлялся советской оккупации. В очень сложный и болезненный период Картер вновь подтвердил приверженность Соединенных Штатов моральным ценностям и человеческому достоинству, внутренне присущим представлению Америки о самой себе, даже когда он, ближе к концу своего президентского срока, испытал колебания перед лицом новой стратегической задачи, заключающейся в поиске подходящего баланса между властью и легитимностью, между силой и законностью.

Рональд Рейган и окончание холодной войны

Редко когда у Америки появлялся президент, настолько отвечающий духу времени и настолько готовый к решению насущных задач, как Рональд Рейган. За десять лет до того Рейган выглядел чересчур воинственным, чтобы быть реалистом; десятилетие спустя его убеждения, возможно, показались бы слишком одномерными. Но, противостоя Советскому Союзу, чья экономика испытывала стагнацию, а геронтократические руководители в буквальном смысле последовательно умирали, и имея поддержку американского общественного мнения, готового позабыть о годах разочарований, Рейган соединил латентные, порой, казалось бы, несогласующиеся сильные стороны Америки: идеализм, способность быстро восстанавливаться, творческую энергию, экономическую жизнеспособность.

Чувствуя потенциальную слабость Советов и будучи всей душой убежден в превосходстве американской системы (он изучил намного больше трудов по американской политической философии, чем полагали доморожденные критики президента), Рейган объединил оба элемента – власть и легитимность, – которые в предыдущее десятилетие породили американскую амбивалентность. Он бросил Советскому Союзу вызов, втянув в гонку вооружений и технологий, в которой тот не мог выиграть. Для этого президент запустил программы, которые долгое время блокировал конгресс. То, что получило известность как Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) – щит, обороняющий от ракетного удара, – во многих отношениях подвергалось насмешкам в конгрессе и в СМИ, когда Рейган выдвинул свой план. Сегодня же этой программе в значительной мере приписывают то, что именно она убедила советское руководство в бесплодности попыток соревноваться в гонке вооружений с Соединенными Штатами.

В то же время Рейган придал политике психологический импульс, выступив с громкими заявлениями на самой грани вильсоновского морализма. Вероятно, наиболее трогательный пример – прощальное послание Рейгана, произнесенное им, когда он покидал свой пост в

1989 году. Он описал свое видение Америки как сияющего града на холме:

«Всю свою политическую жизнь я говорил о сияющем граде, но не знаю, рассказывал ли толком о том, что представало перед моим взором, когда я произносил эти слова. Но в мыслях моих был высокий гордый город, возведенный на мощных скалах, противостоящих океану, овеваемый ветрами, благословенный Богом и населенный множеством разных людей, которые живут в мире и гармонии, – город со свободным портом, где идет торговля и бурлит творческая энергия, и если бы тот город окружали стены, то в стенах были бы двери, и двери были бы открыты для всех, у кого есть желание и смелость войти туда. Вот таким я его увидел и таким продолжаю видеть».

Для Рейгана Америка как сияющий град на холме вовсе не была метафорой; для него град существовал на самом деле, потому что Рейган желал, чтобы тот существовал.

В этом состояло важное различие между Рональдом Рейганом и Ричардом Никсоном, политические курсы которых были весьма схожи и нередко совпадали. Никсон относился к внешней политике как к энергичным, предпринимаемым без конца попыткам, как к набору ритмов, которыми надо управлять. Он разбирался с их сложностями и несоответствиями, как со школьными заданиями, которые задал на дом особо требовательный преподаватель. Никсон надеялся на то, что Америка возьмет верх, но ей придется пройти длинный и безрадостный путь, возможно, уже после того, как он уйдет со своего поста. Напротив, Рейган резюмировал свою стратегию холодной войны характерно оптимистическим изречением, высказанным помощнику в 1977 году: «Мы побеждаем, они проигрывают». Стиль, в котором Никсон проводил свой курс, был важен для возвращения мобильности дипломатии холодной войны; стиль Рейгана был необходим для дипломатии прекращения холодной войны.

С одной стороны, риторика Рейгана – в том числе и его выступление в марте 1983 года с упоминанием СССР как «империи зла» – могла повлечь за собой конец каким бы то ни было перспективам дипломатии «Восток – Запад». На более глубоком

уровне такой подход символизировал переходный период, когда Советский Союз постепенно осознал бесплодность гонки вооружений, а его стареющее руководство билось с проблемой наследования власти. Скрывая сложность за показной простотой, Рейган также выдвинул идею примирения с Советским Союзом, зайдя в своих соображениях об урегулировании куда дальше того, что Никсон когда-либо готов был сформулировать.

Рейган был убежден, что коммунистическая непримиримость в большей степени основана на невежестве, чем на злой воле, на недопонимании, а не на враждебности. В отличие от Никсона, полагавшего, что, рассчитывая на эгоизм, возможно достичь компромисса между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, Рейган верил, что конфликт, скорее всего, закончится осознанием превосходства американских принципов. В 1984 году, после назначения высшим советским руководителем ветерана Коммунистической партии Константина Черненко, Рейган поверял своему дневнику: «У меня какое-то подспудное чувство, что стоило бы переговорить с ним о наших проблемах, как мужчина с мужчиной, и посмотреть, удастся ли убедить его. Мне кажется, что Советы обретут материальную выгоду, если они присоединятся к семье наций и т. д.».

Когда через год на смену Черненко пришел Михаил Горбачев, оптимизм Рейгана только окреп. Он говорил своим соратникам, что мечтает свозить нового советского лидера на экскурсию, чтобы показать район, где живет американский рабочий класс. Как вспоминал один из биографов Рейгана, президент представлял себе, как бы «вертолет снизился, и Рейган пригласил бы Горбачева постучаться в двери и спросить жителей поселка, «что они думают о нашей системе». А рабочие рассказали бы ему, до чего чудесно жить в Америке». Все это убедило бы Советский Союз присоединиться к глобальному движению в сторону демократии, а это, в свою очередь, привело бы к установлению мира, – потому что «правительства, которые опираются на согласие тех, кем они правят, не ведут войн со своими соседями» – это основополагающий принцип, определяющий вильсоновскую точку зрения на международный порядок.

Свою концепцию Рейган решил применить в вопросе контроля ядерных вооружений и на саммите в Рейкьявике в 1986 году предложил Горбачеву ликвидировать все системы доставки ядерных

боезарядов, при этом сохраняя и наращивая противоракетные системы. В результате была бы достигнута одна из целей Рейгана, о которой он часто заявлял: избавиться от самой возможности ядерной войны, ликвидировав необходимый для нее наступательный потенциал и ограничив нарушителя договоренности системами противоракетной обороны. Подобная идея не укладывалась в рамки представлений Горбачева, именно поэтому тот энергично торговался за второстепенную оговорку об ограничении испытаний систем противоракетной обороны «лабораторными условиями». (Предложение о ликвидации средств доставки ядерного оружия в любом случае было нереализуемым на практике, потому что против него крайне резко выступали премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент Франции Франсуа Миттеран – они были убеждены, что Европу нельзя защитить без ядерного оружия, и свои независимые средства устрашения рассматривали как последнюю страховку.) Многие годы спустя я поинтересовался у советского посла Анатолия Добрынина, почему Советы не предложили какой-нибудь компромисс по вопросу испытаний. Он ответил: «Потому что нам и в голову не приходило, что Рейган может просто покинуть переговоры».

Горбачев старался противопоставить идеям Рейгана концепцию советской реформы. Но к 1980-м годам «равновесие сил», на которое десятки лет своего правления неустанно ссылались советские руководители, обернулось против них самих. Неработоспособная экономическая модель оказалась не в состоянии выдержать четыре десятилетия имперской экспансии во всех направлениях.

Соединенные Штаты Америки, несмотря на все разногласия и колебания, сохранили основные элементы ситуации силы; за два поколения была выстроена неформальная антисоветская коалиция всех ведущих промышленных центров и большей части развивающегося мира. Горбачев понимал, что Советский Союз не сможет выдержать курс на доминирование, однако он недооценил хрупкость советской системы. Его призывы к реформе – политика «гласности» и «перестройки» – высвободила силы, которые оказались слишком дезорганизованными для подлинного реформирования и слишком деморализованными для того, чтобы Советский Союз оставался тоталитарным лидером, – во многом случилось именно так, как и предсказывал полвека назад Кеннан.

Одна лишь идеалистическая приверженность Рейгана демократии не могла бы привести к такому результату; энергичная оборонительная и экономическая политика, прозорливый анализ советских слабостей и необычайно благоприятно сложившиеся внешние обстоятельства – все эти факторы сыграли свою роль в успехе избранного им курса. Тем не менее без идеализма Рейгана – иногда граничившего с отрывом от истории – советскому вызову не пришел бы конец в атмосфере глобального утверждения демократического будущего.

Сорок лет назад и на протяжении десятилетий после того считалось, что главным препятствием к установлению безопасного для всех мирового порядка является Советский Союз. Отсюда логически следовало, что после падения коммунизма – которое если вообще произойдет, то, как представлялось, лишь в отдаленном будущем, – воцарится эпоха стабильности и доброй воли. Вскоре стало ясно, что история, как правило, имеет дело с более продолжительными циклами. Перед тем как устанавливать новый мировой порядок, необходимо было разобраться с осколками холодной войны.

Эта задача выпала на долю Джорджа Герберта Уокера Буша, который сумел принять преобладающую роль Америки в мире с умеренностью и мудростью. Родом из аристократической семьи, он вырос в Коннектикуте, однако состояние предпочел делать в Техасе – в той части США, что слывет более простой нравами и более предприимчивой. Джордж Буш-старший, имевший богатый и разнообразный опыт работы в правительстве на различных должностях и на всех уровнях, с незаурядным мастерством провел страну через поразительную череду кризисов, которые стали проверкой как практического применения Америкой своих моральных ценностей, так и пределов ее громадной власти. Не прошло и нескольких месяцев со дня вступления президента в должность, как волнения на площади Тяньаньмэнь в Китае поставили под сомнение не только основополагающие ценности Америки, но и важность сохранения американо-китайских взаимоотношений для глобального равновесия. Имея в послужном списке пост главы американского бюро по связям с КНР (и проработав в Пекине еще до установления официальных дипломатических отношений), Буш действовал таким образом, что сохранил верность американским принципам, но в то же

время не утратил перспектив дальнейшего сотрудничества с Китаем. Он выказал себя умелым дипломатом при объединении Германии – до того считавшегося вероятной причиной для войны, – когда принял решение не использовать в своих интересах затруднения Советского Союза, с которыми тот столкнулся при крушении империи. Когда в 1989 году пала Берлинская стена, то Буш, следуя тем же соображениям, отверг все предложения полететь в Берлин, чтобы отпраздновать эту демонстрацию краха советской политики.

Ловкость, с которой Буш-старший привел к завершению холодную войну, заслонила внутривполитическую полемику, благодаря которой были поддержаны усилия Соединенных Штатов и которая помогла обрисовать задачи следующего этапа. Холодная война близилась к концу, и американское общество склонялось к согласию в том, что основная работа по обращению бывшего противника на «путь истинный» уже проделана. Отныне будет налаживаться международный порядок, ставящий целью мир и безопасность, при условии, что демократические страны позаботятся об оказании помощи последней волне демократических преобразований в государствах, еще находящихся под авторитарным правлением. Последняя мечта Вильсона исполнится. Получат широкое распространение свободные политические и экономические институты, и устаревшие антагонизмы в конечном счете исчезнут, падут под натиском толерантности и гармонии.

Именно в таком духе Буш отразил иракское нападение на Кувейт во время Первой войны в Персидском заливе, создав через ООН коалицию стран, готовых к противодействию агрессору, – это стало первой после Корейской войны совместной операцией с участием великих держав; он прекратил проведение военных операций, когда был достигнут рубеж, определенный резолюциями ООН (возможно, как бывший представитель США в ООН, он постарался учесть урок, полученный генералом Макартуром, когда после победы у Инчхона тот принял решение пересечь разграничительную линию между Северной и Южной Кореей).

Какое-то недолгое время казалось, что глобальный консенсус, сложившийся в 1991 году после освобождения Кувейта, который был захвачен вооруженными силами Саддама Хусейна, подтверждает неизменную американскую надежду на международный порядок,

основанный на определенных правилах. В ноябре 1990 года в Праге Буш призывал к созданию «содружества свободы», которое будет руководствоваться законами; это должно быть «моральное сообщество, объединенное преданностью своих членов идеалам свободы». Членство в этом содружестве открыто для всех; когда-нибудь оно способно стать всеобщим. Сама по себе «великая и растущая сила содружества свободы» в будущем «выковала бы для всех наций новый мировой порядок, намного более прочный и безопасный, чем любой, какой нам до сих пор известен». Соединенные Штаты Америки и их союзники будут двигаться «от сдерживания к политике активного участия».

Деятельность Буша была прервана поражением на президентских выборах 1992 года, в некотором смысле потому, что он выступал как «внешнеполитический» президент, в то время как его оппонент, Билл Клинтон, обращался к уставшей от войны аудитории, обещая сосредоточиться на внутривнутриполитических вопросах американской повестки дня. Однако новоизбранный президент очень скоро заявил о возобновлении активной внешней политики, по курсу сравнимой с бушевской. Клинтон выразил уверенность в наступлении новой эры, когда в 1993 году в обращении к Генеральной Ассамблее ООН охарактеризовал концепцию своей внешней политики не как сдерживание, а как «распространение». «Нашей важнейшей целью, – провозгласил он, – должно быть расширение и укрепление мирового сообщества демократических стран, основанного на рыночной экономике». С этой точки зрения, поскольку принципы политической и экономической свободы являются универсальными «от Польши до Эритреи, от Гватемалы до Южной Кореи», их распространение не потребует применения силы. Описывая инициативу, идущую в русле неизбежной исторической эволюции, Клинтон заверял, что американская политика будет стремиться к «миру процветающих демократических стран, которые сотрудничают друг с другом и живут в мире».

Когда госсекретарь Уоррен Кристофер предпринял попытку применить теорию «распространения демократии» к Китайской Народной Республике, поставив экономические связи в зависимость от реформирования внутривнутриполитической системы Китая, он встретил весьма резкий отпор. Китайские руководители настаивали, что

отношения с Соединенными Штатами могут строиться исключительно на геостратегической основе, а не на основании того, какими темпами Китай продвигается по пути политической либерализации, – как это было предложено. На третий год своего президентства Клинтон на практике вернулся к менее настойчивому подходу в вопросе мирового порядка.

Между тем концепция распространения демократии столкнулась с намного более воинственным противником. Джихадизм стремился распространить свое послание и подвергал нападкам западные ценности и институты, особенно те, которые имели отношение к Соединенным Штатам, считая их главным препятствием на пути к возрождению ислама. За несколько месяцев до выступления Клинтона на Генеральной Ассамблее интернациональная группа экстремистов, в которую входил и один гражданин США, взорвала бомбу во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Второстепенной целью террористов, в случае если бы их исходный план не удался, было выбрано здание Секретариата ООН. Поскольку вестфальская концепция государства и международного права основана на правилах, которые в явном виде не установлены Кораном, то для этого движения она представляет богопротивную мерзость. Схожие возражения вызывала демократия, так как она позволяет принимать законы, отделенные от законов шариата. Америка, в представлении джихадистских сил, выступает угнетателем мусульман, стремящихся осуществить собственную всемирную миссию. Брошенный ими вызов вылился в открытое нападение – 11 сентября 2001 года были нанесены удары по Нью-Йорку и Вашингтону. По крайней мере, на Ближнем Востоке окончание холодной войны возвестило не о наступлении желанного времени демократического консенсуса, а о новой эпохе идеологического и военного противостояния.

Войны в Афганистане и Ираке

Через три десятилетия после болезненного обсуждения «уроков Вьетнама» вновь встали столь же серьезные проблемы, теперь уже в связи с войнами в Афганистане и в Ираке. Причиной обоих конфликтов было нарушение международного порядка. Для Америки оба окончились отступлением и выводом войск.

Афганистан

«Аль-Каида», обнародовавшая в 1998 фетву, которая призывала к огульным убийствам американцев и евреев во всем мире, обрела убежище в Афганистане – страна находилась под управлением «Талибана», и власти Афганистана отказались высылать руководителей и боевиков этой организации. Ответ Америки на нападение, совершенное на американскую территорию, был неизбежен, и к нему с пониманием отнеслись практически во всем мире.

Почти сразу же возникла новая проблема: как установить международный порядок, когда главными врагами являются негосударственные организации, которые не ставят своей задачей защиту какой-либо конкретной территории и которые отвергают устоявшиеся принципы законности.

Война в Афганистане началась в атмосфере национального единодушия и международного согласия. Перспективы установления международного порядка, опирающегося на правила, казались обоснованными, когда НАТО, впервые в своей истории, применило статью 5 Североатлантического договора, которая постановляет, что «вооруженное нападение на одного или более [союзника по НАТО] в Европе или в Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех». Через девять дней после терактов 11 сентября президент США Джордж Буш-младший направил ультиматум талибовским властям Афганистана, в то время укрывавшим «Аль-Каиду»: «передать властям Соединенных Штатов Америки всех лидеров «Аль-Каиды», которые скрываются в вашей стране... Предоставить США полный доступ к лагерям по подготовке террористов, чтобы мы могли убедиться, что они больше не действуют». Когда талибы не выполнили эти требования, Соединенные Штаты и их союзники начали войну, цели которой Буш описал 7 октября в столь же сжатых выражениях: «Эти точно нацеленные действия направлены на прекращение использования территории Афганистана в качестве базы для террористических операций и на нанесение ударов по военному потенциалу режима талибов».

Необоснованными представлялись высказанные на первых порах предостережения об Афганистане как о «кладбище империй», о чем свидетельствовала вся история этой страны. После быстрых действий, возглавляемых американскими, английскими и союзными им афганскими силами, «Талибан» был отстранен от власти. В декабре 2001 года на международной конференции в Бонне (Германия) было объявлено о создании временного афганского правительства во главе с Хамидом Карзаем и о начале процесса созыва Лоя джирги (традиционного совета племен), которая должна была сформировать и утвердить послевоенные афганские институты. Казалось, военные цели союзников достигнуты.

Участники переговоров в Бонне оптимистично декларировали впечатляющий замысел: «создание на широкой основе и с учетом гендерного фактора многоэтничного и полностью представительного правительства». В 2003 году резолюция Совета Безопасности ООН санкционировала расширение миссии возглавляемых НАТО Международных сил содействия безопасности «для поддержки Переходной администрации Афганистана и ее правопреемников в обеспечении безопасности в районах Афганистана за пределами Кабула и его окрестностей, так чтобы афганские власти, а также персонал Организации Объединенных Наций... имели возможность работать в безопасной обстановке».

Основной предпосылкой американских и союзнических усилий стало «восстановление Афганистана» через демократическое, плюралистическое, честное афганское правительство, чьи распоряжения выполняются на всей территории страны, и с помощью афганской национальной армии, способной взять на себя ответственность за обеспечение безопасности на национальном уровне. Поразительный идеализм, однако подобные усилия считались сопоставимыми с демократическим строительством в Германии и Японии после Второй мировой войны.

Ни один институт за всю историю Афганистана или какой-нибудь его области не мог предложить прецедент для осуществления подобных усилий на широкой основе^[122]. Традиционно Афганистан меньше представлял собой государство в привычном понимании; скорее, это географическое обозначение территории, которая никогда

не находилась под последовательным управлением какого-либо единого органа. Большую часть истории страны афганские племена и религиозные секты пребывали в состоянии войны друг с другом, ненадолго объединяясь для противостояния вторжению или для грабительского набега на соседей. Элиты в Кабуле могли себе позволить экспериментировать время от времени с парламентскими институтами, но за пределами столицы господствовал древний племенной кодекс чести. Консолидация Афганистана происходила только непреднамеренно, из-за чужеземцев, когда племена и секты объединялись в коалицию, дабы противостоять захватчику.

Таким образом, то, что предстало перед американскими и натовскими войсками в самом начале двадцать первого века, по сути своей очень мало отличалось от картины, свидетелем которой был в 1897 году молодой Уинстон Черчилль:

«Кроме как в пору сбора урожая, когда забота о выживании диктует необходимость перемирия, племена патанов [пуштунов] постоянно вовлечены в междоусобицы или же в единую борьбу. Каждый житель здесь воин, политик и богослов. Каждый приметный дом – это средневековая крепость, пускай слеplенная из обожженной глины, но с зубцами стен, башнями, бойницами, подъемными мостами и всем прочим в полном комплекте. Каждая семья свято чтит обычай вендетты, каждый род продолжает начатую предками вражду. Многочисленные племена и племенные союзы ведут счет нанесенным им обидам и всегда готовы предъявить этот счет противнику. Ничего не забывается и не прощается и очень редко остается безнаказанным» [\[123\]](#).

В подобном контексте установление честного и демократического центрального афганского правительства, действующего в безопасной обстановке – что провозглашалось целью усилий коалиции и ООН, – было равнозначно радикальному переосмыслению всего исторического уклада Афганистана. Созданное правительство успешно вознесло один клан выше прочих – пуштунский клан попользай, к которому принадлежит сам Хамид Карзай, – и стремилось утвердить его власть во всей стране с помощью силы (собственной либо международной коалиции), или через

распределение иностранной помощи, или же прибегая к обоим этим средствам. Неизбежно усилия, необходимые для насаждения подобных учреждений, пренебрегали вековыми привилегиями, смешав мозаику племенных союзов, причем так, что ее почти невозможно взять под контроль любой силе извне.

Выборы в США в 2008 году усугубили сложности, обусловленные двойственным подходом Америки. Новый президент Барак Обама в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что вернется к «необходимой» войне в Афганистане, задействовав войска, выведенные из «глупой» войны в Ираке, которую он намеревается завершить. Но, заняв президентский пост, он преисполнился решимости перенести центр тяжести на невоенные трансформации и решение внутренних задач. Результатом стало возрождение того двойственного подхода, который был характерен для американских военных кампаний после Второй мировой войны: в сообщении об отправке в Афганистан в качестве подкреплений дополнительно тридцати тысяч солдат общественности одновременно заявлялось о том, что через восемнадцать месяцев будет начат вывод американских войск. Как впоследствии утверждалось, конкретные сроки были оглашены намеренно, дабы это послужило стимулом правительству Карзая и оно энергичнее прилагало усилия по созданию современного центрального правительства и ускорило темпы формирования армии, которая должна будет сменить американские части. Однако цель стратегии партизанской войны, такой, какую вели и талибы, состоит в том, чтобы продержаться дольше обороняющихся войск. А для руководства в Кабуле обнародование фиксированной даты, когда оно потеряет внешнюю поддержку, стало отправным моментом для фракционных маневров, в том числе и с участием «Талибана».

Прогресс, достигнутый за этот период в Афганистане, был значительным, и дался он с трудом. Население приняло выборные институты, выказав немалую смелость – ведь талибы по-прежнему угрожают смертью тем, кто участвует в деятельности демократических структур. Соединенные Штаты, поставившие своей целью обнаружить и устранить Усаму бен Ладена, также преуспели в этом, послав тем самым громкий и ясный сигнал: Америка всегда полна решимости отомстить за совершенные злодеяния и от ее возмездия нигде не скрыться.

Однако говорить что-то определенное о перспективах региона по-прежнему сложно. После вывода американских войск из страны (а оно на момент написания книги являлось неизбежным) власть правительства Афганистана будет, весьма вероятно, распространяться на Кабул и на его окрестности, но вряд ли указы из столицы станут исполнять во всей остальной стране. Скорее всего, там на этнической основе сложится конфедерация полуавтономных феодальных регионов, которые будут находиться под сильным влиянием конкурирующих между собой иностранных держав. Проблема вновь вернется к тому, с чего все началось, – совместимости независимого Афганистана с политическим порядком в регионе.

Соседние с Афганистаном страны должны быть не меньше Соединенных Штатов – а в конечном счете даже намного больше – заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, спокойным и свободным от влияния джихадистов. Это в их национальных интересах. Если Афганистан вновь станет прежним, каким он был до войны, – базой для джихадистских негосударственных организаций или страной, проводящей джихадистскую политику, – то для всех соседей Афганистана это будет чревато риском потрясений в пределах собственных границ: прежде всего – для Пакистана, в силу всей его внутренней структуры; затем – для России, часть народов которой на юге и западе составляют мусульмане, и для Китая, из-за значительного мусульманского населения Синьцзяна. Нестабильность будет угрожать даже Ирану, где имеют влияние сунниты-фундаменталисты. Всем этим странам, со стратегической точки зрения, в большей степени угрожает Афганистан, оказывающий поддержку терроризму и предоставляющий убежище террористам, чем Соединенные Штаты Америки (за исключением, наверное, Ирана, который может предполагать, как было в случаях Сирии, Ливана и Ирака, что ситуация хаоса вне своих границ позволит манипулировать соперничающими группировками).

Как ни иронично, но не исключено, что разодранный войной Афганистан может оказаться показательным примером того, существует ли возможность освободить региональный порядок от влияния отличных друг от друга интересов безопасности и исторических перспектив. Без жизнеспособной международной программы относительно безопасности Афганистана каждый его

крупный сосед будет поддерживать какую-то из сторон-соперниц, разделенных древними этническими и религиозными барьерами. Вероятным исходом подобной ситуации станет фактический раздел страны: Пакистан будет контролировать пуштунский юг, а Индия, Россия и, возможно, Китай станут оказывать поддержку этнически разнородному северу. Чтобы избежать вакуума власти, необходимо приложить существенные дипломатические усилия, но определить региональный порядок на тот случай, если Афганистан вновь возродится как центр джихадизма. В девятнадцатом веке великие державы выступили гарантами бельгийского нейтралитета, и данные гарантии действовали, как-никак, сто лет. Возможен ли некий эквивалент этого, с соответствующими переопределениями, в случае Афганистана? Если не удастся сформулировать такую – или аналогичную – концепцию, то Афганистан, вероятно, утянет мир обратно, в вечную войну.

Ирак

После террористических атак 11 сентября 2001 года президент Джордж У. Буш сформулировал глобальную стратегию противодействия джихадистскому экстремизму и укрепления сложившегося международного порядка, включив в нее обязательство проведения демократических преобразований. «Великие битвы двадцатого века», утверждала «Стратегия национальной безопасности», подготовленная Белым домом в 2002 году, продемонстрировали, что существует «единственная устойчивая модель успешного развития нации, основанная на принципах свободы, демократии и свободного предпринимательства».

В настоящее время, указывала «Стратегия национальной безопасности», мы стали свидетелями того, как мир потрясен беспрецедентным злодеянием террористов, и великие мировые державы стоят «по одну сторону – объединенные общими опасностями порождаемых террористами насилия и хаоса». Содействие распространению институтов свободы и основанные на сотрудничестве взаимоотношения между ведущими странами предлагают «наилучшие шансы, после возвышения национальных государств в семнадцатом веке, для построения мира, где великие державы мирно конкурируют вместо того, чтобы постоянно готовиться к войне». Центральным элементом того, что стали называть «Повесткой дня о распространении свободы» или «Программой свободы», должна стать трансформация Ирака, являвшегося одним из самых репрессивных государств Ближнего Востока, в многопартийную демократическую страну, что, в свою очередь, подтолкнет весь регион к демократическим преобразованиям: «Иракская демократия победит – и об этом ее успехе от Дамаска до Тегерана разнесется весть, что свобода может стать будущим каждой нации».

«Повестка дня о распространении свободы» не была, как позднее утверждали, произвольным измышлением одного отдельно взятого президента и его окружения. Ее основная предпосылка явилась развитием типично американской тематики. Документ «Стратегия национальной безопасности 2002 года» – который впервые объявил об этом политическом курсе – повторял положения меморандума СНБ-68,

которые еще в 1950 году определили миссию Америки в холодной войне, впрочем, с одним решающим отличием. В 1950 году этот документ ставил американские моральные ценности на защиту свободного мира. Стратегия же 2002 года выдвигала задачу ликвидации тирании во всем мире, опираясь на универсальные ценности свободы.

Резолюция Совета Безопасности ООН № 687 от 1991 года^[124] потребовала от Ирака уничтожить все запасы оружия массового уничтожения и обязала прекратить все программы по разработке подобного вида вооружений. С тех пор десять резолюций Совета Безопасности уличили Ирак в существенных нарушениях.

В том, что касается военных усилий в Ираке, характерным – и традиционным для Америки – стало решение о проведении полицейской, в сущности, акции как реализации одного из аспектов проекта по распространению свободы и демократии. На растущую волну радикального исламского универсализма Америка отвечала новым подтверждением универсальности своих моральных ценностей и концепции мирового порядка.

Основным условием выступала существенная общественно-политическая поддержка, особенно в том, что касалось отстранения от власти Саддама Хусейна. В 1998 году конгресс США принял закон об освобождении Ирака с подавляющей двухпартийной поддержкой (в палате представителей за законопроект голосовало 360 конгрессменов, а против – всего 38, в сенате же его одобрили единогласно). Было заявлено, что «это должна быть политика Соединенных Штатов Америки в поддержку усилий по отстранению от власти в Ираке режима, который возглавляет Саддам Хусейн, и по содействию появлению вместо этого режима демократического правительства». Подписав данный закон 31 октября, в тот же день, когда он был принят в сенате, президент Клинтон выразил согласие с обеими партиями:

«Соединенные Штаты хотят, чтобы Ирак присоединился к семье наций в качестве свободолюбивого и законопослушного члена. Это в наших интересах и в интересах наших союзников в регионе... Соединенные Штаты оказывают поддержку оппозиционным группам из всех секторов иракского общества, которые могли бы войти в поддерживаемое народом правительство».

Так как в Ираке не были разрешены никакие политические партии, кроме правящей партии Баас, которой Саддам Хусейн правил железной рукой, и, следовательно, никаких формальных оппозиционных партий не существовало, то фраза президента должна была означать, что Соединенные Штаты намерены выработать секретную программу по свержению иракского диктатора.

После военной интервенции в Ирак Буш развил идею о более широком участии, заявив об этом в ноябре 2003 года в речи, которую он произнес по случаю двадцатой годовщины Национального фонда в поддержку демократии. Буш осудил прошлую политику США в регионе за то, что она добивалась стабильности ценой свободы:

«Шестьдесят лет западные страны, находя оправдания отсутствию свободы на Ближнем Востоке и мирясь с таким положением, не сделали ничего ради нашей безопасности – потому что, в конечном счете, стабильность нельзя купить за счет свободы».

В изменившихся условиях двадцать первого века подходы традиционной политики сулят неприемлемые риски. Поэтому администрация переходила от политики стабильности к «наступательной стратегии распространения свободы на Ближнем Востоке». Американский опыт в Европе и Азии показал, что «продвижение свободы приводит к миру».

Я поддерживал решение осуществить смену режима в Ираке. У меня имелись сомнения в том, что относилось к распространению данного решения на государственное строительство и приданию ему столь всеобъемлющего характера, и о них я говорил на общественных и правительственных форумах. Но перед тем как изложить свои замечания, хочу выразить здесь свое неизменное уважение и личную симпатию президенту Джорджу Бушу-младшему, который в беспокойные времена руководил Америкой с мужеством, достоинством и твердой верой. Поставленные им цели и преданность делали честь стране, даже когда в ряде случаев они оказались недостижимыми в пределах американского политического цикла. Это символ его преданности «Программе свободы», которой Буш, покинув президентский пост, отдает теперь силы и время, и именно ее он

сделал ключевой тематикой своей президентской библиотеки в Далласе.

По собственным детским годам я знаю, что испытывает член дискриминируемого меньшинства в тоталитарной системе, затем я был в США иммигрантом, поэтому мне не понаслышке известны те аспекты американских ценностей, которые связаны с освобождением от различного рода социальных ограничений. Распространение этих ценностей на основе примеров и при гражданской поддержке, как в случаях плана Маршалла и программ экономической помощи, является благородной и важной частью американской традиции. Но насаждать подобные ценности с помощью военной оккупации в той части света, где у них не было никаких исторических корней, и ожидать фундаментальных перемен за политически значимый отрезок времени – стандарты, устанавливаемые многими сторонниками и критиками усилий в Ираке, нередко очень схожи, – это задача, которая, как выяснилось, выходит за пределы того, что готова поддерживать американская общественность и к чему может приспособиться иракское общество.

Если принять во внимание этнические противоречия в Ираке и тысячелетний конфликт между суннитами и шиитами, разделительную линию, которая проходила через центр Багдада, то попытка трансформировать историческое наследие в условиях ведения боевых действий, да еще тогда, когда внутривосточные дебаты лишь вызывают разногласия, придает американским усилиям в Ираке некоторое сходство с сизифовым трудом. Трудности усугубляет решительное неприятие преобразований со стороны режимов в соседних странах. Не достигая успеха, усилия в итоге обречены оставаться бесконечными.

Установление плюралистической демократии, призванной сменить жестокое правление Саддама Хусейна, оказалось делом гораздо более сложным, чем само свержение диктатора. Шииты, долгое время лишённые гражданских прав и ожесточившиеся за десятилетия угнетения Хусейном, как правило, отождествляли демократию с утверждением своего численного преобладания. Сунниты относились к демократии как к иностранному заговору, направленному на их подавление; исходя из этого, большинство суннитов в 2004 году бойкотировали выборы, которые должны были сыграть важную роль в

определении послевоенного конституционного порядка. Курды на севере, хорошо помнившие кровавые расправы Багдада, укрепляли собственные военные возможности и прилагали усилия к установлению контроля над нефтяными месторождениями, дабы обеспечить себя доходами, не зависящими от государственной казны. Свою автономность они определили в таких терминах, что она на бесконечно малую величину отличается – если вообще отличается – от национальной независимости.

Страсти, и без того накаленные атмосферой революции и иностранной оккупации, вспыхнули с новой силой после 2003 года – масла в огонь, преследуя свои интересы, подливали внешние силы: Иран, который поддерживал шиитские группировки, подрывающие независимость рождающегося правительства; Сирия, которая содействовала переброске оружия и джихадистов через свою территорию (в конечном счете с разрушительными последствиями для собственной целостности); и «Аль-Каида», которая начала кампанию по систематическому уничтожению шиитов. Каждое сообщество во все большей степени рассматривало послевоенный порядок как сражение с нулевой суммой за власть, территорию и нефтяные доходы.

В такой атмосфере смелое решение, принятое Бушем в январе 2007 года, о развертывании «волны» войсковых подкреплений, призванных подавить волну насилия, было встречено необязательной для исполнения резолюцией о неодобрении, которую поддержали 246 членов палаты представителей. Хотя по процедурным причинам она провалилась в сенате, 56 сенаторов выступили против отправки подкреплений. Лидер сенатского большинства вскоре объявил, что «эта война проиграна и переброска подкреплений ничего не решает». В том же месяце палата представителей и сенат приняли законопроект, который уполномочивал начать вывод американских войск в течение года и на который президент наложил вето.

Как сообщалось, Буш закрыл плановую сессию 2007 года вопросом: «Если мы там находимся не для того, чтобы победить, то зачем мы там?» Это замечание вобрало в себя решительный характер президента, а также трагедию страны, чей народ более чем столетия подготавливали к тому, чтобы он отправлял в отдаленные уголки мира сыновей и дочерей для защиты свободы, но чью политическую систему не в состоянии сплотить такое же единое и

неизменное стремление. Пока «волна» подкреплений, о развертывании которых смело распорядился Буш и которыми блестяще руководил генерал Дэвид Петрэус, успешно боролась за почетный выход из ситуации надвигающегося краха, настроение Америки в этом отношении изменилось. Кандидатом в президенты от Демократической партии Барак Обама стал отчасти и потому, что упорно выступал против войны в Ираке. Вступив в должность, он продолжил публично критиковать своего предшественника и «стратегию выхода» стал осуществлять с большим упором на «выход», чем на «стратегию». На время написания этой книги Ирак служит главным полем развертывающегося в регионе религиозного соперничества – его правительство склоняется к Ирану, часть суннитского населения находится в вооруженном противостоянии с правительством, по обе стороны этого раскола относительно вероисповедания оказывается поддержка соперничающим джихадистским силам в Сирии, а на половине территории страны пытается строить халифат террористическая группировка ИГИЛ.

Вопрос выходит за рамки политических дискуссий о прошлом. Укрепление в самом сердце арабского мира джихадистской организации, которая располагает существенными запасами в основном трофейного оружия и боевой техники, а также боевиками из различных стран, которая вступила в религиозную войну с радикальными иранскими группами и с формированиями иракских шиитов, требует согласованного и убедительного международного ответа, а иначе она пустит свои метастазы еще дальше. Требуются последовательные стратегические усилия как Соединенных Штатов Америки, так и других постоянных членов Совета Безопасности и, возможно, региональных противников этой группировки.

Цель и возможное

Характер международного порядка оказался под вопросом, когда, как вызов Вестфальской системе государств, возник Советский Союз. Оглядываясь на десятилетия в прошлое, можно подискутировать, всегда ли баланс, к которому стремилась Америка, был оптимальным. Однако трудно отрицать, что Соединенные Штаты Америки в мире, в котором существовало оружие массового уничтожения и который

испытывал политические и социальные потрясения, сохраняли мир, помогали восстанавливать жизнеспособность Европы и оказывали имеющую важнейшее значение экономическую помощь развивающимся странам.

Именно при ведении «горячих» войн Америка обнаружила, что ей трудно соотнести цель с возможностями. Только в одной из пяти войн, которые вела Америка после Второй мировой войны (Корея, Вьетнам, Первая война в Персидском заливе, Ирак и Афганистан), а именно – в Первой войне в Персидском заливе во время президентства Джорджа Буша-старшего, Америка добилась поставленных целей, не вызвав при этом резких внутривнутриполитических разногласий.

Вопрос о том, когда исход других конфликтов – начиная от патовой ситуации и заканчивая односторонним выводом войск, – становится predetermined, является темой для другой дискуссии. Для наших задач достаточно сказать, что стране, которая играет незаменимую роль в поисках мирового порядка, необходимо взяться за указанную задачу, смирившись с этой ролью и с самой собой.

Суть исторических событий редко бывает очевидной для тех, кто является их свидетелем. Войну в Ираке можно рассматривать как событие, играющее роль катализатора для более масштабных преобразований в регионе, – фундаментальный характер которых до сих пор неизвестен и зависит от долгосрочных результатов «арабской весны», разрешения ядерной проблемы и геополитического вызова Ирана и нападения джихадистов на Ирак и Сирию. Введение в 2004 году выборов в политическую жизнь Ирака почти наверняка повлияло на выдвижение в других странах региона требований об учреждении институтов прямого участия; нам еще предстоит увидеть, удастся ли их совместить с духом толерантности и мирного компромисса.

Поскольку Америка изучает уроки войн, которые она вела в двадцать первом веке, важно не забывать, что ни одна ведущая держава не осуществляла свои стратегические инициативы, не испытывая столь глубокого стремления улучшить жизнь человечества. Есть особое качество у нации, которая провозглашает целями войны не только наказание врагов, но и улучшение жизни людей, – она ищет победы не для того, чтобы господствовать, а для того, чтобы поделиться плодами свободы. Америка бы изменила самой себе, если бы отказалась от внутренне присущего ей идеализма. Отвергая столь

сокровенную часть своего национального опыта, нельзя ни в чем убедить друзей (как нельзя и завоевать противника). Но для эффективной политики подобные устремления должны действовать вкуче с несентиментальным анализом основополагающих факторов, в числе которых – культурная и геополитическая конфигурация других регионов, чувства преданности и единения, обилие ресурсов у неприятельской стороны, выступающей против американских интересов и духовных ценностей. Моральные устремления Америки следует объединить с подходом, который учитывает стратегический элемент политики, причем в таких формулировках, которые американский народ поддержит и сможет пронести их через несколько политических циклов.

Бывший государственный секретарь Джордж Шульц мудро высказался о свойственной Америке двойственности в политике таким образом:

«Американцы, будучи моральным народом, хотят, чтобы их внешняя политика отражала моральные ценности, которые мы поддерживаем как нация. Но американцы, будучи людьми практичными, хотят также, чтобы их внешняя политика была эффективной».

Внутринациональные американские дискуссии зачастую характеризуют как спор между идеализмом и реализмом. Возможно, окажется так – для Америки и остального мира, – что если Америка не сумеет действовать одновременно и так и этак, она не сможет действовать вообще.

Глава 9

Технологии, равновесие и человеческое сознание

Каждая эпоха имеет свой лейтмотив, набор убеждений, который объясняет вселенную, вдохновляет или утешает человека, предоставляя ответы на множество текущих вопросов. В Средние века эту роль выполняла религия; в эпоху Просвещения – рация; в девятнадцатом и двадцатом столетиях – национализм в сочетании с пониманием истории как движущей силы. Наука и технология являются определяющими понятиями нашего времени. Они принесли достижения, направленные на обретение благополучия, – достижения, не имеющие прецедентов. В своем развитии они преодолевают традиционные культурные ограничения. Увы, но они также создали оружие, способное уничтожить человечество. Технология породила средства связи, гарантирующие мгновенный контакт между физическими лицами или структурами в любой части земного шара, а еще позволила хранить и извлекать огромные объемы информации одним нажатием кнопки. Но какими моральными принципами руководствуется эта технология? Что происходит с международным порядком, в котором технология стала повседневностью и даже постулирует собственную вселенную в качестве единственной релевантной? Разрушительность современных военных технологий глобальна, однако способен ли страх перед ними объединить человечество ради предотвращения новых войн? Или владение технологическим оружием сулит постоянное нагнетание обстановки? Уничтожат ли скорость и масштабы общения барьеры между обществом и отдельными людьми, обеспечат ли они информационную связность такой степени, что вековые мечты о полноценном человеческом сообществе наконец-то осуществляются? Или произойдет обратное, и человечество, владея оружием массового поражения, в мире сетевой прозрачности и отсутствия конфиденциальности, свергнет себя в пространство без ограничений и порядка и будет идти от кризиса к кризису, не осознавая последствий?

Автор не претендует на компетентность в наиболее совершенных современных технологиях; его задача – обозначить возможные результаты развития.

Мировой порядок ядерной эпохи

С того момента, как историю стали фиксировать в письменной форме, политические единицы, именовались они государствами или нет, опирались на войны как на последний довод в спорах. При этом технологии, сделавшие возможными войны вообще, ограничивали их масштабы. Самые могущественные и обладавшие необходимыми ресурсами государства могли направлять свои силы только на определенное расстояние, в определенных количествах, а противников было много. Амбициозным лидерам приходилось смирять устремления – по соглашениям сторон и вследствие состояния коммуникаций. Радикальные курсы тормозились темпами своего осуществления. Дипломатические инструкции вынужденно принимали во внимание непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть за время, пока депеша совершит путешествие в оба конца. Это предполагало наличие «паузы для размышлений» и фиксировало несоответствие возможностей и желаний государственных лидеров.

Является ли баланс сил между государствами формальным или реализуется на практике без теоретического обоснования – равновесие того или иного вида всегда оставалось важнейшим элементом любого международного порядка, будь то на периферии, как в Римской и китайской империях, или в метрополии, как в Европе.

С началом промышленной революции темп изменений ускорился, а сила современных армий сделалась намного более разрушительной. Когда технологический разрыв велик, даже технологии в зачаточном состоянии – по современным меркам – способны обернуться геноцидом. Европейские технологии и европейские болезни внесли немалый вклад в уничтожение коренных цивилизаций Америки. С новыми достижениями науки потенциал уничтожения вырос многократно, а система призыва лишь умножила комплексное влияние технологии.

Появление ядерного оружия стало кульминацией этого процесса. В ходе Второй мировой войны ученые ведущих держав изучали строение атома – и способность высвобождать энергию. Победителями оказались США с их Манхэттенским проектом, в котором были заняты

лучшие умы Америки, Великобритании и других стран Европы. После первого успешного испытания атомной бомбы в июле 1945 года в пустыне штата Нью-Мексико Роберт Оппенгеймер, физик-теоретик, который возглавлял секретный проект по созданию ядерного оружия, в восторге от своего триумфа процитировал «Бхагавадгиту»: «Я – Смерть, Разрушитель миров».

Прежде войны строились на простом исчислении: прибыль от победы перевешивает расходы на войну, слабые пытались увеличить расходы сильных, чтобы исказить это уравнение. Союзы формировались ради укрепления могущества, не оставляя сомнений в расстановке сил, дабы определить казус белли (насколько устранение сомнений в истинных намерениях вообще возможно в системе суверенных государств). Расходы на военные конфликты считались менее затратными по сравнению с последствиями поражения. По контрасту, ядерная эпоха обзавелась оружием, использование которого сулит расходы, непропорциональные любым возможным выгодам.

Эта эпоха породила дилемму: как «уложить» деструктивный потенциал современного оружия в нравственный или политический контекст преследуемых целей? Перспективы для всякого международного порядка – фактически для выживания человечества – срочно требовали ослабления, а в идеале полной ликвидации конфликтов между ведущими державами. Отсюда теоретические поиски «предела напряжения», то есть точки, переход за которую вынудит сверхдержаву применить всю полноту своих военных возможностей.

Стратегическая стабильность теперь формулировалась как баланс, при котором ни одна из сторон не станет использовать оружие массового уничтожения, поскольку противник в состоянии нанести ответный удар сопоставимой катастрофичности. В ходе серии семинаров в Гарварде, Калифорнийском технологическом институте, Массачусетском технологическом институте и в корпорации «Рэнд», проведенных в 1950-х и 1960-х годах, изучалась доктрина «ограниченного использования», которая предполагала применение ядерного оружия исключительно на поле боя или для нанесения ударов по военным целям. Теоретические усилия не увенчались успехом; сколько ни предлагай ограничений, современные технологии, едва «порог» ядерной войны переступлен, сулили отказ от предварительных

договоренностей и неизбежную эскалацию конфликта. В конечном счете стратеги с обеих сторон молчаливо сошлись на концепции взаимного гарантированного уничтожения как на механизме обеспечения мира на планете. Исходя из того, что обе стороны обладали ядерным арсеналом, способным пережить нападение, целью стало стремление уравновесить угрозу, чтобы никто не отважился перейти от слов к делу.

К концу 1960-х годов преобладающая стратегическая доктрина сверхдержав опиралась на способность нанести «неприемлемые» по масштабам потери предполагаемому противнику. Что именно противник считал неприемлемым, определялось, конечно, «на глазок»; подобные вопросы не обсуждались.

Подобные расчеты видятся ныне сюрреалистическими, тактика сдерживания строилась на «логических» сценариях, предполагавших такой уровень потерь, понесенных в считанные дни или часы, который превосходит совокупные потери за четыре года мировой войны. Поскольку ни у кого не было опыта использования этого оружия на практике, сдерживание зависело в значительной степени от умения воздействовать на противника психологически. Когда в 1950-х годах Мао заявил о готовности Китая потерять сотни миллионов человек в ядерной войне, на Западе его слова восприняли как симптом эмоционального (или идеологического) расстройств. Однако, по сути, китайским лидером руководил трезвый расчет: чтобы противостоять военным возможностям за пределами предыдущего человеческого опыта, необходимо продемонстрировать готовность к самопожертвованию за пределами человеческого понимания. К слову, шок, который испытали в западных столицах и в странах Варшавского договора после этого заявления, кажется несколько надуманным – ведь собственные доктрины сверхдержав тоже строились на учете апокалиптических рисков. Если выразиться затейливее, доктрина взаимного гарантированного уничтожения предполагала, что лидеры сверхдержав действуют в интересах мира, намеренно подвергая свое гражданское население угрозе гибели.

Предпринималось много усилий, чтобы разрешить дилемму обладания огромным арсеналом, который не может быть использован и угроза использования которого неправдоподобна. Разрабатывались комплексные сценарии войны. Но ни одна из сторон, насколько мне

известно (а некоторое время я находился в гуще событий), не приблизилась к «точке невозврата» в ситуации с применением ядерного оружия, несмотря на все сложности в отношениях между сверхдержавами^[125]. Не считая кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда советской воинской части первоначально разрешили использовать ядерное оружие для самозащиты, никто всерьез не задумывался над применением атомной бомбы – не важно, друг против друга или против неядерных третьих стран.

Таким образом, наиболее грозное оружие, расходы на которое составляли львиную долю в оборонном бюджете сверхдержав, утратило актуальность для преодоления фактических кризисов, возникавших в мире. Взаимное самоубийство превратилось в механизм поддержания международного порядка. Когда во время холодной войны Вашингтон и Москва регулярно бросали вызов друг другу, это была имитация войны. В разгар ядерной эпохи, как ни удивительно, ключевое значение имели обычные вооруженные силы. Военные столкновения того времени происходили на отдаленной периферии – Инчхон, дельта реки Меконг, Луанда, Ирак и Афганистан. Мерилом успеха являлась эффективность поддержки местных союзников. Короче говоря, стратегические арсеналы ведущих держав, несоизмеримые с мыслимыми политическими целями, создавали иллюзию всемогущества – иллюзию, которую опровергал ход событий.

Именно в этом контексте в 1969 году президент Никсон начал официальные переговоры с СССР по ограничению стратегических вооружений (у нас эти переговоры обозначаются как SALT^[126]). Они завершились подписанием в 1972 году соглашения, которое установило предельную численность пусковых установок и баллистических ракет, а число участков, защищенных ПРО, ограничило до одного для каждой сверхдержавы (по сути, превратив эти участки в лагеря обучения, хотя полное развертывание ПРО США, по оценке Никсона, в 1969 году требовало двенадцати участков). Логика решения была такова: конгресс США отказался одобрять ПРО более чем двух участков, следует выстраивать тактику сдерживания на основе взаимного гарантированного уничтожения. Имеющегося наступательного ядерного оружия с каждой стороны было достаточно – на самом деле более чем достаточно – для обеспечения неприемлемого уровня потерь. Отсутствие ПРО устраняло любые

неопределенности из этого расчета взаимного уничтожения, гарантируя сдерживание – и гибель обеих стран, если сдержать противника не удастся.

На саммите в Рейкьявике в 1986 году Рейган предложил забыть о принципе взаимного гарантированного уничтожения. Он высказался за полное уничтожение всего наступательного оружия и за отмену Договора о противоракетной обороне, что позволит развивать оборонительные системы. Его целью было покончить с концепцией взаимного гарантированного уничтожения через запрет наступательного оружия и развитие систем противоракетной обороны в качестве инструмента «страхования рисков». Но Горбачев верил – ошибочно, – что программа противоракетной обороны США уже реализуется полным ходом, а Советский Союз, не обладая эквивалентной технико-экономической базой, не в состоянии конкурировать с Америкой. Поэтому он настаивал на сохранении Договора о ПРО. От гонки стратегических вооружений СССР фактически отказался спустя три года – так закончилась холодная война.

С тех пор количество стратегических ядерных наступательных вооружений неуклонно сокращалось – сначала при Джордже Буше-старшем, а затем при Обаме; в рамках соглашения с Россией уничтожено около полутора тысяч боеголовок с каждой стороны, это приблизительно 10 процентов от числа боеголовок, имевшихся в момент пика господства концепции взаимного гарантированного уничтожения. (Даже нынешнего сокращенного количества оружия более чем достаточно, чтобы реализовать на практике идею взаимного гарантированного уничтожения.)

Ядерный баланс оказал парадоксальное влияние на международный порядок. Исторический баланс сил обеспечил доминирование Запада над колониальным миром; напротив, ядерный баланс – тоже порождение Запада – принес противоположный эффект. Военное превосходство развитых стран над развивающимися стало несравнимо большим, чем бывало когда-либо прежде. Но поскольку значительная часть военных усилий теперь сводилась к развитию ядерного оружия, использование которого считалось возможным только при самом серьезном кризисе, региональные державы получили возможность «подправить» общий военный баланс с помощью

стратегии, ориентированной на затягивание любой войны за пределы готовности населения «развитой» страны ее поддерживать – так было с войнами Франции в Алжире и Вьетнаме, с войнами США в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане и с войной Советского Союза против Афганистана. (Везде, кроме Кореи, войны завершились односторонним уходом формально более могущественного участника после затяжного противостояния обычных вооружений.) Асимметричные войны разворачивались «на полях» традиционных доктрин о линейных операциях на вражеской территории. Партизанские силы, которые не защищают конкретную территорию, могут сосредоточиться на нанесении потерь и подрыве политической воли противника продолжать конфликт. В этом смысле технологическое превосходство обернулось геополитической импотенцией.

Проблема распространения ядерного оружия

С окончанием холодной войны угроза ядерного конфликта между существующими ядерными сверхдержавами, по сути, исчезла. Но распространение технологий, особенно технологии производства ядерной энергии в мирных целях, значительно расширило возможности распространения ядерного оружия. Обострение идеологической напряженности и продолжение застарелых региональных конфликтов стимулируют интерес к приобретению ядерного оружия, в том числе у государств-изгоев и у негосударственных структур. Взаимная безопасность, на которой строилась тактика сдерживания в годы холодной войны, перестала быть эффективной: новые участники «ядерного клуба» ею не озабочены, не говоря уже о негосударственных структурах. Распространение ядерного оружия в итоге превратилось во всеобъемлющую стратегическую проблему современного международного порядка.

Осознавая эту опасность, США, Советский Союз и Соединенное Королевство составили Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и пригласили все страны подписать его в 1968 году. Этот документ призван не допустить дальнейшего распространения ядерного оружия (Соединенные Штаты, СССР и Великобритания подписали договор в 1968 году, а Франция и Китай – в 1992-м). Странам, не обладающим ядерным оружием, обещана помощь со стороны «ядерных» государств в области мирного использования технологий, если эти страны гарантируют, что их ядерные программы останутся сугубо невоенными. На момент написания этой книги к данному договору присоединились 189 стран.

Тем не менее глобальное нераспространение сталкивается с немалыми трудностями в попытках утвердить себя как международную норму. Трактующий некоторыми как разновидность «ядерного апартеида» и воспринимаемый во многих странах как «ущемление» со стороны богатых государств, ДНЯО нередко предстает не юридически обязательным запретом, а неким комплексом целей, в справедливости и обоснованности которого еще нужно убедить. Нелегальную деятельность по созданию ядерного оружия

непросто выявить, поскольку первые стадии процесса в этом случае аналогичны первым этапам программы мирного использования ядерной энергии – программы, которую ДНЯО одобряет. Договор запрещает таким странам, как Ливия, Сирия, Ирак и Иран, развивать секретные ядерные программы в нарушение гарантий неприсоединения, но он не сумел предотвратить развитие этих программ – или, как в случае с Северной Кореей, не помешал стране выйти из ДНЯО в 2003 году и приступить к испытаниям и распространению ядерных технологий вне сферы международного контроля.

Нарушило какое-либо государство условия ДНЯО или не согласно с неким конкретным пунктом договора, балансирует на грани соответствия документу или просто отказывается признавать нераспространение в качестве международной нормы – во всех этих случаях налицо отсутствие эффективного международного механизма принуждения. Упреждающие меры пока были приняты Соединенными Штатами только против Ирака – это был дополнительный стимул для войны против Саддама Хусейна – и Израилем против того же Ирака и Сирии; Советский Союз размышлял о подобном шаге в отношении Китая в 1960-х годах, но в конечном счете воздержался.

Так или иначе, ДНЯО позволил достичь ряда существенных успехов в обеспечении согласованного отказа от ядерных программ. Южная Африка, Бразилия, Аргентина и несколько «постсоветских» республик заявили о своем безъядерном статусе, хотя их ядерные программы близились к завершению или демонстрировали значительный технический прогресс. В то же время, если считать с исчезновения американской монополии в 1949 году, ядерное оружие оказалось в распоряжении СССР / России, Великобритании, Франции, Израиля, Китая, Индии, Пакистана, Северной Кореи, а Иран вот-вот им обзаведется. Кроме того, Пакистан и Северная Корея широко распространяют свои ядерные технологии по всему миру.

Такое «растекание» повлияло на ядерное равновесие различным образом: все зависело от предполагаемой готовности нового члена «ядерного клуба» использовать данное оружие. Британские и французские ядерные потенциалы вносят лишь малый вклад в совокупное вооружение НАТО. Они создавались как крайняя мера, как гарантия на случай ухода Соединенных Штатов Америки из Европы и

если некая страна-соперница начнет угрожать британским и французским национальным интересам, а также как способ сохранить нейтралитет в ядерной войне между сверхдержавами; очевидно, что все это маловероятно. Индийские и пакистанские ядерные боеголовки нацелены в первую очередь друг против друга и влияют на стратегическое равновесие в двух отношениях. Риск эскалации в некоторой степени снижает вероятность полномасштабной традиционной войны на субконтиненте. Но, поскольку системы атомного оружия весьма уязвимы и технически чрезвычайно сложно защитить их от атак оружия малого радиуса действия, неизбежно присутствует «соблазн упреждения», особенно в ситуациях, когда эмоции накалены. Короче говоря, распространение ЯО порождает классическую дилемму ядерной эпохи: даже когда ядерное оружие уменьшает вероятность войны, оно в гигантской степени увеличивает число потенциальных жертв, буде конфликт все-таки разгорится.

«Ядерные» отношения Индии с Китаем в известной мере напоминают тактику сдерживания, к которой прибегали противники в холодной войне; то есть налицо тенденция к предотвращению использования ядерных арсеналов. Пакистан же довольно активно вмешивается в региональные и глобальные проблемы. Покровительствуя Ближнему Востоку и располагая значительным исламистским присутствием в собственных границах, он порой выступает то как защитник, то как производитель ядерного оружия. Безусловно, появление ядерного оружия в Иране усугубит ситуацию: об этом подробно говорилось в главе 4.

Со временем продолжающееся распространение ядерного оружия повлияет даже на общий ядерный баланс между сверхдержавами. Лидеры нынешних ядерных держав обязаны готовиться к худшему в чрезвычайных ситуациях. В частности, речь не только о ядерной угрозе со стороны другой сверхдержавы, но и о последствиях распространения ЯО. Арсеналы «новичков» отражают убежденность в том, что эти страны, помимо сдерживания основного потенциального противника, должны быть готовы к распространению ЯО по остальному миру. Если каждая крупная ядерная держава будет мыслить подобным образом, распространение ЯО приведет к пропорциональному увеличению арсеналов до юридически установленных пределов (и их превышению). Кроме того,

«перекрывающие» ядерные балансы будут становиться все более комплексными в связи с дальнейшим распространением ЯО. Относительно стабильный порядок времен холодной войны сменится международным порядком, в котором желание государства, обладающего ядерным оружием, принимать «апокалиптические» решения может обеспечить этому государству преимущество над соперниками.

Для защиты против ядерных сверхдержав даже страны, обладающие ядерным потенциалом, тяготеют к негласной или явной поддержке такой сверхдержавы (примеры – Израиль, европейские ядерные страны, Япония, стоящая на пороге получения ядерного потенциала, и другие государства, в том числе на Ближнем Востоке). Вполне может случиться, что распространение ядерного оружия приведет к системе союзов, сравнимых по степени прочности с союзами, которые сложились перед Первой мировой войной, но намного превосходящих последние по глобальности масштабов и разрушительной силе.

Особенно серьезный дисбаланс может возникнуть, если страна, обладающая ЯО, достигнет наступательной мощи, сопоставимой с мощью ядерных сверхдержав (задача абсолютно посильная для Китая и Индии). Любая крупная ядерная страна, если она сумеет остаться в стороне от ядерного конфликта между другими, превратится в доминирующую силу. В многополярном ядерном мире подобное тоже может произойти, если такая страна поддержит одну из сверхдержав, поскольку их объединенные силы получают стратегическое преимущество. Примерный ядерный баланс, который существует сегодня между сверхдержавами, может утратить стратегическую стабильность; и чем ниже согласованное количество боеголовок в России и США, тем справедливее данное утверждение.

Любое дальнейшее распространение ядерного оружия увеличивает возможности ядерной конфронтации; возрастает опасность диверсии, преднамеренного или несанкционированного нападения. В конечном счете это оказывает влияние на баланс между ядерными сверхдержавами. А появление ядерного оружия в Иране и продолжение ядерной программы Северной Кореи в нарушение всех текущих договоренностей подадут пример другим странам – пример следовать по тому же пути.

В этих условиях Соединенным Штатам следует постоянно модернизировать собственные технологии. В годы холодной войны ядерные технологии США считались авангардом научных достижений, своего рода фронтиром познания, освоение которого виделось важнейшей стратегической задачей. Ныне же техническим умам настоятельно рекомендуют посвящать время и силы проектам гражданской значимости. Может быть, отчасти в результате этого запрет на разработку ядерных технологий рассматривается как ненарушимый даже в странах, обладающих ЯО, хотя другие военные технологии неуклонно развиваются. Соединенные Штаты должны лидировать в области ядерных технологий, пусть продолжая вести переговоры о недопущении применения ЯО.

При отсутствии во второй половине прошлого века крупного конфликта между сверхдержавами можно утверждать, что ядерное оружие сделало мир менее расположенным к войне. Но сокращение числа войн сопровождалось грандиозным ростом насилия со стороны негосударственных структур и других стран – просто слово «война» предпочитали не произносить. Сочетание высочайшего риска и идеологического радикализма открыло возможности для асимметричных войн и для вызовов со стороны негосударственных структур, подрывая сдерживание в долгосрочной перспективе.

Возможно, наиболее важной задачей нынешних ядерных держав является необходимость оценить собственную реакцию в случае фактического использования ЯО друг против друга. Во-первых, что должно быть сделано, чтобы предотвратить использование ядерного оружия в нарушение существующих соглашений? Если же ЯО все-таки пущено в ход, какие немедленные шаги нужно предпринять, чтобы остановить такую войну? Как возместить людской и социальный ущерб? Что можно сделать, чтобы не допустить ответного удара и в то же время обеспечить сдерживание – и принятие соответствующих мер, если тактика сдерживания не поможет? Поступь технического прогресса не должна затмевать чудовищную силу оружия, которое придумано человечеством, и относительную хрупкость балансов, препятствующих использованию этого оружия. ЯО ни в коем случае нельзя ставить в один ряд с обычными вооружениями. Международный порядок требует понимания между основными ядерными государствами и приверженности принципу

нераспространения, иначе этот порядок погибнет в пламени ядерной войны.

Мировой порядок и цифровые технологии

На протяжении большей части человеческой истории технологические изменения происходили в течение десятилетий, если не столетий, когда очередные открытия уточняли и дополняли новоусвоенные технологии. Даже радикальные инновации с течением времени перенимали что-то из предшествующих тактических и стратегических доктрин: танки, например, трактовались по прецедентам эпохи конных сражений, самолеты виделись еще одной формой артиллерии, линкоры концептуализировались как мобильные форты, а авианосцы – как передвижные взлетно-посадочные полосы. При всей своей разрушительной мощи даже ядерное оружие в некоторых отношениях представляет собой экстраполяцию прошлого опыта.

Современная эпоха колоссально ускорила темпы нарастания вычислительных мощностей и проникновения информационных технологий во все сферы бытия. Опираясь на свой опыт работы инженером в корпорации «Интел», Гордон Мур в 1960-х годах сделал вывод на основе тенденции, которую наблюдал воочию: мощность компьютерных процессоров удваивается каждые два года. «Закон Мура» оказался удивительно пророческим. Компьютеры уменьшались в размерах, дешевели и экспоненциально развивались; в итоге сегодня передовые модели встраиваются практически в любой предмет – телефон, часы, автомобиль, бытовую технику, системы вооружения, беспилотные летательные аппараты – и даже в сам человеческий организм.

Революция в компьютерных науках первой привлекла столько индивидов и форм деятельности в единую среду и позволила отслеживать все действия на едином технологическом языке. Киберпространство^[127] – это слово придумали в 1980-х, когда сама идея выглядела еще гипотетической, – ныне колонизировало пространство физическое и, по крайней мере, в крупных городах начинает сливаться с последним. Коммуникации в киберпространстве, а также между его экспоненциально распространяющимися узлами, являются практически мгновенными. Занятия, которые всего поколение назад были ручным или бумажным трудом – чтение,

покупки в магазинах, образование, промышленные научные исследования, политические кампании, финансовые операции, ведение архивов и статистики, разведка, составление военных стратегий, – «пропускаются» через компьютеры, и человеческая деятельность становится все более и более «цифровой», превращаясь в элемент единой, «квантифицируемой и подлежащей анализу» системы.

С каждым годом это все более верно, ведь количество устройств, подключенных к Интернету, сегодня равняется примерно десяти миллиардам и к 2020 году вырастет до пятидесяти миллиардов, «Всеобщий Интернет», ждет нас впереди. Новаторы наших дней воображают мир распределенных вычислений, мир миниатюрных устройств обработки данных, встроенных в предметы повседневной жизни, – «умные дверные замки, зубные щетки, наручные часы, фитнес-трекеры, детекторы дыма, камеры наблюдения, микроволновки, игрушки и роботы» – или плавающих по воздуху, обозначая и формируя свою среду посредством «умной пыли». Каждый предмет должен быть подключен к Интернету и запрограммирован на связь с центральным сервером или с другими сетевыми устройствами.

Последствия революции ощущаются на всех уровнях человеческого общества. Люди со смартфонами (таковых в настоящее время, по оценкам, около миллиарда) владеют информацией и аналитическими мощностями, недоступными многим спецслужбам всего поколение назад. Корпорации собирают и мониторят данные, которыми обмениваются владельцы смартфонов, и в результате получают влияние и возможности, превосходящие возможности многих современных государств и более «традиционных» компаний. Правительства, опасаясь уступить соперникам, вынуждены идти в киберпространство – практически на ощупь. Как и в случае с любой другой технологической инновацией, велико искушение увидеть в этом новом мире стратегическое преимущество.

Изменения произошли так быстро, что помешали множеству экспертов, лишенных технического опыта, трезво оценить их глобальные последствия. Они увлекают человечество в области, прежде невозможные и по-настоящему таинственные. В результате многие из самых революционных технологий и методов ограничены в

использовании только возможностями и моральными принципами наиболее продвинутых в техническом отношении людей.

Ни одно правительство, даже тоталитарное, не в состоянии остановить поток информации – или противостоять тенденции перевести множество операций в цифровой формат. Большинство демократий опираются на «укоренившийся инстинкт»: попытка ограничить влияние информационной революции невозможна и даже аморальна. Большинство стран за пределами либерально-демократического мира отказалось от желания «обуздать» эти перемены и вместо этого пытается овладеть данными технологиями. Каждая страна, компания и индивид в настоящее время участвуют в технологической революции как субъекты или как объекты. С позиций, излагаемых в данной книге, имеет значение воздействие «цифры» на перспективы международного порядка.

Современный мир наследует арсенал ядерного оружия, способного уничтожить цивилизованную жизнь. Но, пусть последствия ядерного конфликта катастрофические, значимость и возможность применения ЯО еще допустимо анализировать на основе отдельных циклов войны и мира. Новая технология Интернета открывает совершенно новые перспективы. Киберпространство бросает вызов всему историческому опыту. Оно повсюду, но не угрожает само по себе; угроза связана с его использованием. Даже так: угроза, возникающая из киберпространства, неясна и расплывчата, ее трудно охарактеризовать. Распространенность сетевых коммуникаций в социальном, финансовом, промышленном и военном секторах сулит немалые плюсы; однако эта распространенность также революционизировала уязвимость. Превосходя большинство правил и норм (и техническую компетенцию многих регуляторов), она, в некоторых отношениях, создала такое состояние природы, о котором прежде размышляли философы и побег от которого, следуя Гоббсу, становится мотивом и стимулом для создания политического порядка.

До цифровой эпохи возможности наций оценивались в терминах рабочей силы, промышленной базы, географии, экономики и морали. Существовало четкое различие периодов войны и мира. Военные действия провоцировались конкретными событиями и велись в соответствии со стратегиями, для которых формулировались понятные доктрины. Спецслужбы играли свою роль, главным образом оценивая,

а иногда и подрывая способности и возможности противников; их деятельность ограничивали негласные общие нормы поведения или, как минимум, общий опыт, нарабатываемый на протяжении десятилетий.

Интернет-технологии превзошли стратегии и доктрины – по крайней мере, на некоторое время. В новую эпоху появляются возможности, для которых пока еще нет единого объяснения или даже понимания. У тех, кто владеет ими, почти отсутствуют какие бы то ни было ограничения, явные или неявные. Когда люди неоднозначной приверженности способны предпринимать действия все большей амбициозности и назойливости, само определение государственной власти оказывается под угрозой. Сложность ситуации усугубляется тем, что легче предпринимать кибератаки, чем защищаться от них, и это, похоже, стимулирует уклон в сторону развития наступательных информационных технологий.

Опасность подкрепляется достоверным отрицанием своей причастности со стороны тех, кого подозревают в таких действиях, а также отсутствием международных соглашений, для которых, вдобавок, даже если они подписаны, отсутствует система правоприменения. Всего один ноутбук способен привести к глобальным потрясениям. Одиночка, в распоряжении которого имеется достаточная вычислительная мощность, может получить доступ к конкретному домену и отключить, а то и уничтожить критические элементы инфраструктуры, оставаясь в полной анонимности. Электрические сети можно обесточить вместе с электростанциями, причем пребывая физически за пределами той или иной страны (или, по крайней мере, в традиционном понимании термина «территория»). Некий подпольный хакерский синдикат уже продемонстрировал, как проникать в защищенные правительственные сети и обнародовать секретную информацию из них – в масштабах, угрожающих стабильности дипломатических отношений. Вирус «Стакнет», пример поддерживаемой государством кибератаки, привел к приостановке иранской ядерной программы, причем до степени, сравнимой с последствиями ограниченного военного удара. Русский бот в 2007 году парализовал связь в Эстонии на несколько дней.

Нынешнее положение дел, пусть даже временно выгодное для передовых стран, не может длиться бесконечно. Путь к мировому

порядку наверняка окажется долгим и непрямым, но значительного прогресса не достичь, если один из важнейших элементов международной жизни будет исключен из серьезного диалога. Маловероятно, что все страны, в особенности те, где бытуют иные, отличные от наших культурные традиции, придут независимо друг от друга к аналогичным выводам о характере и допустимости использования новых «интрузивных» мощностей. Необходимо хотя бы попытаться наметить очертания жизни в новых условиях. Иначе все и дальше будут действовать раздельно, полагаясь на интуицию и укрепляя вероятность хаотического итога. Действия в виртуальном мире сетей вполне способны привести к контрмерам в физической реальности, особенно когда они потенциально чреватые уроном, прежде характерным исключительно для вооруженного нападения. При отсутствии ограничений и соглашения о взаимной сдержанности кризисная ситуация, вероятно, рано или поздно возникнет, просто статистически; само понятие международного порядка может пасть жертвой роста напряженности.

В прочих категориях стратегических возможностей правительства осознали саморазрушительную силу абсолютистского преследования национальных интересов. Как следствие, ныне политики придерживаются более умеренных курсов, даже по отношению к потенциальным противникам: это своего рода комбинация сдерживания и взаимных ограничений, в сочетании с мерами по предотвращению кризисов, спровоцированных неправильным толкованием или недопониманием.

Киберпространство сегодня стало стратегически необходимым. На момент написания данной книги его пользователи, будь то отдельные люди, корпорации или государства, полагаются только на собственные суждения при осуществлении своей кибердеятельности. Глава Кибернетического командования США предсказывает, что «следующая война начнется в киберпространстве». Невозможно представить себе международный порядок, если среда, через которую реализуются стратегии выживания и осуществляется прогресс, остается без каких-либо международных стандартов, в поле принятия односторонних решений.

История войн показывает, что всякий технологический наступательный потенциал в конечном счете компенсируется

адекватными защитными мерами, хотя не каждая страна в состоянии их себе позволить. Означает ли это, что технологически менее развитые страны должны искать помощи у государств, передовых с точки зрения развития высоких технологий? Или же нас ожидает конкуренция «напряженных» региональных балансов? Сдерживание, которое, применительно к ядерному оружию, воплотилось в концепцию баланса разрушительных сил, не может служить прямой аналогией, поскольку в киберпространстве наивысшая угроза заключается во внезапном нападении: атака обнаружена, только когда она уже ведется.

И в киберпространстве невозможно опираться на принцип симметричного возмездия, столь важный для ядерного оружия. Если кибератака ограничена в масштабе или в силе, «адекватный ответ» может иметь совершенно различные последствия для Соединенных Штатов, например, и для агрессора. Скажем, если финансовая инфраструктура крупной промышленной экономики подорвана цифровой атакой, вправе ли жертва напасть в ответ на сопоставимые – потенциально мизерные в сравнении – активы противника? Или же она должна контратаковать только компьютеры, участвующие в нападении? Ни та, ни другая реакция не будет, пожалуй, достаточно эффективной. Возникает вопрос, подразумевает ли «виртуальная» агрессия «кинетический» ответ – и если да, то какой силы и какого уровня возмездия? Новый мир теории сдерживания и стратегической доктрины в настоящее время пребывает во младенчестве и требует самого пристального внимания.

В конце концов, организация глобальной киберсреды станет насущной необходимостью. Возможно, такая организация не будет поспевать за развитием технологий, однако сам процесс послужит воспитанию лидеров, осознанию ими опасности и ее последствий. Даже если международные соглашения утрачивают значение при вооруженном конфликте, они способны, по крайней мере, предотвратить путь к катастрофе, вызванной непониманием.

Проблема таких технологий в том, что невозможно установить правила поведения, если отсутствует общее понимание хотя бы ряда их ключевых возможностей. Но именно эти ключевые возможности крупные игроки раскрывают весьма неохотно. Соединенные Штаты упрекали Китай в воровстве коммерческих тайн посредством

кибератак, причем уточнили, что они носят «беспрецедентный характер». Но в какой мере сами США готовы рассекретить свои кибероперации?

Так или иначе, асимметрия и подобие «врожденного» мирового беспорядка составляют фундамент отношений между кибердержавами в дипломатии и в стратегии. Акцент множества стратегических соперничеств смещается из физического пространства в информационное, в область сбора и обработки данных, проникновения в сети, а также в среду психологических манипуляций. Отсутствие хотя бы начальных правил международного поведения порождает кризис, возникающий из внутренней динамики системы.

Человеческий фактор

С начала современной эры, заря которой возшла в шестнадцатом веке, политические философы обсуждали взаимоотношения человека и обстоятельств, формирующих его жизнь. Гоббс, Локк и Руссо отстаивали биолого-психологический «портрет» человеческого сознания и формулировали свои политические взгляды, исходя из этого. Американские отцы-основатели, в частности, Мэдисон в 10-м номере «Федералиста», придерживались аналогичного мнения. Они прослеживали эволюцию общества через факторы, «посеянные в природе человека»: могучую, но подверженную ошибкам силу человеческого разума и присущую всякому индивиду «любовь к себе», из взаимодействия которых «возникают различные мнения», а также разнообразие возможностей, «из коего обладание разными формами и видами собственности проистекает», приводя к «разделению общества на фракции и партии». Пусть перечисленные мыслители по-разному анализировали конкретные факты и делали разные выводы, все они опирались на представление о человечестве, чьи неотъемлемые природа и опыт постижения реальности неизменны.

В современном мире человеческое сознание формируется через «фильтр», подобного которому прежде не было. Телевидение, компьютеры и смартфоны предлагают «тройное» и почти постоянное взаимодействие с экраном сутки напролет. Общение с другими людьми в физическом мире ныне безжалостно вытесняется виртуальным миром сетевых устройств. Последние исследования показывают, что взрослые американцы тратят в среднем около половины времени бодрствования перед экраном, и эти цифры продолжают расти^[128].

Каковы последствия этого культурного переворота для отношений между государствами? Политик решает множество задач, причем среди них преобладают те, которые сформированы историей и культурой данного общества. Он должен в первую очередь проанализировать текущее положение общества. По сути, здесь прошлое встречается с будущим; посему подобный анализ не может не учитывать обоих этих элементов. Затем он должен попытаться понять, куда ведет текущая траектория развития. Нужно устоять перед искушением отождествить политику с проецированием знакомого в

будущее, поскольку это путь к стагнации и упадку. Все чаще в эпоху технической и политической нестабильности мудрость советует избрать иной путь. Направляя общество оттуда, где оно сейчас, туда, где оно никогда не бывало, новый курс сулит свои преимущества и недостатки, всегда, как кажется, уравновешивающие друг друга. Чтобы двинуться по дороге, которой раньше никто не ходил, требуются сила воли и мужество: воля – потому что выбор не очевиден; мужество – потому что дорога будет поначалу одинокой. А затем государственным деятелям следует убедить сограждан присоединиться к этому походу. Великие государственные деятели (Черчилль, оба Рузвельта, де Голль и Аденауэр) обладали видением и решимостью; сегодня такие качества встретишь редко.

При всех благах, которые принес Интернет, он сосредоточен больше на актуальном, чем на протяженном во времени, на фактах, а не на концепциях, на общих ценностях, а не на интроспекции. Знание истории и географии уже не принципиально для тех, кто может получить эти данные нажатием кнопки. Образ мышления, подходящий для одиноких политических дорог, не слишком очевиден тем, кто ищет подтверждений своим взглядам у сотен, а то и тысяч друзей в «Фейсбуке».

В эпоху Интернета мировой порядок часто приравнивается к утверждению, что если люди имеют возможность свободно получать и обмениваться информацией, то врожденное человеческое стремление к свободе рано или поздно реализует себя, а история будет двигаться «на автопилоте». Однако философы и поэты уже давно выявили в мыслительном процессе три составляющие: информацию, знания и мудрость. Интернет фокусируется на информации, распространение которой он обеспечивает в геометрической прогрессии. Появляются все более сложные системы, позволяющие, в частности, отвечать на фактические вопросы, сами по себе стабильные во времени. Поисковые системы обрабатывают комплексные запросы все быстрее. Тем не менее избыток информации парадоксальным образом препятствует приобретению знаний – и вынуждает мудрость отступить даже дальше, чем раньше.

Поэт Т. С. Элиот подметил это в своем «Камне»:

«Где Жизнь, которую мы потеряли в жизни?
Где мудрость, которую мы потеряли в знанье?»

Где знание, которое мы потеряли в сведениях?»^[129]

Факты редко говорят сами за себя; их смысл, анализ и интерпретация, по крайней мере во внешней политике, зависят от контекста и значимости. Ныне все больше вопросов трактуются как сугубо фактические, и потому крепнет уверенность, что для каждого вопроса должен существовать верифицируемый ответ, что проблемы и решения не заслуживают осмысления – достаточно просто «проглядеть». Но в отношениях между государствами – и во многих других областях – информацию, чтобы она оказалась действительно полезной, нужно помещать в широкий контекст истории и опыта, дабы она превратилась в фактические сведения. И повезло тому обществу, чьи лидеры хотя бы иногда поднимаются до мудрости.

Приобретение знаний из книг несет особый опыт, отличный от Интернета. Чтение занимает время; чем сложнее авторский стиль, тем дольше понимание. Поскольку физически невозможно прочитать все книги по конкретной теме, а тем более все книги на свете, либо усвоить сполна все прочитанное, обучение по книгам стимулирует концептуальное мышление, то есть способность распознавать сопоставимые факты и события и строить модели на будущее. А стиль как бы «увязывает» читателя с автором, или с темой, «сплетая» воедино суть и эстетику.

Традиционно другим способом приобретения знаний выступали личные беседы. Обсуждение и обмен идеями на протяжении тысячелетий обеспечивали эмоциональную и психологическую поддержку в дополнение к фактическому содержанию информации. Это, так сказать, нематериальные активы убеждения и личных качеств. Сегодня цифровая культура породила любопытное нежелание участвовать в персональных контактах, особенно наедине.

Компьютер до определенной степени решил проблему приобретения, сохранения и извлечения информации. Данные можно сохранять практически в неограниченном объеме и эффективно с ними работать. Вдобавок компьютер предоставил форматы хранения, невозможные в книжную эпоху. Он «упаковывает» данные, стиль не имеет значения для поиска или извлечения информации. Когда требуется одно решение, вырванное из контекста, компьютер предлагает функциональность, немислимую всего десять лет назад. Но одновременно он суживает поле зрения. Информация легко

доступна, коммуникации мгновенны, а потому утрачивается внимание к значению, теряется понимание того, что имеет значение. Такая динамика побуждает политиков ждать, пока проблема возникнет, а не предвосхищать ее, воспринимать принятие решений как череду не связанных между собой событий, а не как часть исторического континуума. Когда это происходит, манипулирование информацией заменяет ее осмысление в качестве основного инструмента политики.

Точно так же Интернет лишает общество исторической памяти. Данное обстоятельство описывается следующим образом: «Люди забывают то, что, как они думают, всегда можно уточнить, и помнят то, чего, как они считают, уточнить нельзя». Переместив столь много информации в пространство доступного, Интернет лишает человека желания запоминать. Коммуникационные технологии грозят сократить нашу способность к «внутреннему поиску» и увеличивают зависимость от технологий как инструмента и посредника мыслительной деятельности. Информация, доступная всегда и везде, стимулирует мысль исследователя, но не соответствует образу мышления лидера. Сдвиг в человеческом сознании может изменить саму природу человека и характер взаимодействия людей, вследствие чего человек перестанет быть самим собой. В эпоху книгопечатания на мир смотрели иначе, нежели в Средние века. Неужели «оптическое восприятие» мира не изменилось в компьютерную эру?

Западные история и психология до сих пор трактуют истину как нечто, не имеющее отношения к личности и предшествующему опыту наблюдателя. Тем не менее, наша эпоха находится на грани изменения концепции истины. Едва ли не каждый веб-сайт предлагает функции кастомизации на основе следящих интернет-кодов, которые позволяют установить предпочтения пользователя. Данные методы, как считается, побуждают пользователей «потреблять больше контента» и тем самым просматривать больше рекламы, этого истинного двигателя интернет-экономики. Кастомизация – лишь частное проявление глобального стремления научиться управлять человеческим выбором. Товары сортируются в соответствии с тем, «что могло бы вам понравиться»; онлайн-новости показываются по принципу «новости, которые вас заинтересуют». Два разных человека, обращающихся к поисковой системе с одинаковым запросом, не обязательно получают одинаковый ответ. Понятие истины в настоящее время становится относительным

и индивидуализируется, утрачивая свою универсальность. Информация предлагается как свободная. На самом деле мы платим за нее, предоставляя данные, которые будут использоваться посторонними лицами и таким образом, чтобы подбирать для нас соответствующую информацию.

Какова бы ни была польза такого подхода в сфере потребления, его влияние на политику может оказаться радикальным. В политике трудный выбор – повседневная рутина. Но где в мире глобальных социальных сетей индивиду найти уединенное пространство для обретения силы духа, потребной для принятия решений, по определению не допускающих консенсуса? Пророков, как говорят, не признают вовремя; они вещают «извне» привычного понимания – именно это и делает их пророками. В нашу эпоху пророчествам почти не осталось места. Всеобщий социальный эксгибиционизм и стремление «быть на связи» всегда и всюду разрушают конфиденциальность и тормозят развитие личностей, способных на «одинокие» решения.

Американские выборы, особенно президентские, демонстрируют еще одну сторону этой эволюции. Сообщалось, что в избирательной кампании 2012 года партии располагали данными на десятки миллионов потенциально независимых избирателей. Полученные в результате анализа социальных сетей, публичных сведений и медицинских записей, эти данные позволили составить профили на каждого избирателя – вероятно, более точные, нежели если бы человек опирался исключительно на память. В итоге кандидаты выбирали технологии контакта – то ли положиться на личные визиты друзей (а также сообщения друзей из Интернета), то ли рассылать персональные письма (по анализу публикаций в социальных сетях), то ли проводить групповые встречи.

Президентские кампании постепенно становятся таким медиасоперничеством между ведущими операторами Интернета. Раньше велись содержательные дебаты о государственном управлении, а теперь кандидаты лишь озвучивают формулировки маркетологов, добытые методами, которые всего поколение назад сочли бы научной фантастикой. Основная роль кандидатов – сбор средств, а не обсуждение идеологии. Позволяют ли маркетинговые слоганы судить о взглядах кандидата – или же взгляды, выражаемые кандидатом, суть

плод изучения «больших данных», наиболее распространенных предпочтений и предрассудков аудитории? Способна ли демократия избежать эволюции в сторону демагогических побед, основанных на эмоциональной привлекательности для массового избирателя, а не на осмыслении, которое грезилось отцам-основателям? Если разрыв между личными качествами, необходимыми для победы на выборах и для управления страной, станет слишком велик, концептуальное понимание и ощущение истории, неотъемлемые элементы внешней политики, могут быть утрачены – или же развитие, культивирование этих качеств может занять основную часть первого президентского срока, вследствие чего США лишатся лидирующей роли.

Внешняя политика в цифровую эру

Вдумчивые наблюдатели оценивают глобализующие преобразования, начавшиеся с появлением Интернета и современных компьютерных технологий, как зарю новой эры – эры широких возможностей и движения к миру. Новые технологии способствуют прогрессу и повышают степень прозрачности общества, например, делая общеизвестными злоупотребления властей и обеспечивая постепенное устранение культурных барьеров непонимания. Оптимисты отмечают, и вполне обоснованно, какие великолепные перспективы сулят новые каналы коммуникации, возникшие благодаря глобальным сетям. Компьютерные сети и «умные» устройства, как подчеркивается, позволяют создать новые социальные, экономические и экологические условия. Оптимисты предвкушают преодоление ранее неразрешимых технических проблем посредством объединения компьютерных «разумов» и мощностей.

Некоторые мыслители полагают, что принципы сетевых коммуникаций, при правильном применении в сфере международных отношений, способны помочь и в решении вековой проблемы насильственных конфликтов. Традиционное этническое и религиозное соперничество может прекратиться в эпоху Интернета, как утверждает эта теория, поскольку «люди, которые пытаются увековечить мифы о религии, культуре, этнических узах и прочем подобном, вынуждены теперь подстраиваться под чрезвычайно информированных слушателей. При большем количестве данных у каждого появляется более широкий контекст». Примирить национальные соперничества и разрешить исторические проблемы теперь проще, ибо «при технологиях, устройствах, платформах и базах данных, которыми мы сегодня обладаем, для правительств становится куда сложнее выставлять претензии такого рода, не только из-за наличия убедительных доказательств неправоты, но и потому, что все имеют доступ к исходным материалам». Следовательно, распространение цифровых сетей есть положительный факт: новые сети приведут к снижению числа злоупотреблений, позволят смягчить социальные и политические противоречия и помогут прежде разделенным народам сплотиться в гармоничную глобальную систему.

Оптимизм этой точки зрения воспроизводит лучшие стороны видения Вудро Вильсона – видения мира, объединенного демократией, открытой дипломатией и общими правилами. В качестве проекта политического или социального порядка она также ставит вопросы, аналогичные тем, какие возникали в отношении доктрины Вильсона, – о разнице между благими пожеланиями и практикой.

Конфликты внутри обществ и между обществами происходили с незапамятных времен. Причины этих конфликтов ни в коей мере не ограничиваются отсутствием информации или нежеланием делиться сведениями. Конфликты возникали не только между обществами, которые не понимали друг друга, но и между теми, которые понимали друг друга слишком хорошо. Даже изучая один и тот же исходный материал, люди склонны не соглашаться в оценке его значения или субъективной ценности. Там, где ценности, идеалы или стратегические цели находятся в фундаментальном противоречии, прозрачность и коммуникационная связность способны как унять конфликт, так и усугубить его.

Новые социальные и информационные сети стимулируют развитие и творчество. Они позволяют людям выражать свои мнения и сообщать о несправедливостях, иначе, вполне возможно, оставшихся без внимания. В кризисных ситуациях они обеспечивают исключительную возможность мгновенного контакта и обнародования информации – тем самым потенциально предотвращая конфликты по недоразумению.

Наряду с этим упомянутые сети также сводят вплотную различные, порой несовместимые ценностные системы. Появление интернет-новостей и комментариев, равно как и избирательных стратегий, основанных на маркетинге данных, не то чтобы утихомирило партийное соперничество в американской политике; наоборот, оно лишь предоставило доступ на «политическую кухню» более широкой аудитории. На международном уровне события и суждения, прежде остававшиеся неведомыми широкому кругу, ныне получают мгновенную огласку по всему миру и используются в качестве предлогов для агитации и насилия – как случилось в мусульманском мире после публикации антиисламских карикатур в датской газете и показа американского любительского фильма. В конфликтных ситуациях социальные сети могут не только способствовать падению

традиционной социальной напряженности, но и, напротив, ее усиливать. Широкое распространение в Интернете видеозаписей о зверствах в Сирии, охваченной гражданской войной, укрепило, как представляется, решимость воюющих сторон, а не остановило волну смертей, тогда как пресловутое ИГИЛ использует социальные медиа, чтобы объявить о создании «халифата» и призывать к священной войне.

Отдельные авторитарные структуры могут исчезнуть вследствие распространения информации в Интернете или протестов, организованных через социальные сети; со временем их место займут более открытые представительные системы, провозглашающие гуманизм и солидарность. Но в других странах информационные технологии ведут к усилению мер подавления недовольства. Повсеместная установка датчиков слежения, анализ поведения, видеозаписи с камер наблюдения (кое-где они фиксируют каждый шаг человека буквально с самого рождения) и – это передовая компьютерных технологий – предвосхищение мыслей и желаний индивида^[130], – тут налицо как прогрессивные, так и репрессивные возможности. В этом отношении к числу наиболее значимых составляющих новых технологий следует отнести могущество, которыми они наделяют малые группы, стоящие во главе политических и экономических структур; это могущество позволяет обрабатывать и отслеживать информацию, формировать общественные дискуссии и, в некоторой степени, формулировать истину.

Запад приветствовал использование «Фейсбука» и «Твиттера» для организации революций в ходе «арабской весны». Тем не менее, когда освоившие цифровые технологии люди преуспевают в осуществлении первоначальных целей, применение этих технологий вовсе не гарантирует, что ценности, которые установятся в обществе, будут совпадать с ценностями творцов Интернета – или даже с ценностями большинства населения конкретной страны. Кроме того, технологии, используемые для организации демонстраций и протестов, с тем же успехом можно использовать для слежки и подавления. Сегодня большинство публичных пространств в любом крупном городе находится под постоянным видеонаблюдением, а владельца любого смартфона легко отследить в режиме реального времени. Согласно

выводам недавнего исследования, «Интернет сделал слежку проще, дешевле и удобнее».

Глобальный размах и скорость коммуникаций уничтожили различия между внутренними и международными потрясениями, равно как между государственными лидерами и вожаками самых радикальных групп. События, последствия которых ранее осознали бы спустя месяцы, теперь обретают мировую известность за несколько секунд. От политиков ждут формулировки позиций в течение нескольких часов и мгновенной реакции – причем эта реакция будет растиражирована по всему миру теми же сетями мгновенного обмена данными. Соблазн потакать требованиям «цифрового большинства» может вытеснить практику принятия решений, необходимых для прокладки комплексного курса в гармонии с долгосрочными целями. Прежнее разделение на информацию, знания и мудрость исчезает.

Новая дипломатия утверждает, что если достаточно большое количество людей объединяется ради публичного призыва к отставке правительства и транслирует свои требования в цифровом виде, это есть безусловное проявление демократии, обязывающие Запад оказать моральную и даже материальную поддержку. Такой подход побуждает западных лидеров (особенно американских) немедленно и недвусмысленно обозначить одобрение происходящего – в тех же социальных сетях, благодаря чему их отказ сотрудничать со свергаемым правительством будет ретранслирован через Интернет и обеспечит последующую смену власти и признание нового правительства.

Если старая дипломатия порой терпела неудачу в поддержке морально достойных политических сил, новая дипломатия рискует ввязаться в непрерывные интервенции, в отрыве от стратегии. Она постулирует моральные абсолюты для глобальной аудитории, не давая себе труда оценить долгосрочные намерения главных действующих лиц, их перспективы на успех и способность проводить долгосрочную политику. Мотивы основных групп, их умение действовать согласованно, базовые стратегические и политические факторы конкретной ситуации, контекст стратегических приоритетов – все сегодня рассматривается как вторичное по отношению к императиву текущего момента.

Порядок не должен иметь приоритета перед свободой. Но утверждение свободы следует осуществлять в рамках стратегии. В стремлении к торжеству общечеловеческих ценностей артикуляция возвышенных принципов – только первый шаг; далее предстоит неизбежное столкновение с реальностью, ее двусмысленностями и противоречиями, победить которые – задача политики. В этом процессе распространение информации и общественная поддержка свободных институтов являются важными факторами новой эры. Сами по себе, лишенные внимания к базовым стратегическим и политическим условиям, они вряд ли принесут успех.

Великие государственные деятели, сколь бы ни были они различны по характеру и убеждениям, практически всегда обладали «инстинктивным ощущением истории». Как писал Эдмунд Берк, «те народы никогда не принесут потомства, которые не оглядываются на своих предков». Каковы взгляды тех, кто стремится стать великим государственным деятелем в эпоху Интернета? Нынешним лидерам и нынешней публике угрожает сочетание хронической неуверенности и назойливого самоутверждения. Лидеры все меньше и меньше сами разрабатывают идеологии и уже не стремятся доминировать силой воли и харизмой. Доступ широкой публики к нематериальным активам общественных дискуссий все более ограничивается. Значительное число законодательных актов в Соединенных Штатах, Европе и других странах (тысячи страниц) представляют тексты, конкретное содержание которых едва понятно даже тем, кто голосовал за них.

Преыдущие поколения западных лидеров выполняли свои обязанности, признавая, что руководство не есть просто исполнение предвыборных пожеланий в повседневном режиме. Новое поколение лидеров, возможно, не захочет руководить, не прибегая к информационным технологиям; ведь владение информационной средой вполне способно обеспечить переизбрание благодаря целевой, но краткосрочной по перспективам политике.

В подобной среде участники общественных дискуссий рискуют утратить привычку к аргументированным спорам и занять обыкновение «ловить настроение момента». Первоочередное внимание сегодня в общественном сознании привлекают события, о которых рассуждают люди, чей статус обеспечивают способность и умение драматизировать. Участники публичных демонстраций редко

объединяются вокруг конкретной программы. Многие из них стремятся насладиться моментом экзальтации, прежде всего воспринимая свою роль в происходящем как получение эмоционального опыта.

Эти факторы отчасти отражают сложность определения идентичности в эпоху социальных медиа. Прославляемые как прорыв в отношениях между людьми, социальные медиа поощряют обмен максимальным количеством информации, личной и политической. Людей убеждают размещать в Сети самые сокровенные мысли – на общедоступных веб-сайтах, управляемых компаниями, чья внутренняя политика, даже если это публичные компании, в значительной степени неведома рядовому пользователю. Наиболее щекотливые сведения рекомендуется публиковать только для «друзей», но число последних может достигать нескольких тысяч. Одобрение – вот цель; не будь этого стремления, обмен личной информацией, возможно, не распространился бы настолько широко и не приводил бы порой к печальным последствиям. Лишь самые стойкие личности могут противостоять неблагоприятным суждениям окружающих, многократно размноженным в цифровом формате. Общение ведется ради одобрения, а не ради обмена идеями; главное – разделить эмоции. И мало кто в состоянии не поддаться общей экзальтации в толпе якобы единомышленников. Эти сети – первые в истории человечества институты, свободные от непреднамеренных злоупотреблений и, следовательно, лишенные традиционных сдержек и противовесов. Во всяком случае, так нас уверяют...

Бок о бок с безграничными возможностями, которые открывают новые технологии, идут – и это необходимо учитывать, размышляя о международном порядке, – опасности для обществ, управляемых массовым согласием, вне контекста и предусмотрительности, вне внимания к историческому характеру. В любую другую эпоху подобное внимание олицетворяло суть лидерства; сегодня же все сводится к череде лозунгов, придуманных специально для сиюминутного, конъюнктурного одобрения. Внешней политике грозит превратиться в составную часть политики внутренней, утратить статус дисциплины моделирования будущего. Если ведущие страны строят свою политику таким образом, международные отношения неизбежно пострадают. Стремление работать на перспективу вполне может

смениться усилением противоречий и позерством вместо реального управления. Дипломатия превращается в искусство делать жесты, соответствующие эмоциям, и дорога к равновесию выворачивает на путь проверки пределов допустимого.

Потребуется мудрость и дальновидность, чтобы избежать этих угроз и добиться реализации весьма многообещающих возможностей новой технологической эры. Нужно углублять озабоченность сиюминутным за счет лучшего понимания истории и географии. Эта проблема касается не только и не столько технологий. Обществу следует адаптировать систему образования к главным императивам и долгосрочным целям, к развитию собственных ценностей. Изобретатели устройств, которые революционизировали сбор и обмен информацией, могут сделать то же самое, если не больше, разработав инструменты для выявления концептуальной основы информационного обмена. На пути к первому настоящему глобальному миропорядку великие человеческие достижения в области технологий необходимо сочетать с расширенными возможностями гуманистического, трансцендентного и морального мышления.

Заключение

Мировой порядок в наше время?

После Второй мировой войны казалось, что вот-вот возникнет «предвосхищение» нового упорядоченного мирового сообщества. Промышленно развитые регионы устали от измотавшей их войны; в слаборазвитых частях мира начался процесс деколонизации и пересмотра идентичностей. Всем требовалось в большей степени сотрудничество, чем конфронтация. И Соединенные Штаты, избежавшие разрушительных последствий войны – а на самом деле благодаря конфликту укрепившие свою экономику и упрочившие уверенность нации в себе, – приступили к реализации идеалов и практик, которые, по их убеждению, подходили для всего мира.

Когда эстафета международного лидерства начала переходить к Соединенным Штатам, это добавило новое измерение к поискам мирового порядка. Нация, явно и недвусмысленно основанная на идеях свободы и представительного правления, собственный рост определяла через распространение принципов свободы и демократии и приписывала этим силам способность обеспечить справедливый и прочный мир, который до сих пор никак не удавалось установить. В рамках традиционного европейского подхода к порядку народы и государства рассматривались как конкуренты, соперничество являлось неотъемлемым качеством; чтобы ограничить последствия столкновения амбиций, необходимо полагаться на баланс сил и общее согласие просвещенных государственных деятелей. Общепринятая американская точка зрения состоит в том, что человек по своей сути является разумным и склонен к мирному компромиссу, к здравому смыслу и добросовестным соглашениям; следовательно, распространение демократии выступает общей целью мирового порядка. Свободные рынки возвышают индивидуумов, обогащают общества и вместо традиционного международного соперничества устанавливают экономическую взаимозависимость. С этой точки зрения холодная война была порождена заблуждениями коммунизма; раньше или позже Советский Союз должен был вернуться в сообщество наций. Тогда новый мировой порядок охватит все регионы земного шара; общие для всех моральные ценности и цели обусловят более гуманные условия внутри государств и сделают менее вероятными конфликты между странами.

Конструирование мирового порядка, длившееся не одно поколение, во многих отношениях свершилось. Успех этого предприятия

выражается в существовании множества независимых суверенных государств, чье правление охватывает большую часть территории земного шара. Распространение демократии и принципов представительного управления стало общим устремлением, если не всеобщей реальностью; сети глобальных коммуникаций и финансовые системы работают в режиме реального времени, делая возможными столь масштабные взаимодействия между людьми, какие даже вообразить не могли предыдущие поколения; предпринимаются общие усилия по разрешению экологических проблем – или, по крайней мере, для этого существуют определенные стимулы; международные научные, медицинские и благотворительные сообщества фокусируют свое внимание на заболеваниях и угрозах здоровью человека, к которым некогда относились как к неизлечимым превратностям судьбы.

Соединенные Штаты Америки внесли значительный вклад в эту эволюцию. Американская военная мощь обеспечивала безопасность остального мира, не важно, просили или нет о защите те, кто пользовался этим благодеянием. Под «зонтиком», по существу, односторонних американских военных гарантий большая часть развитого мира сплотилась в систему альянсов; развивающиеся страны были защищены от угрозы, которую они порой не осознавали и в еще меньшей степени признавали. Развивалась глобальная экономика, и в ее развитие Америка внесла свою долю: финансированием, рынками, множеством изобретений и инноваций. Примерно с 1948 года и до конца века в истории человечества оформился недолгий период, когда можно было говорить о наметившемся глобальном миропорядке, сочетавшем в своем каркасе американский идеализм с традиционными представлениями о балансе сил.

Однако сам успех этого предприятия сделал неизбежным то, что ему в целом, рано или поздно, будут брошены вызовы, иногда – во имя самого мирового порядка. Всеобщее значение Вестфальской системы проистекает из ее процедурной природы – нейтральной к моральным ценностям. Выполнение правил этой системы доступно любой стране: невмешательство во внутренние дела других государств; нерушимость границ; государственный суверенитет; поддержка международного права. Слабостью Вестфальской системы была обратная сторона силы. Ее разработали страны, истощенные кровопролитием, и она не

предлагала каких-либо ориентиров. Речь шла о способах распределения и сохранения власти и силы; Вестфальская система не давала ответа на вопрос, как породить легитимность.

Ключевой вопрос при построении мирового порядка неизбежно затрагивает сущность объединяющих его принципов – в которых и состоит кардинальное различие между западным и незападным подходами к миропорядку. Начиная с эпохи Возрождения Запад испытывает глубокую убежденность в том, что реальный мир является внешним для наблюдателя, что познание заключается в фиксации и классификации данных – чем точнее, тем лучше, – и что успех внешней политики зависит от верной оценки существующих реалий и тенденций. Вестфальский мир представляет собой осмысление реальности – в частности, реалий сил и территорий, – как светского упорядочения в ущерб религиозным устоям.

Для других сегодняшних великих цивилизаций реальность выступает как внутренняя по отношению к наблюдателю и очерчивается согласно психологическим, философским или религиозным убеждениям. Конфуцианство упорядочивает мир по ступеням подчиненности, иерархия определяется приблизительным соответствием китайской культуре. Для ислама миропорядок разделен на «территорию мира» – собственно мир ислама, – и на «территорию войны», населенную неверными. Таким образом, Китай не испытывает потребности выходить за свои пределы – зачем открывать мир, который он считает упорядоченным или лучше организованным духовно благодаря моральному совершенству? В то же время ислам способен достичь теоретического осуществления мирового порядка только через завоевания или глобальное обращение в свою веру, для чего объективных условий не существует. Индуизм, оперирующий циклами истории и метафизической реальностью, которые выходят за пределы «бренного опыта», рассматривает свой мир веры как целостную систему, которая неподвластна завоевателям и новообращенным.

Это же отличие обуславливало отношение к науке и технологии. Запад, который считал достижением овладение эмпирической реальностью, занимался изучением дальних пределов мира и поощрял развитие науки и техники. Другие традиционные цивилизации, каждая из которых считала, что по праву занимает центральное место в

миропорядке, не получили такого же импульса и отстали в технологическом плане.

Теперь этот период закончился. В остальном мире развивают науку и технику, и поскольку там не обременены имеющимися образцами и шаблонами, то возможно, что другие цивилизации действуют даже более энергично и с большей гибкостью, чем на Западе; по крайней мере, так обстоит дело в Китае и в странах, которые называют азиатскими тиграми.

В мире геополитики система миропорядка, установленная и провозглашенная универсальной западными странами, оказалась на переломном этапе. Предлагаемые ею «патентованные средства» признаются универсальными, однако касательно их применения нет единодушия; действительно, таким понятиям, как демократия, права человека и международное право, даются столь противоречивые толкования, что их в качестве боевого клича регулярно используют в борьбе друг против друга самые непримиримые стороны. Правила системы были провозглашены, но оказались неэффективными при отсутствии действенного принуждения к их исполнению. Обещания партнерства и сотрудничества в ряде регионов сменились – или по меньшей мере сопровождались – недвусмысленной проверкой установленных этими правилами границ.

Четверть века политических и экономических кризисов, разразившихся в результате или, по крайней мере, под влиянием наставлений и действий Запада, – вкупе со «схлопыванием» миропорядка в отдельных регионах, с массовыми убийствами на религиозной почве, с терроризмом и войнами, завершившимися без побед, – все это ставит под большое сомнение оптимистичные предположения об эпохе, которая началась сразу после окончания холодной войны: предположения о том, что распространение принципов демократии и свободного рынка автоматически создаст справедливый, безопасный и устраивающий всех мир.

В некоторых частях земного шара возник противодействующий импульс: стали считать, что кризисы порождаются политикой и правилами развитых стран Запада, наряду с различными аспектами глобализации, а потому нужно возвести против них оборонительный вал. Обязательства по обеспечению безопасности, которые рассматривались как основополагающие, ставились под сомнение,

причем иногда страной, чью оборону они призваны были укреплять. В то время как западные страны резко сокращали свои ядерные арсеналы или снижали роль ядерного оружия в своих стратегических доктринах, страны так называемого третьего мира резко активизировали свои усилия в этой области. Правительства, которые когда-то в «персональных» версиях мирового порядка сделали сторонниками американских обязательств (пусть даже порой те их озадачивали), начали интересоваться, не обернется ли так, что при реализации каких-то инициатив терпение Соединенных Штатов в конце концов истощится и они перестанут добиваться их завершения? С этой точки зрения принятие западных «правил» мирового порядка связано с элементами непредсказуемой ответственности – подобная интерпретация способна привести к заметному дистанцированию от США некоторых традиционных союзников. Действительно, кое-где поправки общечеловеческих норм (таких как права человека, надлежащая правовая процедура или равноправие женщин), которые, бесспорно, определяют североатлантические предпочтения, считается положительным качеством и краеугольным камнем альтернативных систем ценностей. Более простые виды идентичностей утверждаются в качестве основы для «исключительных интересов».

Результатом является не просто многополярность силы и власти; мы имеем мир все более и более противоречивых реалий. Не следует думать, будто указанные тенденции, если не уделять им внимания, в какой-то момент автоматически придут в соответствие с миром равновесия и сотрудничества – или вообще хоть с каким-то порядком.

Эволюция международного порядка

Любой международный порядок рано или поздно обязательно должен испытать воздействие двух тенденций, посягающих на его связность: либо переопределение легитимности, либо значительное изменение в балансе сил. Первая тенденция возникает, когда ценности, заложенные в основу международных договоренностей, изменяются коренным образом – от них отказываются те, на ком лежала задача их поддерживать и утверждать, или же их ниспровергает революционное насаждение альтернативной концепции легитимности. Таковым было воздействие возвышающегося Запада на традиционный мироуклад множества незападных стран; первой волны распространения ислама в седьмом и восьмом веках; Французской революции на европейскую дипломатию в восемнадцатом веке; коммунистического и фашистского тоталитаризма в двадцатом веке; а также атак исламистов на хрупкие государственные структуры стран Ближнего Востока в наши дни.

Сущность подобных потрясений в том, что хотя обычно они подкреплены силой, их главнейший удар – психологический. От тех, на кого направлена атака, требуется защищать не только свою территорию, но и базовые принципы своего образа жизни, моральное право на существование, право жить и поступать так, как прежде, до брошенного вызова, считалось само собой разумеющимся. Обычно – и это вполне естественно, особенно со стороны лидеров плюралистических обществ, – от представителей революции ожидают, что те в самом деле готовы вести переговоры в духе доброй воли и в рамках существующего порядка и хотят прийти к разумному решению. Порядок же рушится в первую очередь не вследствие военного поражения или дисбаланса ресурсов (хотя часто происходит вследствие этого), а из-за неспособности осознать природу и масштабы противостоящего вызова. В этом отношении окончательный критерий в случае переговоров по иранской ядерной проблеме состоит в том, являются ли торжественные заявления Ирана о готовности разрешить вопрос посредством договоренностей стратегическим сдвигом или же тактической уловкой – в русле долговременной политики, – и в том, отнесется ли Запад к тактической перемене курса так, словно бы она была стратегией.

Вторая причина кризиса международного порядка возникает, когда он оказывается не в состоянии приспособиться к значительному изменению соотношения сил. В ряде случаев порядок рушится, потому что один из его основных элементов перестает играть свою роль или перестает существовать – как это произошло с международным порядком коммунизма на исходе двадцатого века, когда распался Советский Союз. Или же восходящая держава отказывается от роли, отведенной ей системой, которую она не создавала, а страны, определяющие равновесие сил, не смогут адаптировать существующую систему к включению нового участника. Подобная задача встала перед системой, сложившейся в двадцатом веке в Европе, после появления Германии, что в итоге породило две катастрофических войны, от которых Европа так полностью и не оправилась. Выход на международную арену Китая представляет собой в двадцать первом веке сопоставимую структурную проблему. Президенты главных конкурентов двадцать первого века – Соединенных Штатов и Китая – торжественно поклялись избежать повторения европейской трагедии, установив «новый тип отношений между великими державами». Данная концепция еще ждет совместной разработки. Возможно, эта идея была высказана либо одной из указанных стран, либо ими обеими в качестве некоего тактического маневра. Тем не менее она остается единственной дорогой, которая позволяет избежать трагедий, известных из истории.

В достижении баланса между двумя аспектами порядка – властью и легитимностью – заключена суть управления государством. Расчет на силу без нравственного измерения превратит каждое проявление разногласий в проверку на прочность; честолюбие не будет знать удовлетворения; к проявлениям силы будут толкать мимолетные расчеты, связанные с изменяющейся конфигурацией власти и могущества. С другой стороны, моральные обличения, которые игнорируют существующее равновесие сил, тяготеют либо к «крестовым походам», либо к бессильной политике забалтывания проблем; обе крайности чреватые рисками, ставящими под угрозу согласованность самого международного порядка.

В наше время – отчасти по технологическим причинам, которые рассмотрены в главе 9, – власть находится в беспрецедентном постоянном движении, тогда как требования к легитимности с каждым

десятилетием расширяют свои рамки немислимыми до того способами. Когда оружие способно стереть цивилизацию с лица земли, а взаимодействие между системами ценностей стало мгновенным и беспрецедентно навязчивым, то существующие расчеты поддержания баланса сил и сохранения общности ценностей подпадают под риск устареть.

Стоило этим дисбалансам возрасти, как обнаружилось, что структура мирового порядка двадцать первого века имеет изъяны в четырех важных аспектах.

Во-первых, природа самого государства – основной формальной единицы международной жизни – оказалась под сильным давлением с разных сторон: государство целенаправленно атаквали и разрушали, в ряде регионов оно ослаблялось из-за упущений и пренебрежения, зачастую исчезало, погребенное бурным потоком событий. Европа намерена выйти за рамки национального государства и выстраивать внешнюю политику на основе главным образом «мягкой силы» и гуманитарных ценностей. Но сомнительно, что притязания на легитимность, отделенные от какой-либо стратегической идеи, в состоянии поддерживать мировой порядок. А сама Европа до сих пор еще не обзавелась атрибутами государственности, соблазняя внутренним вакуумом власти и дисбалансом сил на своих границах. Отдельные области Ближнего Востока разваливаются на религиозно-этнические компоненты, яростно конфликтующие между собой; религиозные военизированные формирования и поддерживающие их страны по своему усмотрению нарушают установленные прежде границы и попирают государственный суверенитет. В Азии данная проблема порождает ситуацию, противоположную европейской. Принципы вестфальского баланса сил преобладают безотносительно к согласованной концепции легитимности.

И, начиная с окончания холодной войны, в некоторых частях мира мы стали свидетелями такого феномена, как «несостоявшиеся государства» и «неуправляемые территории», наблюдали рождение государств, которые вряд ли заслуживают подобного определения, поскольку не имеют монополии на применение силы или действенной централизованной власти. Если ведущие державы станут проводить внешнюю политику, манипулируя множеством субсуверенных единиц, действующих сообразно двойственным и зачастую сопряженным с

насилием правилам поведения, многие из которых проистекают из крайних формулировок различных культурных основ, анархия неизбежна.

Во-вторых, политическая организация мира и его экономическое устройство находятся в противоречии друг с другом. Международная экономическая система приобрела глобальный характер, в то время как политическая структура мира по-прежнему основывается на концепции национального государства. Глобальный экономический импульс направлен на устранение препятствий с путей передвижения товаров и капитала. Международная политическая система продолжает в значительной степени опираться на противопоставление идей о мировом порядке и согласования концепций национального интереса. Экономическая глобализация по своей сути игнорирует национальные границы. Международная политика подчеркивает важность границ даже тогда, когда пытается примирить противоречащие друг другу национальные цели.

Эта динамика породила десятилетия устойчивого экономического роста, периодически нарушавшегося финансовыми кризисами, которые происходили с нарастающей, по всей видимости, силой: в Латинской Америке – в 1980-х годах; в Азии – в 1997 году; в России – в 1998 году; в Соединенных Штатах Америки – в 2001 году, а затем снова, начиная с 2007 года; в Европе – после 2010 года. У победителей – тех, кто сумел пережить шторм в течение необходимого периода и смог двинуться дальше, – имеются несколько претензий к системе. Но проигравшие – например, те, кто увяз в неверных структурных планах, как получилось с южным «блоком» Европейского союза, – ищут для себя средства исцеления в решениях, которые противоречат или, по крайней мере, препятствуют функционированию глобальной экономической системы.

Хотя у каждого из этих кризисов была своя причина, отличная от прочих, общими чертами кризисных ситуаций являлись расточительная спекуляция и систематическая недооценка рисков. Чтобы скрывать характер связанных с ними сделок, создавались различные финансовые инструменты. Кредиторы испытывали трудности при оценке степени обязательств, а заемщики, в том числе и ведущие страны, – при осознании последствий задолженности.

Таким образом, международный порядок сталкивается с парадоксом: его успешность зависит от торжества глобализации, но сам этот процесс порождает политическую реакцию, которая часто идет вразрез с его устремлениями. У менеджеров экономической глобализации мало оснований и возможностей заниматься политическими процессами. Еще меньше стимулов у тех, кто управляет политическими процессами: зачем рисковать имеющейся поддержкой внутри страны, приближая экономические или финансовые проблемы, сложность которых в состоянии понять разве что эксперты?

В подобных условиях вызовом становится само управление. Правительства подвергаются давлению, стремясь «подтолкнуть» процесс глобализации в направлении, которое будет соответствовать национальной выгоде или политике меркантилизма. Таким образом, на Западе вопросы глобализации слились с проблематикой проведения демократической внешней политики. Гармонизация проблем политического и экономического международных порядков ставит под сомнение укоренившиеся взгляды: стремление к мировому порядку, потому что оно требует расширения национальной структуры; упорядочивание глобализации, потому что жизнеспособная практика предполагает видоизменение общепринятых моделей.

В-третьих, отсутствует эффективный механизм, в рамках которого великие державы консультировались бы друг с другом и, возможно, сотрудничали по наиболее важным проблемам. Подобная критика может показаться странной, ведь существует множество многосторонних форумов – причем сегодня их намного больше, чем когда-либо в истории. К Совету Безопасности ООН – обладающему формальной властью, но по наиболее важным вопросам часто лишенному единого мнения, – добавляются регулярные встречи на высшем уровне: атлантических лидеров – на сессиях НАТО и в рамках Европейского союза, руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона – на совещаниях АТЭС и на Восточноазиатских саммитах, глав развитых стран – в группах G7 или G8, а лидеров ведущих экономических стран – в формате G20. На всех этих международных форумах США выступают ключевым участником. Однако характер и частота таких встреч работают против определения долгосрочной стратегии. Большую часть подготовительного этапа занимают

обсуждение расписаний и переговоры о формальной повестке дня; проведение некоторых форумов фактически зависит от календарных графиков лидеров, поскольку довольно сложно на регулярной основе собирать руководителей стран в каком-то одном месте. Главы государств, как участники подобных встреч, в силу занимаемых ими постов, наибольшее внимание уделяют тому, какое воздействие на публику окажет их деятельность на форуме; они склонны делать упор на тактические последствия или на те аспекты, которые пойдут на пользу их популярности. Такая процедура мало что позволяет, помимо составления официального коммюнике: в лучшем случае возможно обсуждение нерешенных тактических вопросов, а в худшем – все сводится к новой форме саммитов как события для «социальных СМИ». Если необходимо доказывать актуальность современной структуры международных правил и норм, то ее нельзя просто подтверждать совместными декларациями; нужно выказывать заботу о ней как о всеобщей цели.

Все это время лидерство Америки было обязательным, даже когда оно характеризовалось двойственностью политики. Америка искала баланс между стабильностью и отстаиванием универсальных принципов, не всегда совместимых с принципами невмешательства в дела суверенных государств или историческим опытом других наций. Стремление к балансу между уникальностью американского опыта и идеалистической уверенностью в его универсальности, между полюсами самоуверенности и самоанализа по своей сути бесконечно. Чего оно не позволяет, так это отступления.

Куда мы идем?

Реконструкция международной системы представляет собой основную задачу государственного управления. Расплатой за неудачу будет не столько большая война между государствами (хотя в некоторых регионах подобный исход не исключен), сколько смещение к сферам влияния, определяемых особыми внутренними структурами и формами управления, – например, вестфальская модель по сравнению с вариантом радикальных исламистов. На краях сфер у одних субъектов порядка будет возникать соблазн проверить силу в отношении единиц другого порядка, считающихся нелегитимными.

Они окажутся включенными в сеть мгновенной коммуникации и будут постоянно сталкиваться друг с другом. Со временем напряженность этого процесса перерастет в маневры за завоевание статуса или преимущества – в масштабе континента или даже всего мира. Борьба между регионами может оказаться даже еще более изнурительной, чем былые столкновения между нациями.

Современные поиски мирового порядка требуют согласованной стратегии, направленной на создание концепции порядка *внутри* различных регионов и на взаимное увязывание этих региональных порядков. Эти цели необязательно совпадают или согласуются друг с другом: триумф радикального движения мог бы установить порядок в одном регионе – и одновременно породить условия для потрясений в других странах и для конфликтов между ними. Если в каком-то регионе одна страна станет доминировать в военном отношении и это обернется установлением порядка, то возможно возникновение кризиса во всем остальном мире.

Вполне уместна переоценка концепции баланса сил. Теоретически баланс сил вполне поддается расчету; на практике же оказывается крайне трудно согласовать расчеты одной страны с позициями других государств и добиться общего признания определенных рамок. Гипотетический элемент внешней политики – необходимость согласовывать действия с оценкой, которую, когда она сделана, нельзя подтвердить, – никогда не бывает более реалистичным, чем в периоды потрясений. Далее, старый порядок находится в постоянном изменении, в то время как форма, призванная его заменить, сама еще крайне неопределенна. Все зависит, следовательно, от некоей концепции будущего. Но меняющаяся внутренняя структура способна породить различные оценки значимости существующих тенденций и, что более важно, противоречащие друг другу критерии, призванные устранить эти разногласия. Такова дилемма нашего времени.

Нашей надеждой может стать мировой порядок государств, утверждающих достоинство личности и управление с прямым участием и сотрудничающих на международном уровне в соответствии с согласованными правилами, и он же должен стать для нас вдохновляющей идеей. Однако прогресс в этом направлении требуется поддерживать за счет ряда промежуточных этапов. В любое время обычно всего полезнее, как некогда писал Эдмунд Берк, «молча

согласиться на какой-то подходящий план, который не приближается к полному совершенству абстрактной идеи, чем требовать более совершенного» и рисковать кризисом или разочарованием, настаивая сразу же на окончательном результате. Соединенным Штатам Америки нужны стратегия и дипломатия, которые учитывают сложности пути – возвышенность поставленной цели, а также несовершенство, которое присуще человеческой деятельности и посредством которой эта цель будет приближаться.

Чтобы играть ответственную роль в развитии мирового порядка двадцать первого века, Соединенные Штаты должны быть готовы ответить на ряд вопросов.

Что мы стремимся предотвратить, не важно как, и если потребуется, то и в одиночку? Ответ определяет минимальные условия выживания общества.

Чего мы желаем достичь, даже если *никакие* многосторонние усилия нас не поддержат? Этот ответ определяет минимальные цели национальной стратегии.

Чего мы стремимся достичь или предотвратить, *только если* нас поддерживает какой-то альянс? Это определяет внешние пределы стратегических устремлений страны в рамках глобальной системы.

В чем мы *не должны* участвовать, даже если нас будет к тому принуждать многосторонняя группа или альянс? Это определяет предельные условия участия Америки в мировом порядке.

Прежде всего – каков характер ценностей, которые мы стремимся отстаивать? Какие заявления отчасти зависят от обстоятельств?

В принципе эти же вопросы можно поставить перед другими сообществами.

Для Соединенных Штатов поиск мирового порядка ведется на двух уровнях: торжество универсальных принципов должно сопровождаться признанием реальности истории и культуры других регионов. И хотя уроки сложных десятилетий следует изучать, необходимо продолжать поддерживать и подкреплять лозунги об исключительном характере Америки. История не дает странам передышки, не позволяет отстраниться от своих обязательств или осознания идентичности ради, казалось бы, менее тяжелого курса. Америка – как решительно выражающая в современном мире стремление человека к свободе и как незаменимая геополитическая

сила для отстаивания ценностей гуманизма, – должна не терять чувства направления.

Содержательная роль Америки необходима для ответа на вызовы нашей эпохи как в философском, так и в геополитическом аспектах. Тем не менее ни одна страна, действуя в одиночку, не в состоянии сформировать мировой порядок. Для установления подлинного мирового порядка его элементы, сохраняя собственные ценности, нуждаются во второй культуре, которая является глобальной, структурированной и правовой, – в концепции порядка, выходящей за рамки перспектив и идеалов какого-либо отдельного региона или одной страны. В этот момент истории и произойдет модернизация Вестфальской системы за счет наполнения ее современными реалиями.

Возможно ли преобразовать различающиеся культуры в общую систему? Проект Вестфальской системы создавали около двухсот человек, из которых никто не вошел в анналы истории в качестве руководящей фигуры; две отдельные группы встречались в двух провинциальных немецких городках, отстоящих друг от друга на сорок миль (значительное расстояние по меркам семнадцатого века). Делегаты преодолели стоявшие перед ними трудности, потому у них был общий опыт опустошительной Тридцатилетней войны, и они были полны решимости не допустить ее повторения. Наше время, перед лицом еще более мрачных перспектив, требует действовать раньше, чем мир с ними столкнется.

Загадочные фрагменты текстов из глубокой античности донесли до нас мысль, что условия человеческого существования неизбежно несут на себе печать постоянных изменений и борьбы. Мир подобен вечно живому огню, «мерами загорающемуся и мерами потухающему», а война есть «всего отец и царь всего», создающая перемены в мире. Но «единство вещей очевидно, оно лежит прямо на поверхности и зависит от согласованных взаимодействий между противоположностями». Целью нашей эры должно быть достижение равновесия при одновременном сдерживании псов войны. И сделать это надо изнутри бурлящего потока истории. Хорошо известная метафора гласит, что «в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Историю возможно рассматривать как реку, но воды ее все время меняются.

Давным-давно, в юности, мне доставало дерзости полагать, что я способен поведать «смысл истории». Теперь я знаю: исторический смысл заключается в том, чтобы обнаружить его, а не декларировать. Именно на этот вопрос мы должны попытаться ответить как можно лучше, признавая, что он остается открытым для обсуждения; что каждому поколению суждено решать, не перед ними ли встают величайшие и самые важные вопросы человеческого бытия, и что решения, призванные ответить на эти вызовы, должны приниматься политическими деятелями до того, как возможно будет узнать, каков окажется результат.

Благодарности

Эта книга выросла из разговора за обедом с Чарльзом Хиллом, почетным участником программы Брейди – Джонсона «Большая стратегия» и старшим преподавателем программы гуманитарных наук Йельского университета. Когда я, целую жизнь тому назад, занимал пост госсекретаря, Чарли был уважаемым сотрудником отдела по планированию внешней политики. С тех пор мы дружим и от случая к случаю сотрудничаем.

В беседе мы пришли к выводу, что важнейшей международной проблемой наших дней является кризис концепции мирового порядка. Когда я решил написать книгу по этому вопросу, Чарли предложил свою помощь, и его советы оказались бесценными. Он поделился со мной несколькими своими набросками статей по различным темам, относящимися к теме книги, просматривал черновые варианты глав и всегда был готов к дискуссии, а когда рукопись была закончена целиком, помог в ее редактировании.

Шайлер Шоутен был незаменим и неутомим – такими прилагательными я уже характеризовал его вклад в подготовку книги «О Китае» три года назад. Формально являясь моим младшим научным сотрудником, он, как своего рода альтер эго, ведет для меня интеллектуальные поиски. Он осуществил большую часть исследований, скомпоновал их результаты в содержательные резюме, несколько раз перечитывал рукопись и сопровождал меня на многих обсуждениях. Его конструктивный вклад в эту книгу весьма значителен; а то, что он неизменно сохранял спокойствие при всем внешнем давлении, отлично характеризует его человеческие качества.

Исключительна редакторская роль моего издателя, «Пенгуин пресс». Я никогда не работал сразу с двумя редакторами, и они прекрасно дополняли друг друга. Энн Годофф, вдобавок к своим обязанностям президента и главного редактора, добровольно взяла на себя труд редактировать эту книгу. Она, со своим интеллектом, прозорливостью и здравомыслием, обязала меня пролить свет на туманные формулировки и упоминания исторических фактов, которые незнакомы далекому от научных кругов читателю. Она также сделала несколько предложений касательно структуры книги. Не знаю, как ей

удалось найти время для обширных и проницательных замечаний, за которые я глубоко благодарен.

Можно сказать, помешанный на истории ученый, ее коллега Стюарт Проффитт, глава английского подразделения «Пенгуин», по собственной воле взялся читать каждую главу, делал обстоятельные и глубокомысленные замечания и обратил мое внимание на весьма важные ссылки. Работать со Стюартом было все равно что заниматься в университете у исключительно эрудированного, терпеливого и доброжелательно наставника.

В своих работах я никогда не рассматривал тем, связанных с Интернетом. Также я совершенно не осведомлен о технической стороне данного вопроса. Но я много размышлял о воздействии новых технологий на выработку и проведение политических решений. Эрик Шмидт согласился раскрыть передо мной свой мир и сделал это с терпением и обстоятельностью. Мы много раз встречались и на Восточном, и на Западном побережье для продолжительных и крайне полезных для меня разговоров. В нескольких встречах принимал участие и внес существенный вклад Джаред Коэн. Два раза по приглашению Эрика я побывал в компании «Гугл», где обменивался идеями с рядом замечательных и очаровательных коллег мистера Шмидта.

Я воспользовался добрым отношением ко мне целого ряда друзей и знакомых, попросив их прочитать и прокомментировать отдельные части рукописи. В их числе – Дж. Стэплтон Рой и Уинстон Лорд («азиатский» раздел); Майкл Гфеллер и Эмма Скай (Ближний Восток); профессор Оксфордского университета Рана Миттер (вся рукопись). С несколькими главами ознакомились и многое подсказали мои друзья Лэс Гелб, Майкл Корда, Пегги Нунан и Роберт Каплан.

С Терезой Аманти мы работаем уже над шестой книгой – она руководила набором, проверкой фактографии и решала все технические проблемы в моем офисе, и все это – с присущим ей организаторским мастерством и энтузиазмом. Тереза также много занималась набором текста, в чем ей помогала Джоди Уильямс, подключавшаяся, когда начинали поджимать сроки. Обе сотрудничают со мной несколько десятилетий. Я благодарю их за деловитость и оперативность, а еще больше – за преданность.

Луиза Кушнер недавно появилась в числе моих сотрудников, но своей обязательностью не уступает коллегам. Ее умения внесли большой вклад в проверку редакционных замечаний. Одновременно твердая и вежливая, она держала под контролем все мое деловое расписание, давая мне возможность сосредоточить внимание на написании книги.

Ценную помощь оказали Джесси Лепорэн и Кэтрин Эрл.

Ингрид Стернер, Брюс Гиффорд и Нойрин Лукас из «Пенгуин пресс» с большим умением и тщательностью отредактировали текст и выполнили связанную с этим работу, привнеся особое терпение и внимание к деталям на редакционном этапе книгопроизводства.

Как и в случае с книгой «О Китае», моим представителем во взаимоотношениях с издателями во всем мире выступал Эндрю Уайли – со свойственными ему умом, упорством и жесткостью. Я глубоко ему благодарен.

Эту книгу я посвятил жене Нэнси, которая была и остается главным в моей жизни. Как всегда, она прочитала рукопись от начала до конца и высказала в высшей степени важные и точные замечания.

Излишне говорить, что все недостатки книги – всецело на моей совести.

Источники и литература

Библиографические сведения приводятся поглавно. Ссылки на цитаты указываются в порядке появления в тексте.

Введение

Franz Babinger, *Mehmed the Conqueror and His Time* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978), as quoted in Antony Black, *The History of Islamic Political Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), 207.

Глава 1

Kevin Wilson and Jan van der Dussen, *The History of the Idea of Europe* (London: Routledge, 1993).

Frederick B. Artz, *The Mind of the Middle Ages* (Chicago: University of Chicago Press, 1953), 275–80.

Heinrich Fichtenau, *The Carolingian Empire: The Age of Charlemagne*, trans. Peter Munz (New York: Harper & Row, 1964), 60.

Hugh Thomas, *The Golden Age: The Spanish Empire of Charles V* (London: Allen Lane, 2010), 23.

James Reston Jr., *Defenders of the Faith: Charles V, Suleyman the Magnificent, and the Battle for Europe, 1520–1536* (New York: Penguin Press, 2009), 40, 294–95.

Edgar Sanderson, J. P. Lamberton, and John McGovern, *Six Thousand Years of History*, vol. 7, *Famous Foreign Statesmen* (Philadelphia: E. R. DuMont, 1900), 246–50; Reston, *Defenders of the Faith*, 384–89.

David Hume, «On the Balance of Power», in *Essays, Moral, Political, and Literary* (1742), 2.7.13.

Jerry Brotton, *A History of the World in Twelve Maps* (London: Penguin Books, 2013), 82–113 (discussion of the Hereford Mappa Mundi, ca. 1300).

Dante Alighieri, *The Divine Comedy*, trans. Allen Mandelbaum (London: Bantam, 1982), 342.

Osip Mandelstam, «Conversation About Dante», in *The Poet's Dante*, ed. Peter S. Hawkins and Rachel Jacoff (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001), 67.

Aldous Huxley, *Grey Eminence: A Study in Religion and Politics* (New York: Harper and Brothers, 1941).

Niccolò Machiavelli, *The Art of War* (1521), *Discourses on the First Ten Books of Titus Livy* (1531), *The Prince* (1532).

Joseph Strayer, Hans Gatzke, and E. Harris Harbison, *The Mainstream of Civilization Since 1500* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971), 420.

Richelieu, «Advis donné au roy sur le sujet de la bataille de Nordlingen», in *The Thirty Years War: A Documentary History*, ed. and trans. Tryntje Helfferich (Indianapolis: Hackett, 2009), 151.

Peter H. Wilson, *The Thirty Years War: Europe's Tragedy* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009), 673.

Instrumentum pacis Osnabrugensis (1648) and *Instrumentum pacis Monsteriensis* (1648), in Helfferich, *Thirty Years War*, 255, 271.

Palmerston to Clarendon, July 20, 1856, quoted in Harold Temperley and Lillian M. Penson, *Foundations of British Foreign Policy from Pitt (1792) to Salisbury (1902)* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1938).

Thomas Hobbes, *Leviathan* (1651) (Indianapolis: Hackett, 1994), Lucy Norton, ed., *Saint-Simon at Versailles* (London: Hamilton, 1958), 217–30.

Gerhard Ritter, *Frederick the Great: A Historical Profile*, trans. Peter Paret (Berkeley: University of California Press, 1968), 29–30.

Frederick II of Prussia, *Oeuvres*, 2, XXV (1775), as quoted in Friedrich Meinecke, *Machiavellism: The Doctrine of Raison d'État and Its Place in Modern History*, trans. Douglas Scott (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1957) (originally published in German, 1925), 304.

Otto von Bismarck, *Bismarck: The Man and the Statesman* (New York: Harper & Brothers, 1899), 316.

Otto von Bismarck, *The Kaiser vs. Bismarck: Suppressed Letters by the Kaiser and New Chapters from the Autobiography of the Iron Chancellor* (New York: Harper & Brothers, 1921), 144–45.

Alexander Pope, *An Essay on Man* (1734), epistle iii, lines 303–4.

G. P. Gooch, *Frederick the Great* (Berkeley: University of California Press, 1947), 4–5.

David A. Bell, *The First Total War: Napoleon's Europe and the Birth of Warfare as We Know It* (Boston: Houghton Mifflin, 2007), 5.

Susan Mary Alsop, *The Congress Dances: Vienna, 1814–1815* (New York: Harper & Row, 1984).

Adam Zamoyski, *Rites of Peace: The Fall of Napoleon and the Congress of Vienna* (London: HarperPress, 2007).

Jean Le Rond d'Alembert, «Éléments de Philosophie» (1759), as quoted in Ernst Cassirer, *The Philosophy of the Enlightenment*, trans. Fritz C. A. Koelln and James P. Pettegrove, (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1951), 3.

Denis Diderot, «The Encyclopedia» (1755), in *Rameau's Nephew and Other Works*, trans. Jacques Barzun and Ralph H. Bowen (Indianapolis: Hackett, 2001), 283.

Montesquieu, *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence* (1734), as quoted in Cassirer, *Philosophy of the Enlightenment*, 213.

Immanuel Kant, «Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose» (1784), in *Kant: Political Writings*, ed. H. S. Reiss (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1991), 44.

Immanuel Kant, «Perpetual Peace: A Philosophical Sketch» (1795), in Reiss, *Kant*, 96.

Jean-Jacques Rousseau, *Discourse on the Origin of Inequality and The Social Contract*, in *The Basic Political Writings* (1755; 1762) (Indianapolis: Hackett, 1987), 61, 141.

«Declaration for Assistance and Fraternity to Foreign Peoples» (November 19, 1792), in *The Constitutions and Other Select Documents Illustrative of the History of France, 1789–1907* (London: H. W. Wilson, 1908), 130.

«Decree for Proclaiming the Liberty and Sovereignty of All Peoples» (December 15, 1792), in *ibid.*, 132–33.

Hegel to Friedrich Niethammer, October 13, 1806, in *Hegel: The Letters*, trans. Clark Butler and Christine Seiler with commentary by Clark Butler (Bloomington: Indiana University Press, 1985).

Глава 2

Marquis de Custine, *Empire of the Czar: A Journey Through Eternal Russia* (1843; New York: Anchor Books, 1990), 69.

Geoffrey Hosking, *Russia: People and Empire* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997), 5–6.

Nikolai Danilevskii, *Russia and Europe: A View on Cultural and Political Relations Between the Slavic and German-Roman Worlds* (St.

Petersburg, 1871), as translated and excerpted in *Imperial Russia: A Source Book, 1700–1917*, ed. Basil Dmytryshyn (Gulf Breeze, Fla: Academic International Press, 1999), 373.

Vasili O. Kliuchevsky, *A Course in Russian History: The Seventeenth Century* (Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 1994), 366. See also Hosking, *Russia*, 4.

John P. LeDonne, *The Russian Empire and the World, 1700–1917: The Geopolitics of Expansion and Containment* (New York: Oxford University Press, 1997), 348.

Henry Adams, *The Education of Henry Adams* (1907; New York: Modern Library, 1931), 439.

Orlando Figes, *Natasha's Dance: A Cultural History of Russia* (New York: Picador, 2002), 376–377.

George Vernadsky, ed., *A Source Book for Russian History: From Early Times to 1917* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1972), 3:610.

Charles J. Halperin, *Russia and the Golden Horde: The Mongol Impact on Medieval Russian History* (Indianapolis: Indiana University Press, 1985).

Paul Harrison Silfen, *The Influence of the Mongols on Russia: A Dimensional History* (Hicksville, N.Y.: Exposition Press, 1974).

Virginia Cowles, *The Romanovs* (New York: Harper & Row, 1971), 33–37.

Robert K. Massie, *Peter the Great* (New York: Ballantine Books, 1980), 188–89, 208.

B. H. Sumner, *Peter the Great and the Emergence of Russia* (New York: Collier Books, 1962), 45.

Catherine II, *Nakaz* (Instruction) to the Legislative Commission of 1767–68, in Dmytryshyn, *Imperial Russia*, 80.

Maria Lipman, Lev Gudkov, Lasha Bakradze, and Thomas de Waal, *The Stalin Puzzle: Deciphering Post-Soviet Public Opinion* (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2013).

Nikolai Karamzin on Czar Alexander I, as quoted in W. Bruce Lincoln, *The Romanovs: Autocrats of All the Russias* (New York: Anchor Books, 1981), 489.

Fyodor Dostoevsky, *A Writer's Diary* (1881), as quoted in Figes, *Natasha's Dance*, 308.

Pyotr Chaadaev, «Philosophical Letter» (1829, published 1836), as quoted in Figes, *Natasha's Dance*, 132, and Dmytryshyn, *Imperial Russia*, 251.

Mikhail Nikiforovich Katkov, May 24, 1882, editorial in *Moskovskie vedomosti (Moscow News)*, as excerpted in Verdansky, *A Source Book for Russian History*, 3:676.

Wilhelm Schwarz, *Die Heilige Allianz* (Stuttgart, 1935), 52.

Klemens von Metternich, *Aus Metternich's nachgelassenen Papieren*, ed. Alfons v. Klinkowstroem (Vienna, 1881), 1:316.

Palmerston's dispatch no. 6 to the Marquess of Clanricarde (ambassador in St. Petersburg), January 11, 1841, in *The Foreign Policy of Victorian England*, ed. Kenneth Bourne (Oxford: Clarendon Press, 1970), 252–53.

Isaiah Berlin, *Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas* (New York: Viking, 1976), 158, 204.

Jacques Barzun, *From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural Life* (New York: Perennial, 2000), 482.

Lewis Namier, *Vanished Supremacies: Essays on European History, 1812–1918* (New York: Penguin Books, 1958), 203.

Nicholas V. Riasanovsky, *A History of Russia* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 336–39.

Allgemeine deutsche Biographie 33 (Leipzig: Duncker & Humblot, 1891), 266.

Heinrich Srbik, *Metternich, der Staatsmann und der Mensch*, 2 vols. (Munich, 1925), 1:354, as cited in Henry A. Kissinger, «The Conservative Dilemma: Reflections on the Political Thought of Metternich», *American Political Science Review* 48, no. 4 (December 1954): 1027.

Algernon Cecil, *Metternich, 1773–1859* (London: Eyre and Spottiswood, 1947), 52.

Briefwechsel des Generals Leopold von Gerlach mit dem Bundestags-Gesandten Otto von Bismarck (Berlin, 1893), 334.

Horst Kohl, *Die politischen Reden des Fürsten Bismarck* (Stuttgart, 1892), 264.

Speech of February 9, 1871, in Hansard, *Parliamentary Debates*, ser. 3, vol. 204 (February – March 1871), 82.

Christopher Clark, *The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914* (New York: HarperCollins, 2013).

Margaret MacMillan, *The War That Ended Peace: The Road to 1914* (New York: Random House, 2013).

John Maynard Keynes, *The Economic Consequences of the Peace* (New York: Macmillan, 1920), Chapter 5.

Глава 3

Adda B. Bozeman, «Iran: U.S. Foreign Policy and the Tradition of Persian Statecraft», *Orbis* 23, no. 2 (Summer 1979): 397.

Hugh Kennedy, *The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In* (London: Weidenfeld & Nicholson, 2007), 34–40.

Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol. 1, *The Classical Age of Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1974).

Majid Khadduri, *The Islamic Law of Nations: Shaybani's Siyar* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1966), 13.

Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1955), 56.

Bernard Lewis, *The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years* (New York: Touchstone, 1997), 233–38.

Labeeb Ahmed Bsoul, *International Treaties (Mu'āhadāt) in Islam: Theory and Practice in the Light of Islamic International Law (Siyar) According to Orthodox Schools* (Lanham, Md.: University Press of America, 2008), 117.

James Piscatori, «Islam in the International Order», in *The Expansion of International Society*, ed. Hedley Bull and Adam Watson (New York: Oxford University Press, 1985), 318–19.

Olivier Roy, *Globalized Islam: The Search for a New Ummah* (New York: Columbia University Press, 2004), 112.

Efraim Karsh, *Islamic Imperialism: A History* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2006), 230–31.

Vali Nasr, *The Shia Revival: How Conflicts Within Islam Will Shape the Future* (New York: W. W. Norton, 2006).

Brendan Simms, *Europe: The Struggle for Supremacy from 1453 to the Present* (New York: Basic Books, 2013), 9–10.

Roger Bigelow Merriman, *Suleiman the Magnificent, 1520–1566* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1944), 130.

Halil Inalcik, «The Turkish Impact on the Development of Modern Europe», in *The Ottoman State and Its Place in World History*, ed. Kemal H. Karpat (Leiden: E. J. Brill, 1974), 51–53.

Garrett Mattingly, *Renaissance Diplomacy* (New York: Penguin Books, 1955), 152.

«Turkey's Erdogan: French Vote Reveals Gravity of Hostility Towards Muslims», *Today's Zaman*, December 23, 2011.

Harold Temperley, *England and the Near East* (London: Longmans, Green, 1936), 272.

Source Records of the Great War, ed. Charles F. Horne and Walter F. Austin (Indianapolis: American Legion, 1930), 2:398–401.

Hew Strachan, *The First World War* (New York: Viking, 2003), 100–101.

Arthur James Balfour to Walter Rothschild, November 2, 1917, in Malcolm Yapp, *The Making of the Modern Near East, 1792–1923* (Harlow: Longmans, Green), 290.

Erez Manela, *The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism, 1917–1920* (Oxford: Oxford University Press, 2007).

Roxanne L. Euben and Muhammad Qasim Zaman, eds., *Princeton Readings in Islamist Thought: Texts and Contexts from al-Banna to Bin Laden* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2009), 49–53.

Sayyid Qutb, *Milestones*, 2nd rev. English ed. (Damascus, Syria: Dar al-Ilm, n.d.), 49–51.

Lawrence Wright, *The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11* (New York: Random House, 2006).

Statement by the President on the Situation in Syria, August 18, 2011, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/08/18/statement-president-obama-situation-syria>.

Mariam Karouny, «Apocalyptic Prophecies Drive Both Sides to Syrian Battle for End of Time», Reuters, April 1, 2014.

«Message from Usama Bin-Muhammad Bin Ladin to His Muslim Brothers in the Whole World and Especially in the Arabian Peninsula: Declaration of Jihad Against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Mosques; Expel the Heretics from the Arabian Peninsula», in FBIS Report, «Compilation of Usama bin Ladin Statements, 1994–January 2004», 13; Piscatori, «Order, Justice, and Global Islam», 279–80.

David Danelo, «Anarchy Is the New Normal: Unconventional Governance and 21st Century Statecraft» (Foreign Policy Research Institute, October 2013).

Глава 4

Ali Khamenei, «Leader's Speech at Inauguration of Islamic Awakening and Ulama Conference» (April 29, 2013), *Islamic Awakening* 1, no. 7 (Spring 2013).

Islamic Invitation Turkey, «The Leader of Islamic Ummah and Oppressed People Imam Sayyed Ali Khamenei: Islamic Awakening Inspires Intl. Events», November 27, 2011.

«The Cyrus Cylinder: Diplomatic Whirl», *Economist*, March 23, 2013.

Herodotus, *The History*, trans. David Grene (Chicago: University of Chicago Press, 1987), 1.131–135, pp. 95–97.

Kenneth M. Pollack, *The Persian Puzzle: The Conflict Between Iran and America* (New York: Random House, 2004), 18–19.

John Garver, *China and Iran: Ancient Partners in a Post-imperial World* (Seattle: University of Washington Press, 2006).

Roy Mottahedeh, *The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran* (Oxford: Oneworld, 2002), 144.

Reza Aslan, «The Epic of Iran», *New York Times*, April 30, 2006.

Sandra Mackey, *The Iranians: Persia, Islam, and the Soul of a Nation* (New York: Plume, 1998), 109n1.

Ruhollah Khomeini, «Islamic Government», in *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini (1941–1980)*, trans. Hamid Algar (North Haledon, N.J.: Mizan Press, 1981), 48–49.

David Armstrong, *Revolution and World Order: The Revolutionary State in International Society* (New York: Oxford University Press, 1993), 192.

Islam and Revolution, 147, 265, 330–31.

R. W. Apple Jr., «Will Khomeini Turn Iran's Clock Back 1,300 Years?», *New York Times*, February 4, 1979.

Charles Hill, *Trial of a Thousand Years: World Order and Islamism* (Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 2011), 89–91.

Thomas Kean, Lee Hamilton, et al., *The 9/11 Commission Report* (New York: W. W. Norton, 2004), 61, 128, 240–41, 468, 529.

Seth G. Jones, «Al Qaeda in Iran», *Foreign Affairs*, January 29, 2012, <http://www.foreignaffairs.com/articles/137061/seth-g-jones/al-qaeda-in-iran>.

Akbar Ganji, «Who Is Ali Khamenei: The Worldview of Iran's Supreme Leader», *Foreign Affairs*, September/October 2013.

Thomas Joscelyn, «Iran, the Muslim Brotherhood, and Revolution», *Longwarjournal.org*, January 28, 2011.

Milton Viorst, *In the Shadow of the Prophet: The Struggle for the Soul of Islam* (Boulder, Colo.: Westview Press, 2001), 192.

«Address by H.E. Dr. Mahmoud Ahmadinejad, President of the Islamic Republic of Iran, Before the Sixty-second Session of the United Nations General Assembly» (New York: Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations, September 25, 2007), 10.

Mahmoud Ahmadinejad to George W. Bush, May 7, 2006, Council on Foreign Relations online library; «Iran Declares War», *New York Sun*, May 11, 2006.

Arash Karami, «Ayatollah Khamenei: Nuclear Negotiations Won't Resolve US-Iran Differences», *Al-Monitor.com Iran Pulse*, February 17, 2014, <http://iranpulse.al-monitor.com/index.php/2014/02/3917/ayatollah-khamenei-nuclear-negotiations-wont-resolve-us-iran-differences/>.

Akbar Ganji, «Frenemies Forever: The Real Meaning of Iran's 'Heroic Flexibility'», *Foreign Affairs*, September 24, 2013, <http://www.foreignaffairs.com/articles/139953/akbar-ganji/frenemies-forever>.

«History of Official Proposals on the Iranian Nuclear Issue», January 2013.

Lyse Doucet, «Nuclear Talks: New Approach for Iran at Almaty», *BBC.co.uk*, February 28, 2013.

David Feith, «How Iran Went Nuclear», *Wall Street Journal*, March 2, 2013.

Lara Jakes and Peter Leonard, «World Powers Coax Iran into Saving Nuclear Talks», *Miami Herald*, February 27, 2013.

Semira N. Nikou, «Timeline of Iran's Nuclear Activities» (United States Institute of Peace, 2014).

Hassan Rohani, «Beyond the Challenges Facing Iran and the IAEA Concerning the Nuclear Dossier» (speech to the Supreme Cultural Revolution Council), *Rahbord*, September 30, 2005, 7–38, FBIS-IAP20060113336001.

Steve Rosen, «Did Iran Offer a ‘Grand Bargain’ in 2003?», *American Thinker*, November 16, 2008.

Joby Warrick and Jason Rezaian, «Iran Nuclear Talks End on Upbeat Note», *Washington Post*, February 27, 2013.

Ayatollah Ali Khamenei, remarks to members of the Iranian Majles (Parliament), Fars News Agency, as translated and excerpted in KGS NightWatch news report, May 26, 2014.

David Remnick, «Going the Distance», *New Yorker*, January 27, 2014.

Address by Yitzhak Rabin to a joint session of the U.S. Congress, July 26, 1994, online archive of the Yitzhak Rabin Center.

Глава 5

Philip Bowring, «What Is ‘Asia’?», *Far Eastern Economic Review*, February 12, 1987.

Qi Jianguo, «An Unprecedented Great Changing Situation: Understanding and Thoughts on the Global Strategic Situation and Our Country’s National Security Environment», *Xuexi shibao [Study Times]*, January 21, 2013, trans. James A. Bellacqua and Daniel M. Hartnett (Washington, D.C.: CNA, April 2013).

Immanuel C. Y. Hsu, *The Rise of Modern China* (New York: Oxford University Press, 2000), 315–17.

Thant Myint-U, *Where China Meets India* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011), 77–78.

John W. Garver, *Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century* (Seattle: University of Washington Press, 2001), 138–40.

Lucian W. Pye, *Asian Power and Politics* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985), 95–99.

David C. Kang, *East Asia Before the West: Five Centuries of Trade and Tribute* (New York: Columbia University Press, 2010), 77–81.

Kenneth B. Pyle, *Japan Rising* (New York: Public Affairs, 2007), 37.

John W. Dower, *War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War* (New York: Pantheon, 1986), 222.

Samuel Hawley, *The Imjin War: Japan’s Sixteenth-Century Invasion of Korea and Attempt to Conquer China* (Seoul: Royal Asiatic Society, Korea Branch, 2005).

Hidemi Suganami, «Japan’s Entry into International Society», in Bull and Watson, *Expansion of International Society*, 187.

Marius Jansen, *The Making of Modern Japan* (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2002), 87.

President Millard Fillmore to the Emperor of Japan (presented by Commodore Perry on July 14, 1853), in Francis Hawks and Matthew Perry, *Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan, Performed in the Years 1852, 1853, and 1854, Under the Command of Commodore M. C. Perry, United States Navy, by Order of the Government of the United States* (Washington, D.C.: A. O. P. Nicholson, 1856), 256–57.

Meiji Charter Oath, in *Japanese Government Documents*, ed. W. W. McLaren (Bethesda, Md.: University Publications of America, 1979), 8.

Yasuhiro Nakasone, «A Critical View of the Postwar Constitution» (1953), in *Sources of Japanese Tradition*, ed. Wm. Theodore de Bary, Carol Gluck, and Arthur E. Tiedemann (New York: Columbia University Press, 2005), 2:1088–89.

National Security Strategy (Provisional Translation) (Tokyo: Ministry of Foreign Affairs, December 17, 2013), 1–3.

S. Radhakrishnan, «Hinduism», in *A Cultural History of India*, ed. A. L. Basham (New Delhi: Oxford University Press, 1997), 60–82.

Daniel Boorstin, *The Discoverers* (New York: Vintage Books, 1985), 104–6, 176–77.

The Bhagavad Gita, trans. Eknath Easwaran (Tomales, Calif.: Nilgiri Press, 2007), 82–91.

Amartya Sen, *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture, and Identity* (New York: Picador, 2005), 3–6.

Kautilya, *Arthashastra*, trans. L. N. Rangarajan (New Delhi: Penguin Books India, 1992), 6.2.35–37, p. 525.

Roger Boesche, *The First Great Political Realist: Kautilya and His «Arthashastra»* (Lanham, Md.: Lexington Books, 2002), 46.

Robert Kaplan, *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate* (New York: Random House, 2012), 237.

John Robert Seeley, *The Expansion of England: Two Courses of Lectures* (London: Macmillan, 1891), 8.

John Strachey, *India* (London: Kegan, Paul, Trench, 1888), as quoted in Ramachandra Guha, *India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy* (New York: Ecco, 2007), 3.

Jawaharlal Nehru, «India's Foreign Policy» (speech delivered at the Constituent Assembly, New Delhi, December 4, 1947), in *Independence and After: A Collection of Speeches, 1946–1949* (New York: John Day, 1950), 204–5.

Baldev Raj Nayar and T. V. Paul, *India in the World Order: Searching for Major-Power Status* (New York: Cambridge University Press, 2003), 124–25.

Jawaharlal Nehru, «Speech to the Bandung Conference Political Committee» (1955), as printed in G. M. Kahin, *The Asian-African Conference* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1956), 70.

«Agreement (with Exchange of Notes) on Trade and Intercourse Between Tibet Region of China and India, Signed at Peking, on 29 April 1954», United Nations Treaty Series, vol. 299 (1958), 70.

Pew Research Center Forum on Religion and Public Life, *The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as of 2010* (Washington, D.C.: Pew Research Center, 2012), 22.

Глава 6

Mark Mancall, «The Ch'ing Tribute System: An Interpretive Essay», in *The Chinese World Order*, ed. John K. Fairbank (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968), 63.

Mark Mancall, *China at the Center: 300 Years of Foreign Policy* (New York: Free Press, 1984), 16–20.

Jonathan Spence, *The Search for Modern China*, 2nd ed. (New York: W. W. Norton, 1999), 197–202.

Ying-shih Yü, *Trade and Expansion in Han China: A Study in the Structure of Sino-Barbarian Economic Relations* (Berkeley: University of California Press, 1967), 37.

The Search for Modern China: A Documentary Collection, ed. Pei-kai Cheng, Michael Lestz, and Jonathan Spence (New York: W. W. Norton, 1999), 105. 219.

Papers Relating to Foreign Affairs Accompanying the Annual Message of the President to the First Session of the Thirty-eighth Congress (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1864), Document No. 33 («Mr. Burlingame to Mr. Seward, Peking, January 29, 1863»), 2:846–848.

James Legge, *The Chinese Classics; with a Translation, Critical and Exegetical Notes, Prolegomena, and Copious Indexes*, vol. 5, pt. 1 (Hong Kong: Lane, Crawford, 1872), 52–53.

Rana Mitter, *Forgotten Ally: China's World War II, 1937–1945* (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013).

«Sixty Points on Working Methods – a Draft Resolution from the Office of the Centre of the CPC: 19.2.1958», in *Mao Papers: Anthology and Bibliography*, ed. Jerome Ch'en (London: Oxford University Press, 1970), 63–66.

«National Intelligence Estimate 13-7-70: Communist China's International Posture» (November 12, 1970), in *Tracking the Dragon: National Intelligence Estimates on China During the Era of Mao, 1948–1976*, ed. John Allen, John Carver, and Tom Elmore (Pittsburgh: Government Printing Office, 2004), 593–594.

Graham Allison, «Obama and Xi Must Think Broadly to Avoid a Classic Trap», *New York Times*, June 6, 2013.

Richard Rosecrance, *The Resurgence of the West: How a Transatlantic Union Can Prevent War and Restore the United States and Europe* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2013).

Zhu Majie, «Deng Xiaoping's Human Rights Theory», in *Cultural Impact on International Relations*, ed. Yu Xintian, Chinese Philosophical Studies (Washington, D.C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2002), 81.

Глава 7

«Speech on Conciliation with America» (1775), in Edmund Burke, *On Empire, Liberty, and Reform: Speeches and Letters*, ed. David Bromwich (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000), 81–83.

Alexis de Tocqueville, «Concerning Their Point of Departure», in *Democracy in America*, trans. George Lawrence (New York: Harper & Row, 1969), 46–47.

Paul Leicester Ford, ed., *The Writings of Thomas Jefferson* (New York: G. P. Putnam's Sons, 1892–99), 8:158–59, quoted in Robert W. Tucker and David C. Hendrickson, *Empire of Liberty: The Statecraft of Thomas Jefferson* (New York: Oxford University Press, 1990), 11.

Jefferson to Monroe, October 24, 1823, as excerpted in «Continental Policy of the United States: The Acquisition of Cuba», *United States*

Magazine and Democratic Review, April 1859, 23.

John Winthrop, «A Model of Christian Charity» (1630). See Brendan Simms, *Europe*, 36.

Publius [Alexander Hamilton], *The Federalist* 1, in Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay, *The Federalist Papers* (New York: Mentor, 1961), 1–2.

John O’Sullivan, «Annexation», *United States Magazine and Democratic Review*, July – August 1845, 5.

John Quincy Adams, «An Address Delivered at the Request of the Committee of Citizens of Washington, 4 July 1821» (Washington, D.C.: Davis and Force, 1821), 28–29.

Jedidiah Morse, *The American Geography; or, A View of the Present Situation of the United States of America*, 2nd ed. (London: John Stockdale, 1792), 468–469, as excerpted in *Manifest Destiny and American Territorial Expansion: A Brief History with Documents*, ed. Amy S. Greenberg (Boston: Bedford/St.Martin’s, 2012), 53.

John O’Sullivan, «The Great Nation of Futurity», *United States Magazine and Democratic Review*, November 1839, 426–427.

Amanda Foreman, *A World on Fire: Britain’s Crucial Role in the American Civil War* (New York: Random House, 2011);

Howard Jones, *Blue and Gray Diplomacy: A History of Union and Confederate Foreign Relations* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009).

Fareed Zakaria, *From Wealth to Power: The Unusual Origins of America’s World Role* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998), 47.

Grover Cleveland, First Inaugural Address, March 4, 1885, in *The Public Papers of Grover Cleveland* (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1889), 8.

Thomas G. Paterson, J. Garry Clifford, and Kenneth J. Hagan, *American Foreign Policy: A History* (Lexington, Mass.: D. C. Heath, 1977), 189.

Theodore Roosevelt, Inaugural Address, March 4, 1905, in *United States Congressional Serial Set 484* (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1905), 559.

Theodore Roosevelt, «International Peace», Nobel lecture, May 5, 1910, in *Peace: 1901–1925: Nobel Lectures* (Singapore: World Scientific Publishing Co., 1999), 106.

Roosevelt's statement to Congress, 1902, quoted in John Morton Blum, *The Republican Roosevelt* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967), 137.

Roosevelt to Spring Rice, December 21, 1907, in *The Selected Letters of Theodore Roosevelt*, ed. H. W. Brands (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2001), 465.

Theodore Roosevelt, review of *The Influence of Sea Power upon History*, by Alfred Thayer Mahan, *Atlantic Monthly*, October 1890.

Theodore Roosevelt, «The Strenuous Life», in *The Strenuous Life: Essays and Addresses* (New York: Century, 1905), 9.

Edmund Morris, *Theodore Rex* (New York: Random House, 2001), 176–82.

Theodore Roosevelt's Annual Message to Congress for 1904, HR 58A-K2, Records of the U.S. House of Representatives, RG 233, Center for Legislative Archives, National Archives.

James R. Holmes, *Theodore Roosevelt and World Order: Police Power in International Relations* (Washington, D.C.: Potomac Books, 2007), 10–13, 68–74.

Woodrow Wilson, Commencement Address at the U.S. Military Academy at West Point (June 13, 1916), in *Papers of Woodrow Wilson*, ed. Arthur S. Link (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982), 37:212.

Woodrow Wilson, Address to a Joint Session of Congress on the Conditions of Peace (January 8, 1918) («Fourteen Points»), as quoted in A. Scott Berg, *Wilson* (New York: G. P. Putnam's Sons, 2013), 471.

Treaties for the Advancement of Peace Between the United States and Other Powers Negotiated by the Honorable William J. Bryan, Secretary of State of the United States, with an Introduction by James Brown Scott (New York: Oxford University Press, 1920).

Woodrow Wilson, Message to Congress, April 2, 1917, in *U.S. Presidents and Foreign Policy from 1789 to the Present*, ed. Carl C. Hodge and Cathal J. Nolan (Santa Barbara, Calif.: ABC–CLIO, 2007), 396.

«Peace Without Victory», January 22, 1917, in supplement to *American Journal of International Law* 11 (1917): 323.

Wilson, Message to Congress, April 2, 1917, in *President Wilson's Great Speeches, and Other History Making Documents* (Chicago: Stanton and Van Vliet, 1917), 17–18.

Woodrow Wilson, Fifth Annual Message, December 4, 1917, in *United States Congressional Serial Set 7443* (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1917), 41.

Wilson, Fifth Annual Message, December 4, 1917, in *The Foreign Policy of President Woodrow Wilson: Messages, Addresses and Papers*, ed. James Brown Scott (New York: Oxford University Press, 1918), 306.

Lloyd George, Wilson memorandum, March 25, 1919, in Ray Stannard Baker, ed., *Woodrow Wilson and World Settlement* (New York: Doubleday, Page, 1922), 2:450.

Harold Nicolson, *Peacemaking, 1919* (1933; London: Faber & Faber, 2009).

Margaret MacMillan, *Paris 1919: Six Months That Changed the World* (New York: Random House, 2002).

«Differences Between the North Atlantic Treaty and Traditional Military Alliances», appendix to the testimony of Ambassador Warren Austin, April 28, 1949, in U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, *The North Atlantic Treaty*, hearings, 81st Cong., 1st sess. (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1949), pt. I.

Roosevelt to James Bryce, November 19, 1918, in *The Letters of Theodore Roosevelt*, ed. Elting E. Morrison (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1954), 8:1400.

See Peter Clarke, *The Last Thousand Days of the British Empire: Churchill, Roosevelt, and the Birth of the Pax Americana* (New York: Bloomsbury Press, 2009).

Radio Address at Dinner of Foreign Policy Association, New York, October 21, 1944, in *Presidential Profiles: The FDR Years*, ed. William D. Peterson (New York: Facts on File, 2006), 429.

Fourth Inaugural Address, January 20, 1945, in *My Fellow Americans: Presidential Inaugural Addresses from George Washington to Barack Obama* (St. Petersburg, Fla.: Red and Black Publishers, 2009).

William C. Bullitt, «How We Won the War and Lost the Peace», *Life*, August 30, 1948, as quoted in Arnold Beichman, «Roosevelt's Failure at Yalta», *Humanitas* 16, no. 1 (2003): 104.

Keith Eubank, *Summit at Teheran: The Untold Story* (New York: William Morrow, 1985), 188–196.

T. A. Taracouzio, *War and Peace in Soviet Diplomacy* (New York: Macmillan, 1940), 139–140.

Charles Bohlen, *Witness to History, 1929–1969* (New York: W. W. Norton, 1973), 211.

Conrad Black, *Franklin Delano Roosevelt: Champion of Freedom* (New York: PublicAffairs, 2003).

Глава 8

Harry S. Truman, Address on Foreign Policy at the Navy Day Celebration in New York City, October 27, 1945.

Dwight D. Eisenhower, Second Inaugural Address («The Price of Peace»), January 21, 1957, in *Public Papers of the Presidents: Dwight D. Eisenhower, 1957–1961*, 62–63.

Gerald Ford, Address to a Joint Session of Congress, August 12, 1974, in *Public Papers of the Presidents: Gerald R. Ford (1974–1977)*, 6.

Lyndon B. Johnson, Address to the United Nations General Assembly, December 17, 1963.

Robert Kagan, *The World America Made* (New York: Alfred A. Knopf, 2012).

Milovan Djilas, *Conversations with Stalin*, trans. Michael B. Petrovich (New York: Harcourt Brace & Company, 1962), 114.

Kennan to Charles Bohlen, January 26, 1945, as quoted in John Lewis Gaddis, *George Kennan: An American Life* (New York: Penguin Books, 2011), 188.

«X» [George F. Kennan], «The Sources of Soviet Conduct», *Foreign Affairs* 25, no. 4 (July 1947).

Robert Rhodes James, ed., *Winston S. Churchill: His Complete Speeches, 1897–1963* (New York: Chelsea House, 1974), 7:710.

A Report to the National Security Council by the Executive Secretary on United States Objectives and Programs for National Security, NSC-68 (April 14, 1950), 7.

John Foster Dulles, «Foundations of Peace» (address to the Veterans of Foreign Wars, New York, August 18, 1958).

Shen Zhihua, *Mao, Stalin, and the Korean War: Trilateral Communist Relations in the 1950s*, trans. Neil Silver (London: Routledge, 2012), 140.

Chen Jian, *China's Road to the Korean War: The Making of the Sino-American Confrontation* (New York: Columbia University Press, 1994), 149–150.

Sergei N. Goncharov, John W. Lewis, and Xue Litai, *Uncertain Partners: Stalin, Mao, and the Korean War* (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1993).

Henry Kissinger, *On China* (New York: Penguin Press, 2011).

Shen, *Mao, Stalin, and the Korean War*; and Shu Guang Zhang, *Mao's Military Romanticism: China and the Korean War, 1950–1953* (Lawrence: University Press of Kansas, 1995).

General Omar N. Bradley, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, testimony before the Senate Committees on Armed Services and Foreign Relations, May 15, 1951, in *Military Situation in the Far East*, hearings, 82nd Cong., 1st sess., pt. 2, 732 (1951).

Peter Braestrup, *Big Story: How the American Press and Television Reported and Interpreted the Crisis of Tet 1968 in Vietnam and Washington* (Boulder, Colo.: Westview Press, 1977).

Robert Elegant, «How to Lose a War: The Press and Viet Nam», *Encounter* (London), August 1981, 73–90.

Guenter Lewy, *America in Vietnam* (New York: Oxford University Press, 1978), 272–279, 311–324.

«An Interview with the President: The Jury Is Out», *Time*, January 3, 1972.

Richard Nixon, *U.S. Foreign Policy for the 1970's: Building for Peace: A Report to the Congress*, by Richard Nixon, President of the United States, February 25, 1971, 107.

Richard Nixon, Remarks to Midwestern News Media Executives Attending a Briefing on Domestic Policy in Kansas City, Missouri, July 6, 1971, in *Public Papers of the Presidents*, 805–806.

Richard Nixon, Second Inaugural Address, January 20, 1973, in *My Fellow Americans*, 333.

Richard Nixon, *U.S. Foreign Policy for the 1970's: Building for Peace*, 10.

Richard Nixon, *U.S. Foreign Policy for the 1970's: A New Strategy for Peace*, February 18, 1970, 9.

Richard Nixon, *U.S. Foreign Policy for the 1970's: Shaping a Durable Peace*, May 3, 1973, 232–33.

Ronald Reagan, Farewell Address to the American People, January 11, 1989, in *In the Words of Ronald Reagan: The Wit, Wisdom, and Eternal*

Optimism of America's 40th President, ed. Michael Reagan (Nashville: Thomas Nelson, 2004), 34.

Ronald Reagan, *An American Life* (New York: Simon & Schuster, 1990), 592.

Lou Cannon, *President Reagan: The Role of a Lifetime* (New York: Simon & Schuster, 1990), 792.

Ronald Reagan, Address Before a Joint Session of Congress on the State of the Union, January 25, 1984, in *The Public Papers of President Ronald W. Reagan*, Ronald Reagan Presidential Library.

George H. W. Bush, Remarks to the Federal Assembly in Prague, Czechoslovakia, November 17, 1990, accessed online at Gerhard Peters and John T. Woolley, eds., *The American Presidency Project*.

George H. W. Bush, Remarks at Maxwell Air Force Base War College, Montgomery, Alabama, April 13, 1991, in Michael D. Gambone, *Small Wars: Low-Intensity Threats and the American Response Since Vietnam* (Knoxville: University of Tennessee Press, 2012), 121.

«Confronting the Challenges of a Broader World», President Clinton Address to the UN General Assembly, New York City, September 27, 1993, in *Department of State Dispatch* 4, no. 39 (September 27, 1993).

George W. Bush, Presidential Address to a Joint Session of Congress, September 20, 2001, in *We Will Prevail: President George W. Bush on War, Terrorism, and Freedom* (New York: Continuum, 2003), 13.

«Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent Government Institutions», December 5, 2001, UN Peacemaker online archive.

UN Security Council Resolution 1510 (October 2003).

Winston Churchill, *My Early Life* (New York: Charles Scribner's Sons, 1930), 134.

The National Security Strategy of the United States of America (2002).

George W. Bush, Remarks by the President at the 20th Anniversary of the National Endowment for Democracy, United States Chamber of Commerce, Washington, D.C. (November 6, 2003).

William J. Clinton, Statement on Signing the Iraq Liberation Act of 1998, October 31, 1998.

Remarks by the President at the 20th Anniversary of the National Endowment for Democracy, Washington, D.C., November 6, 2003.

Peter Baker, *Days of Fire: Bush and Cheney in the White House* (New York: Doubleday, 2013), 542.

George Shultz, «Power and Diplomacy in the 1980s», Washington, D.C., April 3, 1984, *Department of State Bulletin*, vol. 84, no. 2086 (May 1984), 13.

Глава 9

Michael Gerson, «The Origins of Strategic Stability: The United States and the Threat of Surprise Attack», in *Strategic Stability: Contending Interpretations*, ed. Elbridge Colby and Michael Gerson (Carlisle, Pa: Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 2013).

Michael Quinlan, *Thinking About Nuclear Weapons Principles, Problems, Prospects* (Oxford: Oxford University Press, 2009).

C. A. Mack, «Fifty Years of Moore's Law», *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing* 24, no. 2 (May 2011): 202–207.

Rick Smolan and Jennifer Erwit, eds., *The Human Face of Big Data* (Sausalito, Calif.: Against All Odds, 2013).

Eric Schmidt and Jared Cohen, *The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business* (New York: Alfred A. Knopf, 2013).

Jaron Lanier, *Who Owns the Future?* (New York: Simon & Schuster, 2013).

Evgeny Morozov, *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom* (New York: PublicAffairs, 2011).

To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism (New York: PublicAffairs, 2013).

Viktor Mayer-Schonberger and Kenneth Cukier, *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live Work, and Think* (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013), 73–97.

Don Clark, «'Internet of Things' in Reach», *Wall Street Journal*, January 5, 2014.

David C. Gompert and Phillip Saunders, *The Paradox of Power: Sino-American Strategic Relations in an Age of Vulnerability* (Washington, D.C.: National Defense University, 2011).

Ralph Langer, «Stuxnet: Dissecting a Cyberwarfare Weapon», *IEEE Security and Privacy* 9, no. 3 (2011): 49–52.

Rex Hughes, quoting General Keith Alexander, in «A Treaty for Cyberspace», *International Affairs* 86, no. 2 (2010): 523–541.

Publius [James Madison], *The Federalist* 10, in Hamilton, Madison, and Jay, *Federalist Papers*, 46–47.

Digital Set to Surpass TV in Time Spent with US Media: Mobile Helps Propel Digital Time Spent», eMarketer.com, August 1, 2013.

Brian Stelter, «8 Hours a Day Spent on Screens, Study Finds», *New York Times*, March 26, 2009.

T. S. Eliot, *Collected Poems, 1909–1962* (Boston: Harcourt Brace Jovanovich, 1991), 147.

Betsy Sparrow, Jenny Liu, and Daniel M. Wegner, «Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips», *Science* 333, no. 6043 (2011): 776–778.

Nicholas Carr, *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains* (New York: W. W. Norton, 2010).

Erik Brynjolfsson and Michael D. Smith, «The Great Equalizer? Consumer Choice Behavior at Internet Shopbots» (Cambridge, Mass.: MIT Sloan School of Management, 2001).

Neal Leavitt, «Recommendation Technology: Will It Boost E-commerce?», *Computer* 39, no. 5 (2006): 13–16.

Clive Thompson, *Smarter Than You Think: How Technology Is Changing Our Minds for the Better* (New York: Penguin Press, 2013).

Schmidt and Cohen, *New Digital Age*, 35, 198–199.

Ofeibea Quist-Arcton, «Text Messages Used to Incite Violence in Kenya», National Public Radio, February 20, 2008.

«When SMS Messages Incite Violence in Kenya», *Harvard Law School Internet & Democracy Blog*, February 21, 2008.

Eric Siegel, *Predictive Analytics: The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die* (Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2013).

Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France* (1790; Indianapolis: Hackett, 1987), 29.

Заклучение

Charles Kupchan, *No One's World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn* (New York: Oxford University Press, 2012).

Samuel Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996).

John Micklethwait and Adrian Wooldridge, *The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State* (New York: Penguin Press, 2014).

Edmund Burke to Charles-Jean-Francois Depont, November 1789, in *On Empire, Liberty, and Reform*, 412–413.

G. S. Kirk and J. E. Raven, *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1957), 193, 195, 199 (on Heraclitus).

Friedrich Nietzsche, *The Pre-Platonic Philosophers*, trans. with commentary by Greg Whitlock (Urbana: University of Illinois Press, 2001).

Henry A. Kissinger, «The Meaning of History: Reflections on Spengler, Toynbee and Kant» (undergraduate thesis, Department of Government, Harvard University, 1950).

Примечания

1

Вестфальский мирный договор был подписан в середине XVII века, а концепция тотальной войны разработана немецкими военными теоретиками в начале XX века; эта концепция исходила из факта, что современная война перестала быть сражением армий и стала сражением наций – одно государство, мобилизуя все доступные ресурсы, побеждает другое, сокращая его «дух». (*Прим. перев.*)

2

Экуменизм – единство в многообразии, принцип сосуществования различных христианских церквей. В данном случае вместо авторского термина было бы логичнее использовать определение «мультикультурализм». (*Прим. перев.*)

3

Имеется в виду государство Сасанидов на территории современных Ирака и Ирана (в период расцвета занимало территорию от Александрии в Египте до Пешавара в Пакистане), существовавшее до середины VII столетия и уничтоженное Арабским халифатом. (*Прим. перев.*)

4

«Территория войны» (Дар-аль-харб) – в исламском богословии земли, где большинство населения составляют неверные, не исповедующие ислам и ему враждебные. «Территории войны» противопоставляется Дар-аль-ислам – «территория ислама»; между ними находится Дар-ас-сульх – «территория перемирия», где в Аллаха не верят, но мусульман не преследуют. Ни в Коране, ни в хадисах (изречениях) Пророка о подобном делении мира не упоминается;

считается, что эту концепцию ввели в обращение богословы XIII–XIV веков. (*Прим. перев.*)

5

Имеется в виду передача значительной части полномочий государственной власти в суверенном национальном государстве наднациональной структуре, в данном случае – Европейскому союзу. (*Прим. перев.*)

6

Цит. по: Антология мировой правовой мысли. Т. 2. М.: Мысль, 1999. Пер. Н. Ф. Ускова. (*Прим. перев.*)

7

Полный титул Карла звучал так: «Карл милостивейший возвышенный, коронованный Богом, великий властитель-миротворец, правитель Римской империи, милостью Божией король франков и лангобардов». (*Прим. перев.*)

8

Имеется в виду создание Испанской марки (графства), завоевание Жероны и Барселоны и последующий захват Таррагоны (801–806). Следует отметить, что боевые действия против мавров вел не Карл, а его сын и будущий преемник на троне – Людовик Аквитанский (Благочестивый). (*Прим. перев.*)

9

Позднее в Европе, фракционной и скептической по отношению к универсалистским претензиям, правление Карла воспринималось не столько как шаг в направлении долгожданного единства, сколько как катастрофическая угроза. Шотландский философ Дэвид Юм, продукт эпохи Просвещения, напишет в восемнадцатом столетии: «Человечество заново утрастило опасность всемирной монархии,

когда император Карл объединил столь многие королевства и княжества».

10

Так у автора. Точнее – Неаполитанское королевство (Королевство обеих Сицилий), которым от имени императора Габсбурга управлял вице-король. Формально границы королевства охватывали всю Южную Италию. (*Прим. перев.*)

11

«Главный евнух» – этого титула Чжэн Хэ был удостоен за заслуги перед императором; в китайской бюрократической иерархии этот титул примерно соответствовал чиновнику 4-го ранга (всего рангов было 9). Как адмирал Чжэн Хэ руководил всеми семью дальними плаваниями китайского флота в 1405–1433 годах. (*Прим. перев.*)

12

Так у автора. На самом деле по отцу Ришелье принадлежал к родовитому дворянству, его отец служил королям Генриху III и Генриху IV, а крестными отцами юного Армана стали два маршала Франции. (*Прим. перев.*)

13

Ришелье сам имел «серого кардинала», то есть конфидента и тайного агента Франсуа Леклера дю Трамбле, он же отец Жозеф, монах ордена капуцинов; свое прозвище он получил из-за цвета монашеского одеяния, и в дальнейшем так стали называть теневые фигуры мировой дипломатии.

14

Государственных интересов (*фр.*). (*Прим. перев.*)

15

В исторической литературе и беллетристике обычно переводят этот титул как «Всехристианнейший» или «Наихристианнейший», но здесь принципиально важно подчеркнуть принадлежность Франции к католическому миру. (*Прим. перев.*)

16

Эти формальные условия терпимости распространялись только на три признанные христианские конфессии – католицизм, лютеранство и кальвинизм.

17

Схожее по духу мнение выражал также Вильгельм III Оранский, который на протяжении жизни целого поколения боролся против французского господства (сначала как штатгальтер Нидерландов, а затем как король Англии, Ирландии и Шотландии); Вильгельм признавался своему советнику, что, живи он в 1550-х годах, когда Габсбурги пребывали в зените славы, он был бы «настолько французом, насколько теперь испанец» (Габсбург). Позднее и Уинстон Черчилль, отвечая в 1930 году на обвинения в антигерманизме, сказал: «Если обстоятельства изменились бы с точностью до наоборот, мы бы стали пронемецкой и антифранцузской страной».

18

Опыт, который заставил Гоббса написать «Левиафана», он почерпнул в основном из гражданских войн в Англии; влияние этих войн на Англию, к слову, не столь разрушительное, как влияние Тридцатилетней войны на континент, было весьма существенным.

19

Этот абзац из главы XXX «Левиафана» в русском переводе работы Т. Гоббса опущен. (*Прим. перев.*)

20

Важно помнить, что в ту пору существовала всего одна реальная сила в Центральной Европе – Австрия и ее доминионы. Пруссия оставалась третьестепенным государством на восточной окраине Германии. Сама Германия была географическим понятием, а не страной. Десятки малых, даже миниатюрных княжеств составляли мозаику немецкого правления.

21

Пер. Ю. Б. Корнеева. (*Прим. перев.*)

22

До того как безжалостная дипломатия привела к трем последовательным разделам Польши, восточная половина территории Фридриха была ограничена Польшей с трех сторон и Балтийским морем с четвертой.

23

«Не так все плохо накануне битвы» (*фр.*). (*Прим. перев.*)

24

Как заметил в 1734 году Александр Поуп: «О формах власти спорить – блажь и грех; / Тот лучше всех, кто правит лучше всех».

25

Имеются в виду князь А. Чарторыйский, министр иностранных дел России в 1804–1806 годах и претендент на польский престол, и граф И. Каподистрия, в 1816–1822 годах – министр иностранных дел Российской империи, а с 1828-го – первый президент Греции. (*Прим. перев.*)

26

Дидро Д. Проспект к «Энциклопедии» // Собр. соч. в 10 т. М.: Художественная литература, 1939. Т. 7. Пер. В. И. Пикова. (*Прим.*

перев.)

27

Монтескье Ш.-Л. Размышления о причинах величия и падения римлян. Перевод под ред. М. П. Баскина. (Прим. перев.)

28

Здесь и далее: *Кант И.* Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Пер. И. А. Шапиро. (Прим. перев.)

29

Кант И. К вечному миру. Пер. под ред. А. В. Гулыги. (Прим. перев.)

30

То есть представительско-демократические государства с формами участия правительства, управляемые посредством системы законов, которые применимы в равной степени для всех граждан. Трактат «К вечному миру» с тех пор причисляют к провозвестникам современной «демократической теории мира». Тем не менее в своем трактате Кант различал республики, которые он описывал как представительные политические структуры, где «исполнительная власть (правительство) отделена от законодательной», и демократии. «Демократия, в собственном смысле слова [иначе – прямая демократия, примером которой могут служить поздние древние Афины, где все государственные дела решались народным голосованием. – Г. К.], – утверждал Кант, – неизбежно есть деспотизм».

31

Опираясь в пространстве чистого разума, Кант предпочел не заметить пример республиканской Франции, которая затеяла войну со всеми своими соседями ради народной поддержки.

32

Как гласит знаменитая максима Руссо: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». Эволюция человечества пошла наперекосяк с той поры, как «первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить «Это мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить». И потому лишь когда частная собственность упразднена и заменена общинной и когда устранены искусственные градации социального статуса, справедливость может быть достигнута. А поскольку владельцы собственности и обладатели статуса будут сопротивляться, подобное может произойти только вследствие «насильственной революции».

33

Здесь и далее пер. А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова (*Прим. перев.*): Легитимная власть, по рассуждению Руссо, возникает, лишь когда «каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого». Несогласные подлежат истреблению, поскольку в мире рациональных и равноправных социальных структур расхождения внутри народной воли будут отражать нелегитимную оппозицию принципу народовластия: «Если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что его силою принудят быть свободным. Ибо таково условие, которое, подчиняя каждого гражданина отечеству, одновременно тем самым ограждает его от всякой личной зависимости».

34

Глава VIII трактата «Об общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо посвящена «законодателю», о котором автор пишет: «Тот, кто берет на себя смелость дать установления какому-либо народу, должен чувствовать себя способным изменить, так сказать, человеческую природу, превратить каждого индивидуума, который сам по себе есть некое замкнутое и изолированное целое, в часть более крупного целого, от которого этот индивидуум в известном смысле получает свою жизнь и свое бытие; переиначить организм человека, дабы его

укрепить; должен поставить на место физического и самостоятельного существования, которое нам всем дано природой, существование частичное и моральное». См.: *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты. М.: Канон-Пресс, 1998. (*Прим. перев.*)

35

Кодекс Наполеона – кодификация гражданского права, заменил собой разрозненные правовые обычаи и нормативные акты; нормы кодекса отвергли сословное деление общества и формировали новую философию собственности – право владеть и пользоваться имуществом «наиболее абсолютным образом». Считается, что во многом именно благодаря этому кодексу французский народ «стал единой нацией». (*Прим. перев.*)

36

Сражение получило такое название, поскольку в нем приняли участие армии пяти государств – Франции, России, Австрии, Пруссии и Швеции, – а также поскольку общая численность войск с обеих сторон достигала почти 1 миллиона человек. (*Прим. перев.*)

37

Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В 2 т. М.: Мысль, 1970–1971. Т. 2. С. 255. Пер. А. В. Михайлова. (*Прим. перев.*)

38

Кюстин А. де. Россия в 1839 г. Пер. с фр. под ред. В. А. Мильчиной. (*Прим. перев.*)

39

Послание Филофея имеет своим адресатом не Ивана III, а его сына, князя Василия, первого русского царя («цезаря»). Дословно в послании сказано: «Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое» (пер. В. В. Колесова). (*Прим. перев.*)

40

Преемники Ивана придали этой философской концепции геополитический размах. Екатерина Великая замыслила «греческий проект», который предполагалось завершить завоеванием Константинополя и коронованием царского внука, «удачно» носившего имя Константин. Князь Потемкин, доверенное лицо императрицы, даже установил в Крыму (в дополнение к фасадам деревень) дорожные знаки, гласившие: «В Византию». Для России присоединение бывшей столицы православного христианства стало задачей одновременно духовного и стратегического (в империи не хватало незамерзающих портов) значения. Русский панславист-интеллектуал девятнадцатого века Николай Данилевский подытожил длительную эволюцию этой идеи чеканной формулировкой: «Цель стремлений русского народа с самой зари его государственности, идеал просвещения, славы, роскоши и величия для наших предков, центр православия, яблоко раздора между нами и Европой, – какое историческое значение имел бы для нас Константинополь, вырванный из рук турок, вопреки всей Европе! Каким духом занимающим восторгом наполнило бы наши сердца сияние нами воздвигнутого креста на куполе Святой Софии! Прибавьте к этому... несравненные преимущества Константинополя, его мировое, торговое значение, восхитительное местоположение, все очарования юга».

41

Ордин-Нащокин А. Л. – боярин, глава Посольского приказа (прообраза министерства иностранных дел). Ответ цит. по очерку В. О. Ключевского: *А. Л. Ордин-Нащокин, московский государственный человек XVII в.* / Научное слово. Кн. III. М., 1904. С. 121–138. (*Прим. перев.*)

42

Адамс Г. Воспитание Генри Адамса. М., Прогресс, 1988. Пер. М. А. Шерешевской. (*Прим. перев.*)

43

Когда русские войска вошли в 1864 году на территорию, в настоящее время известную как Узбекистан, канцлер А. М. Горчаков сформулировал принципы российской экспансии в терминах «вечного» обязательства усмирять периферию, побуждаемую к развитию: «Государство [Россия] должно решиться на что-нибудь одно: или отказаться от этой непрерывной работы и обречь свои границы на постоянные неурядицы, делающие невозможным здесь благосостояние, безопасность и просвещение, или же все более и более подвигаться в глубь диких стран, где расстояния с каждым сделанным шагом увеличивают затруднения и тягости, которым оно подвергается. [Такова была участь всех государств, поставленных в те же условия.]...Все неизбежно увлекались на путь движения вперед, в котором менее честолюбия, чем крайней необходимости, и где величайшая трудность состоит в умении остановиться». (*Прим. перев.*)

44

Демонстрируя практический подход и личный пример, изумлявший современников в странах Западной Европы, Петр работал плотником на голландских верфях, разбирал и чинил часы в Лондоне и пугал свою свиту, выказывая интерес к новым наукам – стоматологии и патологоанатомии.

45

Наказ Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения. 1767 г. (Цит. по: Екатерина II, имп. О величии России. М.: ЭКСМО, 2003. С. 72–73. *Прим. перев.*)

46

Опросы среди современных россиян показывают, что 47 процентов опрошенных согласны со следующим тезисом: «Сталин – мудрый руководитель, который заложил основы могущества и процветания СССР»; 30 процентов согласны, что «нам всегда требуется такой лидер, как Сталин, чтобы навести порядок в стране».

47

Там же. Цит. по: Екатерина II, имп. М.: Эксмо, 2003. О величии России. С. 73. (*Прим. перев.*)

48

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991. (*Прим. перев.*)

49

Достоевский Ф. М. Дневник. Спб. 1881 г. (*Прим. перев.*)

50

Мнение П. Чаадаева вызвало широкий интерес и повсюду обсуждалось, хотя текст немедленно запретила цензура, а автора объявили душевнобольным и поместили под надзор полиции.

51

Чаадаев П. Я. Философические письма. Письмо первое // Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. М.: Наука, 1991. (*Прим. перев.*)

52

Цит. по: Московские ведомости. 1882. 8 сентября. № 249. (*Прим. перев.*)

53

По решению Венского конгресса Россия, Англия, Австрия и Пруссия обязались совместными усилиями сдерживать агрессивные притязания Франции; так возник Четверной союз, из которого впоследствии по инициативе российского царя Александра I вырос Священный союз. (*Прим. перев.*)

54

Это аналогично решению Западной Германии в 1954 году присоединиться к НАТО – хотя прошло меньше десяти лет с безоговорочной капитуляции Германии и чудовищно жестокой войны против нынешних партнеров.

55

По просьбе австрийского правительства Россия направила в Венгрию армию под командованием И. Ф. Паскевича. Потери русских в ходе кампании составили 708 человек убитыми и почти 11 000 умершими от различных заболеваний. (*Прим. перев.*)

56

Это сражение удостоилось упоминаний в классической литературе с обеих сторон – вспомним «Атаку легкой бригады» Альфреда Теннисона и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого.

57

Имеются в виду споры между Германией и Францией относительно контроля над султанатом Марокко и аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины (Россия вынужденно согласилась признать эту аннексию, хотя была союзницей Сербии, которая резко протестовала и даже объявила всеобщую мобилизацию). (*Прим. перев.*)

58

Напротив, Мольтке, архитектор прусских военных побед, приведших к объединению, планировал оборону на обоих фронтах.

59

Договор был подписан в 1951 году Францией, Италией, ФРГ, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом и вступил в силу в июле 1952 года. (*Прим. перев.*)

60

Имеются в виду христианство, ислам и иудаизм. В российском религиоведении последний мировой религией не считается, однако автор следует схеме М. Вебера, который считал иудаизм великой религией на том основании, что из него выросли и христианство, и ислам. (*Прим. перев.*)

61

В той степени, в которой демократия и права человека ныне служат катализаторами глобальной трансформации, содержание и применимость этих концепций оказались более гибкими, нежели предшествующий «диктат Писания», устанавливавшийся после прохождения победоносной армии. В конце концов, демократическая воля различных народов может воплощаться в совершенно разных формах.

62

В английском переводе эти документы получили двусмысленное название «капитулы» – не потому, что Османская империя «капитулировала», а вследствие разделения на главы, или статьи (*capitula* на латыни).

63

Белое море – в данном случае Средиземное; Румелия – владения османов на Балканах (Фракия и часть Македонии); Карамания – область на юге полуострова Малая Азия, нынешняя турецкая провинция Конья. Письмо Сулейману французский король написал из заключения – в 1525 году он попал в плен к Габсбургам после битвы при Павии. (*Прим. перев.*)

64

Примерно пятьсот лет спустя, в период роста напряженности в двусторонних отношениях, премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно вручил копию этого письма президенту Франции Николя Саркози – а затем пожаловался: «Думаю, он его не прочитал».

65

Сводная польско-германо-австрийская армия подчинялась королю Польши Яну Собесскому; 20-летний принц Савойский командовал драгунским полком. (*Прим. перев.*)

66

В 1853 году российский император Николай I, как гласит легенда, сказал британскому послу: «У нас на руках больной, он сильно хворает, и будет большим несчастьем, если он вдруг выскользнет из наших рук, особенно до того, как мы успеем сделать необходимые приготовления».

67

Шариф – титул главы Мекканского шарифата (в состав последнего входили священные города Мекка и Медина); с 1925 года шарифат подчиняется Саудовской династии. (*Прим. перев.*)

68

Автор старается соблюсти максимальную беспристрастность в изложении основных доктрин религиозных движений, чьи призывы сегодня переупорядочивают мусульманский мир. Многие мусульмане, составляющие большинство во многих странах, придерживаются менее радикальных и более плюралистических интерпретаций их веры, нежели сторонники доктрин, излагаемых на этих страницах. Однако взгляды, представленные ниже, оказывают значительное, нередко решающее влияние на политику ключевых ближневосточных государств и почти всех негосударственных организаций. Эти взгляды представляют собой концепцию отдельного мирового порядка, по определению превосходящего вестфальскую систему и не совместимого с ценностями либерального интернационализма. В попытке разобраться необходимо изучить религиозные понятия, которыми оперируют конфликтующие идеологии.

69

Коран, 2:193. (*Прим. перев.*)

70

По просьбе Эр-Рияда, чтобы воспрепятствовать попыткам Саддама Хусейна захватить саудовские нефтяные месторождения.

71

Среди наиболее известных «проявлений» этой традиции – освобождение в шестом веке до нашей эры пленных народов, в том числе иудеев, в Вавилоне персидским царем Киром, основателем империи Ахеменидов. Войдя в Вавилон и изгнав предыдущего правителя, самопровозглашенный «царь четырех четвертей мира» постановил, что все вавилонские пленники вольны вернуться домой и все вероисповедания равноправны. Новаторский религиозный плюрализм Кира, как полагают, свыше двух тысячелетий спустя послужил источником вдохновения для Томаса Джефферсона, прочитавшего «Киропедию» Ксенофонта и высоко о ней отозвавшегося.

72

Геродот. История. 1:134. Пер. Г. А. Стратановского. (Прим. перев.)

73

Джамшид (Джемшид) – в легендарной иранской традиции царь, правление которого считается золотым веком (в «Шах-наме» говорится, что он правил 700 лет, разделил общество на 4 сословия, изобрел доспехи и одежду, научил людей добывать минералы и ходить по морю). Кейяниды – династия монархов-сельджуков, правившая в Конийском султанате (Малая Азия). (*Прим. перев.*)

74

Эпическая «Книга царей» Фирдоуси, написанная через два столетия после утверждения ислама в Персии, повествует о легендарных делах славного домусульманского прошлого. Фирдоуси,

сам шиит, передал комплексное отношение персов к ситуации, вложив в уста одного из своих героев такую сентенцию: «Будь прокляты мир, время и судьба, / Коль дикие арабы пришли, чтобы сделать меня мусульманином».

75

Отчеты об этом, в основном подготовленные для служебного пользования, очевидно неполны. В некоторых можно найти намеки на ограниченное сотрудничество между Тегераном и талибами и «Аль-Каидой» (или на молчаливое согласие Ирана с их действиями).

76

Конституция ссылается на стих Корана (21:92): «Воистину, эта ваша религия – религия единая. Я же – ваш Господь. Поклоняйтесь же Мне!» (*Прим. перев.*)

77

Махди – в шиизме последний преемник Мухаммада, «скрытый» имам, явление которого возвестит начало эпохи справедливости. (*Прим. перев.*)

78

Это дополнительно подчеркивается в конституции Ирана: «Во время затмения Вали аль-Асра [Хранителя эпохи, скрытого имама] (да ниспошлет Аллах скорейшее его пришествие), руководство уммой возлагается на простого и благочестивого человека, который в полной мере осознает современные обстоятельства, мужественного, разумного и обладающего административными способностями; он исполняет соответствующие обязанности в соответствии со статьей 107 Конституции Исламской Республики Иран (от 24 октября 1979 года), с внесенными изменениями. Раздел I, статья 5». На кульминационных этапах иранской революции Хомейни не опровергал утверждений, будто он и есть Махди, вернувшийся из затмения, – или, по крайней мере, предтеча его появления.

79

Для производства ядерного оружия используются два типа материалов – обогащенный уран и плутоний. Поскольку управление реакцией плутония, как правило, рассматривается как технически более сложная задача, чем контроль реакции обогащенного урана, большинство попыток остановить иранскую ядерную программу сводилось к устранению возможностей обогащения урана. (Плутониевые реакторы также используют уран и требуют знакомства с технологиями его обогащения.) Иран развивает свою программу в обоих направлениях, поэтому и уран, и плутоний стали темой переговоров.

80

Иер. 31:16. (*Прим. перев.*)

81

Вероятно, автор имеет в виду самурайский трактат «Тайхэйки», иначе «Повесть о великом мире» (конец XIV века). Русский перевод см. в издании: «Японские самурайские сказания». СПб.: Северо-Запад Пресс, 2002. (*Прим. перев.*)

82

Автор приводит клятву по английскому переводу 1979 года; в русской традиции эти пять пунктов звучат несколько иначе, и акценты тоже расставлены по-другому:

«1. Мы будем созывать совещания и управлять народом, считаясь с общественным мнением.

2. Люди высших и низших классов, без различия, будут единоклюсны во всех предприятиях.

3. Обращение с гражданскими и военными чинами будет таково, что они смогут выполнять свои обязанности, не испытывая неудовольствия.

4. Отжившие методы и обычаи будут уничтожены, и нация пойдет по великому Пути Неба и Земли.

5. Познания будут заимствоваться у всех наций мира, и Империя достигнет высшей степени расцвета». (*Прим. перев.*)

83

Накасонэ выступил с речью в Гарварде, в ходе международного семинара молодых лидеров, мероприятия, цель которого – установление контактов с американской академической средой. Он утверждал, что в интересах «упрочения дружбы и сотрудничества между Японией и США» обороноспособность Японии следует всемерно укреплять, а отношения с американским партнером должны основываться на равноправии. Став три десятилетия спустя премьер-министром, он приступил к реализации этих инициатив – при поддержке Рональда Рейгана.

84

Так заявил португальский мореплаватель Васко да Гама правителю Каликута (нынешний индийский город Кожикодэ, в ту пору центр мировой торговли пряностями). Да Гама и его команда верно оценили возможность прибыльной торговли пряностями и драгоценными камнями. Вдобавок они искренне верили в предание о «потерянном царстве пресвитера Иоанна» – могучего христианского владыки, который, как полагали многие средневековые (и считают некоторые современные) европейцы, правит где-то в Африке или в Азии.

85

Прусский король Фридрих Великий, накануне захвата богатой австрийской провинции Силезия примерно две тысячи лет спустя, дал ситуации аналогичную оценку.

86

По теории Каутильи, царство вселенского завоевателя простирается от Гималаев на севере до моря на юге и «шириной в тысячи йоджан с востока на запад», охватывая современные Пакистан, Индию и Бангладеш.

87

Ашоку сегодня почитают за проповеди буддизма и ненасилия; однако он пришел к буддизму, только завершив свои завоевания, и религия служила ему в качестве опоры правления.

88

Имеется в виду так называемый «Берлинский кризис», когда СССР в ультимативной форме потребовал от бывших союзников по антигитлеровской коалиции покончить с «оккупацией» Западного Берлина и прекратить «подрывную деятельность». Именно в ходе этих событий была возведена печально известная Берлинская стена, демонтированная лишь в 1989 году. (*Прим. перев.*)

89

В буддийском каноне известны «пять обетов» для мирян. По мнению автора, лидеры независимой Индии «творчески переосмыслили» эти религиозные принципы общежития для концепции межгосударственных отношений. (*Прим. перев.*)

90

Доктрина внешней политики США, изложенная в 1823 году президентом Дж. Монро; суть доктрины – невмешательство США во внутренние дела европейских стран и, соответственно, невмешательство европейских держав во внутренние дела стран Западного полушария. (*Прим. перев.*)

91

На момент написания этой книги Афганистан официально не признает территориальных границ с Пакистаном; Индия и Пакистан оспаривают регион Кашмира; Индия и Китай оспаривают провинции Аксай Чин и Аруначал-Прадеш, за которые они воевали в 1962 году; Индия и Бангладеш озвучили намерение согласовать позиции в отношении десятков спорных участков на территории друг друга, но

не ратифицировали соглашение, фиксирующее это намерение, и спорят по поводу патрулирования данных территорий.

92

Европейская Россия, то есть территория к западу от Уральских гор, занимает примерно четверть земельной массы Российской Федерации.

93

Согласно переписи 2010 года, в Европейской России проживает 78 % граждан РФ. *(Прим. перев.)*

94

Крестьянская война в Китае в 1850–1864 годах; ее жертвами, по разным оценкам, стали от 20 до 30 миллионов человек. Восставшие создали на территории Китая собственное «Небесное государство великого спокойствия» (Тайпин тянь го), которое пало в 1864 году. *(Прим. перев.)*

95

В своей речи 13 февраля 2009 года государственный секретарь США Хиллари Клинтон объявила о «переориентации на Восточную Азию» как о региональной стратегии администрации Обамы. Впрочем, теоретическое обоснование этого шага до сих пор в полной мере не разработано.

96

Берк симпатизировал американской революции, потому что считал ее закономерным результатом эволюции английских свобод. Он выступал против Французской революции, которая, по его убеждению, разрушила то, что создавали поколения, а вместе с этим – и перспективу своего естественного развития.

97

Здесь и далее цит. по: *Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке.* Пер. с фр. В.П. Олейника, Е. П. Орловой, И. А. Малаховой, И. Э. Иванян, Б. Н. Ворожцова. М.: Прогресс, 1992. (Прим. перев.)

98

Это в основном верно для поселенцев из Англии и Северной Европы. Колонисты из Испании большей частью считали, что новые земли надо возделывать, а населяющих их туземцев необходимо обратить в христианство.

99

Слово «империя» обозначает в данном случае суверенное, полностью независимое государство.

100

То есть «*translatio imperii mundi*» – передача власти над миром, – которая теоретически рассматривалась как перемещение во времени и пространстве верховенствующей политической силы: от Вавилона и Персии – к Греции и Риму, к Франции или Германии, затем – к Великобритании и, как предполагал Морзе, к Америке. Также хорошо известны строки Джорджа Беркли из его «Стихов о процветании в Америке искусств и учений»: «На запад движимы империи; / Четыре первых акта уже сыграны, / Пятый завершит спектакль за день; / Времени наибогороднейший отпрыск – последний».

101

Численность американской армии на конец Гражданской войны составляла 1 034 064 человека, а через восемнадцать месяцев сократилась до 54 302 человек в регулярных частях и до 11 000 добровольцев.

102

Когда в 1902 году немецкие и английские военные корабли направились к берегам погрязшей в долгах Венесуэлы, чтобы силой

взыскать давным-давно просроченный заем, Рузвельт потребовал гарантий, что ни Великобритания, ни Германия не будут стремиться в счет возмещения долгов к какому-либо территориальному или политическому расширению. Когда представитель Германии пообещал лишь отказаться от «постоянных» территориальных приобретений (оставляя открытой возможность получения концессии на девяносто девять лет, как того добились при аналогичных обстоятельствах в Египте Великобритания, а в Китае – Великобритания и Германия), Рузвельт пригрозил войной. Вслед за тем он приказал американскому флоту направиться на юг и распорядился распространить в СМИ карты портов Венесуэлы. Уловка сработала. Пока Рузвельт сохранял молчание, давая кайзеру Вильгельму возможность спасти лицо и найти приемлемый выход из кризиса, имперские амбиции Германии в Венесуэле встретили решительный отпор.

103

Чтобы продемонстрировать силу американских обязательств, Рузвельт лично посетил район строительства Панамского канала, став первым действующим президентом США, который выехал из континентальной части Соединенных Штатов Америки.

104

Соединенные Штаты заключили подобные арбитражные соглашения с Боливией, Бразилией, Великобританией, Гватемалой, Гондурасом, Данией, Испанией, Италией, Китаем, Коста-Рикой, Норвегией, Парагваем, Перу, Португалией, Россией, Францией, Чили и Эквадором. Были начаты переговоры с Швецией, Уругваем, Аргентинской Республикой, Доминиканской Республикой, Грецией, Нидерландами, Никарагуа, Панамой, Персией, Сальвадором, Швейцарией и Венесуэлой.

105

Организация Объединенных Наций обеспечила полезные механизмы для действий по поддержанию мира – в большинстве случаев после того, как ведущие державы уже договорились о

необходимости соблюдения достигнутого между ними соглашения в тех регионах, где не вовлечены непосредственно их собственные силы. ООН – гораздо в большей степени, чем Лига Наций, – выполняла важные функции: форум для дипломатических схваток, затрудненных в иных обстоятельствах; целый ряд значимых миротворческих функций; множество гуманитарных инициатив. Однако чего эти международные учреждения так и не сумели сделать – да и не были в состоянии осуществить подобную задачу, – это судить о том, какие конкретные действия представляют собой агрессию, или определить меры сопротивления в случае отсутствия согласия между великими державами.

106

Стремясь сломить сопротивление колониальной экспансии Италии, Муссолини в 1935 году отдал приказ о вводе итальянских войск в Абиссинию – страну, территорию которой сегодня занимает Эфиопия. Несмотря на международное осуждение, Лига Наций не предприняла никакого противодействия в рамках коллективной безопасности. Прибегая к массированным бомбардировкам и отравляющим газам, Италия оккупировала Абиссинию. Неспособность зарождающегося международного сообщества противостоять агрессору, тем более проявившаяся вскоре после аналогичной неудачи воспротивиться захвату имперской Японией принадлежащей Китаю Маньчжурии, привела к краху Лиги Наций.

107

Договор между США и другими странами, предусматривающий отказ от войны как инструмента национальной политики, подписан в Париже 27 августа 1928 г.; ратифицирован Сенатом 16 января 1929 г.; одобрен президентом 17 января 1929 г. Ратификационные грамоты переданы на хранение Соединенным Штатам Америки (в Вашингтон), Австралии, Доминиону Канада, Чехословакии, Германии, Великобритании, Индии, Ирландскому Свободному государству, Италии, Новой Зеландии. К договору, в числе прочих, присоединились: Южно-Африканский Союз (2 марта 1929), Польша

(26 марта 1929), Бельгия (27 марта 1929), Франция (22 апреля 1929), Япония (24 июля 1929).

108

По прилете Рузвельта в Тегеран Сталин заявил, что советская разведка раскрыла нацистский заговор – операцию «Длинный прыжок», ставившую целью убить Черчилля, Рузвельта и Сталина во время их встречи на высшем уровне. Члены американской делегации питали серьезные сомнения относительно истинности советского заявления.

109

Политический отчет Центрального Комитета XIV съезду ВКП(б) 18 декабря 1925 года. Цит. по: *И.В. Сталин*. Соч. Т. 7. М.: Госполитиздат, 1952, стр. 274. (*Прим. перев.*)

110

Рузвельт был достаточно скрытным политиком, поэтому мы лишены возможности дать однозначный ответ, хотя лично я склоняюсь к этому объяснению, которое дано Конрадом Блэком в книге «Франклин Делано Рузвельт: борец за свободу» (2003). Легче резюмировать позицию Уинстона Черчилля. Во время войны он размышлял о том, что все будет хорошо, если он сможет каждую неделю обедать в Кремле. Когда же война близилась к окончанию, он отдал начальнику генштаба распоряжение готовиться к войне с Советским Союзом.

111

Вот как говорил Трумэн, первый послевоенный президент: «Внешняя политика Соединенных Штатов твердо основана на фундаментальных принципах справедливости и правосудия» и «в наших усилиях внедрить золотое правило в международные отношения этого мира». Эйзенхауэр хоть и был суровым солдатом, но в качестве президента охарактеризовал цель почти в таких же выражениях: «Мы стремимся к миру... он должен корениться в жизни

стран. В мире должна быть справедливость, которую чувствуют и поддерживают все народы... В мире должен править закон, который постоянно применяется и уважается всеми государствами». Соответственно, Джеральд Форд заявил в 1974 году на объединенной сессии конгресса: «Успешная внешняя политика является продолжением надежд всего американского народа на мир во всем мире, на мирные реформы и на мирную свободу».

112

Эту фразу Сталина, сказанную 11 апреля 1945 года, приводит в своих воспоминаниях М. Джилас. См.: *Джилас М. Беседы со Сталиным*. М., 2002. (Прим. перев.)

113

Так у автора. В 1985–1988 годах А. А. Громыко занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, по сути – главы государства. (Прим. перев.)

114

На тот момент американское посольство на короткое время осталось без посла: Аверелл Гарриман уже покинул свой пост, а Уолтер Биделл Смит еще не успел приехать.

115

Цит. по: *Кеннан Дж. Истоки советского поведения // США: экономика, политика, идеология*. 1989. № 12. С. 218–239.

116

Лк. 23:31. (Прим. перев.)

117

Цит. по: *Черчилль У. Никогда не сдаваться. Лучшие речи Черчилля*. М.: Альпина нон-фикшн, 2014. (Прим. перев.)

118

Перед схожей дилеммой оказался в 1991 году Джордж Буш-старший после того, как войска Саддама Хусейна были изгнаны из Кувейта.

119

Положение, существовавшее раньше (*лат.*). (*Прим. перев.*)

120

Автор несколько лукавит: в Южном Вьетнаме существовала многовековая традиция деревенского самоуправления, отмена которого была одной из грубых ошибок режима Нго Динь Зьема. (*Прим. перев.*)

121

До этого в документах американского правительства употреблялось выражение «коммунистический Китай» или обычно говорилось о властях в Пекине или в Бэйпине (так город называли китайские националисты).

122

Несомненно, показательно, что, призывая новый режим к щепетильности в гендерном вопросе, составители документов в Бонне чувствовали себя обязанными восхвалять «афганских моджахедов... героев джихада».

123

Цит. по: *Черчилль У.* Мои ранние годы. 1874–1904. М.: Азбука-Аттикус, 2011. (*Прим. перев.*)

124

Резолюция Совета Безопасности ООН № 687 от 1991 года поставила условием окончания военных действий в ходе Первой войны в Персидском заливе немедленное уничтожение Ираком своих

запасов оружия массового поражения и принятие обязательств не разрабатывать подобное оружие в дальнейшем. Ирак не выполнил указанную резолюцию. Уже в августе 1991 года Совет Безопасности заявил о «существенном нарушении» Ираком обязательств. После войны в Персидском заливе еще десять резолюций Совета Безопасности пытались заставить Ирак выполнить условия соглашения о прекращении огня. В более поздних резолюциях Совет Безопасности заявлял, что Саддам Хусейн в 1998 году «в конечном счете прекратил всякое сотрудничество с ЮНСКОМ [Специальной комиссией ООН, которой было поручено проведение инспекций вооружений] и МАГАТЭ [Международным агентством по атомной энергии]» и изгнал инспекторов ООН, допустить которых на территорию Ирака его обязывало соглашение о прекращении огня.

В ноябре 2002 года Совет Безопасности принял резолюцию № 1441, «выражая сожаление» относительно десятилетнего несоблюдения Ираком требований международного сообщества. Было заявлено, что «Ирак был и остается виновным в существенном нарушении своих обязательств по соответствующим резолюциям». Главный инспектор Ханс Бликс, который не был сторонником войны, сообщал Совету Безопасности в январе 2003 года, что Багдад не сумел урегулировать нерешенные вопросы и несоответствия.

В мире еще долго будут спорить о результатах этой военной акции и о стратегии, которой придерживались при последующих усилиях по формированию демократического управления в Ираке. Тем не менее эта дискуссия и ее последствия для будущих случаев нарушения международных принципов нераспространения оружия массового поражения по-прежнему будут представлять в ложном свете, поскольку не учитывается многосторонняя подоплека событий.

125

С тех пор о «ядерной боевой готовности» во время ближневосточного кризиса 1973 года писали много. На самом деле основной ее целью было приведение в состояние готовности неядерных вооруженных сил – Шестого флота и воздушно-десантной дивизии – для предотвращения угрозы Брежнева о возможной отправке советских дивизий на Ближний Восток, о чем он писал в

своим письме Никсону. Повышение уровня готовности стратегических сил было незначительным и, вероятно, осталось незамеченным Москвой.

126

Аббревиатура по первым буквам формулировки «Strategic Arms Limitation Talks». Принятая в отечественной традиции аббревиатура – ОСВ. (*Прим. перев.*)

127

Термин «кибер-» ввел Норберт Винер в своей книге «Кибернетика», изданной в 1948 году, хотя он относился к человеку, а не к компьютерам как к узлам связи. Слово «киберпространство», в чем-то близкое к своему нынешнему использованию, появилось в 1980-х годах в сочинениях нескольких писателей-фантастов.

128

Сообщалось, что взрослый американец в среднем тратит «5 часов в день на Интернет, на неголосовые функции мобильных устройств или на иные цифровые медиа» и 4,5 часа в день смотрит телевизор; в другом исследовании отмечалось, что «взрослые проводят перед экранами... около 8,5 часа в день».

129

Пер. А. С. Сергеева.

130

Иначе говоря, расширение поля применения «опережающей аналитики», с распространением ее как на коммерческую, так и на государственную сферы для предвидения мыслей и действий как на общественном, так и на индивидуальном уровнях.